

ISSN 0132-0637

Октябрь

11 2000

2000

Октябрь

ОКтябрь

НЕЗАВИСИМЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ РОССИИ

ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1924 ГОДА

11

2000

НОЯБРЬ

В Н О М Е Р Е:

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

| | |
|---|-----|
| Анатолий НАЙМАН. Сэр | 3 |
| Алексей КОКОТОВ. Тихий нам пролит свет... Стихи | 76 |
| Николай КЛИМОНТОВИЧ. Далее везде. Главы из книги. Продолжение | 80 |
| Сергей ЮРСКИЙ. Пробелы. Продолжение книги | 113 |

ПУБЛИЦИСТИКА И ОЧЕРКИ

Пока не требует поэта...

| | |
|---|-----|
| Александр МЕЛИХОВ, Андрей СТОЛЯРОВ. Бесплодные земли. Писатель и алкоголь | 140 |
|---|-----|

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

| | |
|--|-----|
| Татьяна ЧЕРНОВА. Читая Фридриха Горенштейна. Заметки провинциаль- ного читателя | 146 |
|--|-----|

Панорама

Владимир БЕРЕЗИН о кн. Владислава Отрошенко «Персона вне достоверности». * Алексей КОКОТОВ о кн. Бориса Рыжего «И все такое...». * Владимир ШПАКОВ о кн. Сэмюэла Беккета «Моллой. Мэлон умирает». * Олег ДУЛЕНИН о кн. Э. М. Лындиной «Олег Меньшиков», Игоря Сукачёва «Король проспекта», И. В. Родионовой «Олег Табаков. Парадокс об актёре». * Алексей ИВИН о кн. Сергея Бардина «Ломбард». * Нина ГОРЛАНОВА о кн. М. Л. Гаспарова «Записи и выписки». * Александр ЛЮСЫЙ о кн. Михаила Эпштейна «Постмодерн в России». * Михаил СКВОРЦОВ о сб. «Жужукины дети...» **153**

Отличие ямба от хоря...

Кирилл КОБРИН.
Письма в Кейптаун о русской поэзии. Письмо третье **170**

Терпение бу маги

Ольга СЛАВНИКОВА.
Деталь в современной прозе, или Похождения инфузории-туфельки **175**

Русское поле

Рубрику ведет Павел БАСИНСКИЙ **182**

Актуальная культура

Владимир БЕРЕЗИН.
Счастье **186**

Песни познания

Диагноз для Прометея **190**

Главный редактор Анатолий АНАНЬЕВ

Ирина БАРМЕТОВА *заместитель гл. редактора*

Редакция:

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Инесса НАЗАРОВА | <i>отв. секретарь</i> |
| Алексей АНДРЕЕВ | <i>зав. отделом прозы</i> |
| Анна ВОЗДВИЖЕНСКАЯ | <i>зав. отделом критики</i> |
| Виталий ПУХАНОВ | <i>проза</i> |

Общественный совет:

Леонид Баткин, Юрий Буртин, Алексей Варламов, Борис Васильев, Андрей Вознесенский, Игорь Волгин, Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Карякин, Давид Кугультинов, Юнна Мориц, Анатолий Найман, Владислав Отрошенко, Олег Павлов, Людмила Петрушевская, Леонид Филатов, Юрий Черниченко, Родион Щедрин, Сергей Юрский.

**Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество»
выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России
и ряда стран СНГ 3850 экземпляров журнала.**

Адрес редакции: 125124, Москва, А-124, ул. «Правды», 11/13.

Телефоны: главный редактор – 214-62-05, заместитель гл. редактора – 214-63-64, ответственный секретарь – 214-34-44, отдел прозы – 214-51-68, отдел поэзии – 214-63-64, отдел критики – 214-71-34, отдел публицистики – 214-60-24.

Телефон для справок: 214-31-23.

© «Октябрь». 2000. Электронная версия журнала www.infoart.ru/magazine/October
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.

Редакция не имеет возможности
рецензировать рукописи и возвращать их по почте.

Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Октябрь».
Регистрационное свидетельство № 1 от 14 августа 1990 г.

Технический редактор Татьяна ТРОШИНА.

Сдано в набор 22.09.2000. Подписано к печати 17.10.2000. Формат 70x108¹/₁₆.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,50. Учетно-изд. л. 21,61.
Тираж 8550 экз. Заказ № 2424. Цена 36 руб.

ОАО «Производственное объединение «Пресса-1».
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

С э р

...удовольствия от внезапного удивления вскоре исчерпываются, и разум может только покоиться на устойчивости достоверного.

Д-р Сэмюэл Джонсон

Анекдот и живописность — путь к правде — которая сама по себе только путь... Комментарий к документу неверен уже потому, что неверен сам документ как таковой, т. е. факт, лишенный жизни.

Морис Бланшо

Глава I

Первое время я слышал об этом человеке в разговорах, которые внезапно и именно когда речь заходила о нем исключали меня из общей беседы. Заговаривала о нем всегда и только Ахматова, всегда легко, забавно, достаточно весело, чуть-чуть иронически, всегда как будто по ходу разговора, как будто кстати, как будто иллюстрируя разговор какой-то его репликой, высказыванием, поступком, короче говоря, *им*. Нина, вдруг обращалась она к приятельнице, это напоминает мне, как *сэр*... Или: Лида, вы сказали, ваш отец получил письмо из Оксфорда — как там наш *сэр*?.. Или: Любочка, я вам еще не хвасталась: мне привезли привет от Саломеи, прямо из Лондона, — *сэр* в своем репертуаре... И приятельницы понимающе и, как разделяющие ее секрет, улыбались, как будто подтверждали, что *сэр*, точно, в своем репертуаре, а главное, что это не розыгрыш и не сказка, а есть где-то реальный *сэр*, такого-то возраста, с такими-то манерами, по такому-то адресу. Иногда он назывался *лорд*.

При всей реальности его существования, и уже когда она напрямую говорила со мной о нем, и уже когда я знал все подробности истории, которую знает сейчас любой, кто читал самую общую биографию хотя бы одного из них, он при ее жизни так и оставался для меня немного персонажем из Вальтера Скотта, немного из Ивлина Во. Немного даже из Шекспира — такой *специальный* «сэр», словно бы каким-то боком принадлежавший компании или, шире, окружению Генриха IV в первой части, а еще больше во второй, а заодно и обществу в «Венецианском купце» — потому что *сэр* был еще и еврей. И объяснялось это вовсе не моим воображением, или литературностью, или романтическим складом натуры, если бы я таковыми обладал, а тем, что раз и навсегда этот человек был помещен ею в реальность, стоявшую за той, которую видели все, и Ахматова лучше всех. Адрес адресом, и возраст возрастом, и титул титулом, но та реальность, которую видел он, и все, и она лучше всех, была для нее еще и поводом, а может быть, и единственно только поводом для другой, ее собственной, где быть «сэром», а особенно «лордом» — значит то, что это значит у Вальтера Скотта и Ивлина Во, как их читают в России.

В этой, *собственной*, реальности уже ее приятельницы были редкими яркими птицами, Ниной, Лидой, Любочкой, Марусей, беспечно поддерживающи-

ми лукавый, почти светский, дамский разговор о нем как о «лорде», — а не измученными советским режимом, тяжестью каждого часа, постоянной тревогой и, наконец, просто очередной болезнью гражданками такой-то и такой-то, товарищами сякой-то и этакой. Место же, которое соответствовало этому человеку среди ее и их заключающей повседневности тайных агентов, паспортисток, продавщиц, прячущих под прилавком докторскую колбасу, дневной смены, выстраивающейся в бесконечную очередь на автобус, и вообще всего под тогдашним именем «Россия», было отдававшее легкой экзотикой — сэр. Лорд. Узнаваемый по Шекспиру и оттого достаточно свойский, но все-таки нездешний, со сцены, из пьесы.

Чем ближе, чем дружественнее и доверительнее становились мои отношения с Ахматовой, тем чаще и определенной упоминала она о «сэре», тем конкретной и явственной складывался для меня его образ в истории, случившейся с ними. Он появился осенью 1945 года — через полгода после окончания мировой войны. Он был иностранец — в стране, охваченной шпиономанией. Он был русский, родился в Риге — провинциальной относительно Петербурга и Москвы. Он был еврей. Он был европеец — во всей полноте этого понятия. Он был англичанин. Он был западный интеллеktуал — среди самых первых номеров в том их списке, который в России угадывался туманно и не без благоговения. Его фамилия была Берлин, содержательно подтверждавшая все, чем он был, хотя по-русски с ударением на первом слоге. Его имя — Исая, могучее имя.

Все, что о нем было известно, и гораздо несравненно больше то, что неизвестно, делало его фигуру практически бесконечно вместительной и загадочной. Когда через много лет, через четверть века после моих с Ахматовой о нем разговоров, то есть почти столетия после их встречи, мы с ним впервые увидели друг друга и заговорили, то в какую-то минуту этого долгого, потоком, разговора я упомянул, что в своей книге назвал его «философ и филолог». Он отозвался мгновенно: «Я ни то, ни другое». — «Хотите, заменим на историка и литературоведа?» — «Не я, не я». — «Исследователь идей, политолог, этик?...» — «Нет, нет, нет». — «Ну не математик же!» — «Вот именно, не математик — это я».

И не поэт. «О нет! Никогда в жизни не писал стихов...» В 1962-м Ахматова взяла эпитафией к стихотворению «Последняя роза» строчку «Вы напишете о нас наискосок» некоего И. Б. Читатели достаточно интеллигентные, но не глубоко осведомленные о вкусах поэтессы, решили, что это откуда-то из Ивана Бунина. Однако все те, до кого история 1945 года дошла хотя бы в искаженном виде, приписали эту почти интимно трогательную и уверенную фразу Исаяе Берлину. (О двадцатидвухлетнем Иосифе Бродском, чья и была строка, тогда знали только его друзья.) Сильнее всего способствовали такой догадке стихи Ахматовой, обращенные к этому человеку: циклы «Cinque», «Шиповник цветет» и Посвящение «Поэмы без героя». Строчка «с дымом улетать с костра Дидоны» из «Розы» прямо перекликалась с «был недолго ты моим Энеем» из стихотворения «Говорит Дидона», адресованного Берлину. Пишет или не пишет стихи тот, о ком она сказала «два лишь голоса: твой и мой», «несказанные речи, безмолвные слова» и, наконец, «и ты пришел ко мне, как бы звездой ведом, по осени трагической ступая, в тот навсегда опустошенный дом, откуда унеслась стихов сожженных стая»? Чьих: только ее или обоих?

— В Санкт-Петербурге, в Петрограде, мальчиком, я учил иврит. Выучил не так, как полагается. Но все-таки мог писать маленькие поэмы. Которые назывались «Утренние новости». Все, все, конечно, забыл.

— Значит, вы писали в детстве стихи?

— На иврите.

— Регулярно?

— Каждое утро.

— Как долго?

— О-о, я думаю, шесть-семь месяцев.

— А хоть когда-нибудь по-русски?

— Нет. И это тоже не были стихи. Это были частушки. Никогда в жизни не писал поэзии. Никогда не написал ничего такого, поэзией не занимался.

— Но, согласитесь, все-таки не частая компонента биографии — ежедневное писание стихов.

— Это ни при чем, это была механическая вещь.

В сотый раз и в двухсотый вспоминая — а лучше сказать: вынужденный вспоминать — одни и те же минуты, слова, имена, вдруг в двести первый наталкиваешься в них на смысл, сто и двести раз упущенный. Ну да, ну да, Авраам, ну да, родил, ну да, Исаака. Каждый год родил, Авраам, Исаака, каждый раз, столько раз, сколько вспомнишь. Но на двести первый это не совсем тот Исаак, промежуточное звено между своими великими отцом и сыном, задуманное, в первую очередь, как жертва. Высохшая утроба столетних родителей; собственная старческая слепота, подменившая ему одного сына другим; а посередине, в буквальном смысле слова, жертва страшному отцовскому Богу, приказавшему его зарезать, чудом в последний момент отмененная, — всё это так. И вдруг прочитываешь двести раз читанное: что признаются за семья Авраама лишь дети обетования, а Исаак-то и есть тот, в ком это знаменитое семья обещано. И на миг видишь себя в мимолетной с ним связке, на долю мига — на одной с ним доске: обетованных детей. Ах, так вот *этого* Исаака родил Авраам — Авраам, с которым никто никогда ни на долю мига не бывал на одной доске!

«Он не станет мне милым мужем», — написала про Исаяю Ахматова. Он не станет мне *милым мужем*, но мы с ним такое заслужим, что смутится двадцатый век. Сто и двести раз проговоренные, продекламированные, пробубненные строчки — и на двести первый вдруг, *кто* этот «милый муж», видишь. В 1922 году, одном из последних в том непродолжительном промежутке времени, когда еще удавалось уезжать, эмигрировать, перебираться разными способами из революционной России на Запад считанным людям, в том числе и Берлинам с одиннадцатилетним Исаяей, Ахматова написала «Лотову жену», стихотворение о бегстве Лота с семьей из обреченного погибнуть Содома. Вещь автобиографическая, сравнение прозрачно, сквозь очертания покидаемого города проступает картинка не то Петрограда, не то Москвы. Жена Лота оглядывается, несмотря на запрет, «на красные башни родного Содома» — красные, может быть, от занявшегося уже пожара, может быть, потому что кремлевские. Имя места — Содом, почти такое же нарицательное, как Геенна. Героиня не закрывает глаза на мерзость его нечестия, но это нечестие и мерзость ее *родного* города, ее *родины*. Можно ли не оглянуться в последний раз «на площадь, где пела, на двор, где пряла, на окна пустые высокого дома, где *милому мужу* детей родила»? И *этой*, вернувшийся, предназначенный вернуться на пепелище, «повернув налево с моста», не станет этим «милым мужем», не вытащит из огня, не спасет. И еще раз, в другом стихотворении, чтобы исключить все сомнения как о причинах такой невозможности, так и о неслучайности сопоставления с Лотом, Ахматова уводит обстоятельства той встречи из замкнутости факта, из-под диктата исключительно земных отношений: «Пусть влюбленных страсти душат, требуя ответа, — мы же, *милый*, только души у предела света».

Историю об этой встрече Ахматова передала в стихах, Берлин в мемуарах «Личные впечатления». Я слышал ее с комментариями и уточнениями и от той, и от другого — думаю, что единственный от обоих. Ее версия многозначней, универсальней, интересней, его — строже, документальней, конкретней, обе равно достоверные. Общеизвестный факт — то, что в один из дней поздней осе-

ни в Ленинграде он, тогда советник британского посольства, тридцати шести лет, был приведен их общим знакомым в гости к ней, тогда пятидесятишестилетней; что этот визит был прерван его оксфордским приятелем, по случаю оказавшимся в городе и по пьяной интуиции его отыскавшим; что поздним вечером он пришел к ней снова и они проговорили с полуночи до утра. Еще раз он навестил ее в начале января, чтобы проститься, срок его дипломатической службы закончился, свидание было коротким. Ахматова связала их встречу с последовавшими на протяжении нескольких ближайших месяцев самыми серьезными политическими событиями, среди которых наиболее личным и особенно болезненным стало публичное осуждение ее властями. Берлин этой связи не устанавливает, но соглашается, что она, во всяком случае, невозможна.

Схема ахматовской версии такова. На нижнем уровне: советник британского посольства, с позиции официальных властей — агент иностранной разведки, по определению; она — не (если не анти) советский поэт; ее гражданская репутация — жены расстрелянного контрреволюционера и матери сына, осужденного за контрреволюционные высказывания и действия, — образец враждебной режимера. На высшем: пьяный оксфордский приятель Берлина, появившийся во дворе ее дома в сопровождении хвоста агентов НКВД, — Рандольф Черчилль, сын особо ненавистного Сталину временного союзника; личный интерес Сталина к визиту «английского шпиона» к «нашей монахине», как он называл Ахматову; фултоновская речь Уинстона Черчилля, открывающая «холодную войну» с Советским Союзом; постановление Центрального Комитета Коммунистической Партии об Ахматовой и Зощенко, означавшее ее гражданскую смерть.

Над этими двумя открытыми всему миру сценическими площадками располагался подобный античному свод небес, откуда древние боги направляли и наблюдали эту греческую трагедию. За полгода до смерти Берлина во время разговора, который мы условились записать на магнитофон и который продолжался несколько дней, я спросил его о постоянно присутствующем надмирном пространстве, или, как она сама подобные вещи называла, «звездной арматуре», среди которой оказываются оба героя «Cinque», а потом «Шиповника». «Высоко мы, как звезды, шли». «Истлевают звуки в эфире». «Легкий блеск перекрестных радуг». «Иду как с солнцем в теле». «Звон березовых угольков», сопровождающий сгорание и улетание материального мира. «Под какими же звездными знаками» и следующее за этой строчкой четверостишие. «Незримое зарево», «звездных стай осколки», «недра лунных вод»... Есть у него какое-то объяснение этому?

— Никакого.

Но в своем последнем мне письме — вообще, как оказалось, самом последнем его письме людям, — отвечая на мое толкование стихов «Cinque» через «Божественную комедию», он решительно и без сомнений принял близость ахматовского ландшафта дантовскому, одновременно нездешнему и узнаваемому.

Едва он умер, появились статьи о нем не только остро критические, но неприязненные и даже враждебные. Суть критики и упреков сводилась к тому, что ни в одной области знаний, науки, политики и просто человеческих отношений он не проявил себя вровень с тем местом, какое заняла в интеллектуальной и социальной иерархии эпохи его фигура «явочным порядком». Что он не создал в философии, не открыл в истории идей, не осветил в литературоведении ничего в меру того авторитета, каким пользовалось его имя. Не повлиял на ход событий, не показал примера ответственности или преданности, ни, тем более, самоотверженности, равно как вообще чувств или морали, не поразил творческой силой или умственной мощью адекватно той славе, которая о нем по всем этим направлениям шла. Что в своих лекциях, интервью, эссе и книгах он допускал фак-

тические ошибки, а заодно и банальности. Словом, что он получил признание не по заслугам.

Известный московский лингвист и филолог после встречи с ним на ахматовской конференции в Англии обратился ко мне не без недоумения: «Послушайте, он говорит обычные вещи. И вообще, можете вы мне сказать — какой он внес вклад в мировую науку?» Почти то же я услышал от моего друга голландского писателя: «А чем он, собственно говоря, знаменит? Что он такое сделал?» В статье Бродского, специально написанной на его 85-летие, также чувствуется некоторая растерянность и, что называется, «отсутствие материала»: написать, что главная заслуга юбиляра заключается в том, что он вызывает у пишущего непобедимую симпатию, если не любовь, недостаточно для порядочного эссе. Надо привести заслуги из общепринятых, надо объяснить, *за что* он любим. (Если по-честному, то надо бы всего лишь сказать, *как* ты его любишь, и если бы удалось, это всё великолепно бы объяснило, но это — другой жанр, не статьи. Может быть, стихотворения.)

Разочарование ученого соотечественника, помню, выслушивал, внутренне веселясь: да-да, вот так, тебя с твоим вкладом в казну наук хочется, в лучшем случае, если есть интерес, спросить о нескольких специальных, частных, касающихся до твоих занятий, предметах, а чаще учтиво, но наскоро покивать головой — и побыстрей возвратиться к Берлину, чтобы еще и еще слушать от него *обычные вещи*, да и просто видеть, как — хотя бы и вовсе без вклада — он их говорит. Выпад голландца, напротив, вызвал огорчение: он имел конкретную, совсем другую причину сердиться на Исайю — и все-таки, несмотря на то, что был по природе человеком, которому важно единственно, чего люди реально стоят в жизни, а на их достижения, в общем, плевать, он выставил вместо нее именно этот, лежащий на поверхности упрек.

Но так или иначе у всех, кто уверен, что существует объективный преискуррант достижений и воздаяний за них, или просто у противников Берлина, постоянно находилось под рукой то, что им казалось несправедливостью в полученном этим человеком признании. Однако он его получил, и совсем не только от людей, подпавших под зависимость от общего мнения. И эта «несправедливость» — одна из тех немногих, которые косвенно указывают и хоть как-то исправляют несправедливость жизни, признаваемой общим мнением справедливой. Люди с более или менее независимым взглядом на мироустройство видели воочию, что в присутствии Исайи жизнь постоянно менялась, отражалась самыми разными сторонами в зеркалах, поставленных под самыми разными углами одно к другому, становилась интересной, живой — и мертвела, скучнела, угасала, когда он уходил. Люди, верящие и ориентирующиеся на преискуррант, разговаривают так и говорят то, как и что они написали в своих, по негласной договоренности с другими членами их цеховой корпорации, уважаемых, но не реально живых книгах, высказали в своих непререкаемых, но как будто усталых и вызывающих усталость лекциях.

Например. Что такое романтизм? Романтизм не из их книг и лекций, а тот, что отзывается живым представлением и даже чувством в сознании — и чуть-чуть в сердце — у мало-мальски сведущего в культуре, но непрофессионального человека с улицы? Не категория культуры, академически корректно и со знанием дела сформулированная специалистами, а что-то отнюдь не случайно однокоренное «романтике»? Это всего лишь жизнь, творчество и судьба нескольких артистов в блоковском смысле этого слова, главным образом, поэтов, которые пронзительной энергией своих произведений дали понять довольно широкому слою сограждан умонастроение и сопутствующий восторг, все равно мрачный или просветленный, — словом, преимущества или по крайней мере соблазн жить в романтическом мировосприятии и миропонимании. Как это всегда

бывает с явлениями подлинными, романтизм пережил историческое время своего возникновения и продолжал и продолжает входить в жизнь всех, чьи душевные струны на него отзываются, и в жизнь вообще, в какой-то степени ее формируя. Мы читаем «Цыган», «Мцыри» и, у кого доходят руки, «Чайльд-Гарольда» и становимся поклонниками романтизма.

Ничего, помимо этого, он собою не представляет и не значит. То, что он был — если был — реакцией на Просвещение, или очередной выигранной — если выигранной — битвой дьявола против церковно-христианской морали, или революцией в человеческом сознании, равной Великой французской революции, не делает его ни проникновеннее, ни талантливее, ни нужнее. Вообще ничего не делает. Потому что романтизм — это содержание живых десятилетий, в которые было заключено творчество упомянутых артистов, их личное дело, их частная антреприза, исключительно их и тех, кого это тогда и после их смерти задело или тронуло. Разумеется, это также, в самом узком плане, предмет специального интереса и научной карьеры людей, изучающих, насколько это возможно, то есть неизбежно отрывочно и искаженно, подробности того времени, исторический, литературный и идеологический контекст, по мере изучения выясняющих между собой отношения и выдающих сертификат на правоту суждений о предмете у других. Но принадлежит им романтизм в той же степени, как мировые запасы нефти лаборанту, делающему химический анализ скважины. «Некрофилия», — как сказал, когда нам было по двадцать с чем-то лет, Бродский о вышедшей тогда книге исследований биографии Лермонтова.

В 1965 году Берлин прочел шесть лекций о романтизме в Вашингтоне. Аудитории были переполнены, лектор, как пишет сегодняшний критик, не просто в ударе, но превзошел себя, «его знаменитая ослепительная, нагнетающая напряженность подача материала — стремительность ее потока, гипноз ритмических повторений, сокрушительные перечисления, — была могучей машиной убеждения, которое могло парализовать или, уж во всяком случае, притупить критические способности слушателя». Магнитофонные записи этих выступлений неоднократно передавались по Би-би-си, и вот сейчас, через полтора года после смерти Берлина, вышли, тщательно расшифрованные, отдельной книгой. Чтение, продолжает критик, лучше, чем слушание, устанавливает необходимую дистанцию от его смелых интеллектуальных построений и обнаруживает, что в этих лекциях, «если чем Берлин и был, то только смелым». «Bold» — по-английски «смелый» не без оттенка «наглый».

Далее анализ знатока. Некоторые его выводы можно оспорить, с другими нельзя не согласиться, но и сама критика, и спор с ней, и согласие недвусмысленно отдадут критикой, опровержением или принятием самого романтизма — скажем, Байрона, его «Чайльд-Гарольда» и Чайльд-Гарольда как такового. Действительно, личность поэта — не образец воплощения Божьего замысла о человеке; ни человека в практике повседневного существования, исполнителя долга и носителя ответственности; ни того здравого смысла, который обеспечивает выживание человечества. Его поэма — довольно непоследовательное повествование, сюжет более или менее произволен, ритм однообразен, и регулярное нарушение его в конце каждой строфы эту однообразность подчеркивает. Его герой — литературен, в большой степени и театрален, а отрицательное обаяние, которым он так щедро наделен, — вещь на любителя. И однако... И однако без них — мир неполноценен.

Романтизм как явление, выражающее онтологический иррациональный протест, заложен в основание человеческой природы. Поступок Евы и особенно Адама, помимо всего, что справедливо говорит об этом катехизис, есть еще и нежелание продолжать жить так, как уже известно, хотя бы и хорошо, хотя бы и совершенно, и в этом смысле есть акт романтизма. И Берлин в своих лекциях пе-

редает, прежде всего, дух — то, что человек с улицы, хотя бы всего только уловивший пленительность романтизма, чувствует в нем и ждет от кого-то услышать, потому что не может сам сказать. Люди набивались в аудитории не потому, что они стадо и любят пенье дудочки и щелканье бича, а Берлин вышел тогда в модные пастухи. Ослепительная, нагнетающая напряжение подача материала, стремительность потока речи, магия ее ритма, гипноз повторений и фонтанирующие перечисления — это и был романтизм. Сокрушительный, парализующий и счастливым образом притупляющий критическую способность слушателей, которые пришли не учиться в классе романтизма, а наслаждаться им. На их удачу лектор был не просто в ударе, но превзошел самого себя.

«Романтизм,— была, как ключ, его торопливая речь, и слушатели гнались за ней, сами того не замечая,— первобытен, невоспитан, это юность, жизнь, бьющее через край ощущение жизни естественного человека, но также бледность, лихорадочность, болезнь, упадок, *maladie du siècle* (недуг века), *La Belle Dame Sans Merci*, Безжалостная Прекрасная Дама, Танец Смерти и, разумеется, сама Смерть. Это шеллиевский купол из многоцветного стекла, и это одновременно его же белое сияние вечности. Это беспорядочное брожение полноты и богатства жизни, *Fulle des Lebens*, неистощимое разнообразие, буйство, неистовство, столкновение, хаос, но при этом и мир, единство с великим “Я есмь”, гармония с естественным порядком, музыка сфер, растворение в извечном вседержателем духе. Это — странное, это — экзотическое, гротескное, таинственное, сверхъестественное, развалины, лунный свет, зачарованные замки, охотничьи рога, эльфы, великаны, грифоны, водопады, старая мельница на Ручье, тьма и силы тьмы, призраки, вампиры, безымянный ужас, иррациональное, невыразимое. Но при этом и хорошо знакомое, и чувство принадлежности к единственной в своем роде традиции, и радость в улыбающемся лице обыденной природы, и привычные звуки и картины простого, довольного сельского люда — здоровой и счастливой мудрости розовощеких сынов земли.

Это древнее, историческое, это готические соборы, туманы старины, античные корни и старый порядок с не поддающимися анализу качествами, его глубокие, но невыговариваемые привязанности, неосязаемое, невесомое. При этом погоня за новизной, революционными переменами, участие в быстротекущем настоящем, желание жить в данный момент, отказ от знания, прошлого и будущего, пасторальная идиллия счастливой невинности, радость проходящего мгновения, чувство безвременности. Это ностальгия, это мечтательность, это пьянящие сны, это сладкая грусть и горькая грусть, одиночество, боль изгнания, чувство отчужденности, блуждание в отдаленных краях, особенно на Востоке, и в отдаленных временах, особенно в средневековье. Но это также радостное сотрудничество в совместном творческом усилии, чувство созидательной причастности Церкви, классу, партии, традиции, великой и всеохватной симметрической иерархии, рыцари и челядь, чины Церкви, органические социальные узы, мистическое единение, одна вера, одна земля, одна кровь, “*la terre et les morts*”, “земля и мертвецы”, как сказал Баррес, великое сообщество мертвых, живых и еще не родившихся. Это торизм Скотта, Саути и Водсворта, и это же радикализм Шелли, Бюхнера и Стендаля. Это шатобриановское эстетическое увлечение средневековьем — и отвращение к средним векам Мишле. Это карляйлевский культ власти — и ненависть к ней Гюго. Это крайний мистицизм природы — и крайний анти-природный эстетизм. Это энергия, сила, воля, *étalage du moi*, *выставление себя напоказ*; и это также самоистязание, самоуничтожение, самоубийство. Это первобытное, это безыскусное, это лоно природы, зеленые поля, коровьи бубенцы, журчащие ручьи, бездонность голубого неба. В не меньшей степени, однако, это также дендизм, страсть к изысканной одежде, красные жилеты, зеленые парики, голубые волосы, которые последователи таких людей,

как Жерар де Нерваль, носили некоторое время в Париже. Это омар, которого Нерваль водил на бечевке по улицам Парижа.

Это иступленная склонность к самолюбованию, эксцентричность, это битва Эрнани, это *enpui*, скука, это *taedium vitae*, *отвращение к жизни*, это смерть Сарданапала, написанная ли Делакруа, изображенная ли Берлиозом или Байроном. Это судорога великих империй, войны, кровопролитие и крушение миров. Это романтический герой — бунтарь, *l'homme fatal*, *роковой человек*, проклятая душа, Корсары, Манфреды, Гяуры, Лары, Каины, все население героических поэм Байрона. Это Мельмот, это Жан Сбогар, отверженные и Измаилы, равно как куртизанки с золотым сердцем и каторжанки с благородным сердцем со страниц беллетристики девятнадцатого века. Это питье из человеческого черепа, это Берлиоз, сказавший, что хочет подняться на Везувий, чтобы беседовать с родственной душой. Это сатанинские пирушки, бесстыдная ирония, дьявольский смех, черные герои, но также и блейковское видение Бога и его ангелов, великое христианское общество, вечный порядок и “звездные небеса, которые едва ли могут выразить бесконечное и вечное христианской души”.

Это, коротко говоря, единство и многообразие. Это точность частностей, в картинах природы например, и одновременно непостижимая, обрекающая танталовым мукам расплывчатость очертаний. Это красота и уродство. Это искусство для искусства — и искусство как инструмент общественного спасения. Это сила и слабость, индивидуализм и коллективизм, чистота и испорченность, революция и реакция, мир и война, любовь к жизни и любовь к смерти».

Очевидно, что с позиции человека, который так говорит и так думает, существует четкое различие между уважением принятых обществом условностей вплоть до охотной поддержки их — и возведением их в ранг условий бытия вплоть до отдачи им всего себя. Берлин ценил и рыцарский титул, и особенно Орден Заслуг, и учтиво принимал бесконечные звания почетного доктора от разных университетов. Я спросил его, не заставляет ли признание, полученное им, вести себя не так, как ему хотелось бы, не налагает ли обязательств, которые противоречат или прямо противопоказаны его принципам: «Насколько то, что вы *sig*, изменило ваше *self*?» Он ответил: «Нисколько. Я не чувствую никаких ни обязательств, ни обязанностей».

— То есть не то чтобы вы когда-нибудь не хотели чего-нибудь сказать, потому что это не входило в рамки...

— Нет, ничего подобного никогда не было. Мое *сэрство* на меня не произвело никакого впечатления.

— Я говорю о «сэре» только как о символе.

— Я понимаю. Нет, я не чувствую, что, потому что я сэр, я должен что-то представлять или быть представителем чего-то, говорить осторожно. Мой «О-эм», кстати, более важный, чем мой «сэр».

— Что, что?

Он принял мой переспрос за невежество и стал терпеливо объяснять.

— У меня есть титул Order of Merits. ОМ. Это самый высший орден в Англии, выше нету.

— И вам это не мешает вести себя, как вы хотите, говорить, как если бы этого не было?

— Я считаю, что я не заслужил ни «сэра», ни это. Не понимаю, почему это мне дали. С ОМ я знаю, кто это устроил. С «сэром» — только потому что я Макмиллану лично понравился. С его подачи.

Он не вполне уверенно воспользовался этим только что вошедшим в моду неологизмом, сказал сперва «с его *подачки*», то есть не смутился отозваться о себе уничижительно. И в другом разговоре тоже — отметил с симпатией похо-

жий подход Джона Стейнбека: «Это был милый человек, он говорит, что он не заслужил Нобелевской премии. Сказал: “Я ее не заслуживаю”. Про него Эдмунд Вилсон, мой друг, сказал: “Он является границей между журнализмом и литературой”».

Для меня английские титулы, хотя бы и принадлежащие ему, оставались принадлежностью книг и театральных спектаклей, я спросил:

— А что выше, Орден Заслуг или Подвязки?

— Орден Подвязки — это другое дело. Орден Подвязки — это христианский орден.

— А награждение Орденом Заслуг — это и значок какой-то?

— Ну да, конечно, есть. И раз в пять лет мы должны все идти обедать с королевой. Только что там были.

— С Алиной?

— Да, с Алиной. Две недели тому назад.

— И молчать надо было? Или что?

— Нет, нет, ленч как ленч. Никакого молчания, нет, нет. Это не торжественно. Нет... Можно, я вам скажу, кто Order of Merits? Элиот это имел. Киплинг это имел. Предложили это Бернарду Шоу, он сказал: «Ничего ниже герцогства — не принимаю». Nothing less than dukedom.

Я посмеялся.

— Типично было. Кому еще это дали? Э... Киплингу дали... э... Дали Бенджамену Бриттену. Это дали, ну, я не знаю, разным физикам с Нобелевской премией — людям таким дают это. Я этого не заслуживал. Но я являюсь один из двадцати четырех — это число ОМ. Теперь вакансий нету, новых нельзя. Нет! Двое умерло, придется назначить еще два. Но это самый высший — то есть не военный — орден. А Подвязки — это другое дело, там евреев нету. Это царский... фу ты... рыцарский христианский орден. Но это скорее дают политикам, генералам, так сказать, men of action, деятелям. А ОМ дают за технические, эстетические и интеллектуальные подвиги. Оден — невероятно хотел этого...

— Не получил?

— Нет.

Меня тянуло поставить точки над «i», и я заговорил об истеблишменте — так, как его понимают у нас, то есть как часть общества, цельную и в этой цельности почти безличную, через которую общество устанавливает свои критерии и ценности, принимает и отвергает и тем самым диктует поведение. Я сказал: «Вам не кажется, что Бродского как фигуру, сделавшую независимость главным принципом своей жизни, истеблишмент включил в допускаемое число анфан-терриблей и в таком качестве переварил и усвоил?» Для Исаяи это понятие отнюдь не было единым и однородным: «Какой истеблишмент? Не в Англии».

— Ну американский. Истеблишмент как таковой.

Он не понимал, каков он «как таковой», потому что такого не было. Американский — был.

— Я не знаю, какое там создалось положение. Я думаю, да. Вероятно. В Америке нет чудачков, понимаете? Все чудачки. Там нетрудно. Там не нужно быть conformed, конформистом, там всякое возможно.

— А в Англии?..

— В Англии он просто не был, не жил, в Англии его мало знали, так что он не был тут персонажем. Только для каких-то других поэтов.

Собеседник не принимал моего тезиса, потому что тезис был схемой, а схема тоталитарной. Для нас общество — род чудовища, животное, скорее отталкивающее, туша, от которой можно отползти в дальний угол, чтобы ни ей не дотянуться, ни ее было не видеть, а можно, напротив, присосаться, не грубо, а ими-

тируя, будто целуешь. При советской власти по причине намеренного смешивания всего со всем, после нее — из-за смешивания, уже привычного и удобного, никто не рискнул бы сказать определенно, что относится к государству, что к обществу: первое распоряжается жизнью общества откровенно, второе норовит распорядиться государством, не объявляя об этом. Этот конгломерат и есть наше представление об истеблишменте: что-то наподобие самостоятельного бесформенного желудка, не обязательно — точнее: не для всех — зло, но, уж во всяком случае, не добро.

В этом смысле Берлин не русский и русским никогда не был. Для него общество не только не безлично, но и не безлико — наоборот: лица прежде всего. Он не должен был *не любить* — ни общества, ни истеблишмента, ни государства. И то, и другое, и третье состояло из людей, многих из которых он знал лично или заочно, и большинство ему нравилось, другие не очень или совсем не нравились, но, во всяком случае, все, за малым исключением, были интересны. В его отношении к политическому и социальному мироустройству не было надрыва, заложенного у нас в противостояние власти и подвластных и нуждающегося для баланса в ненависти, необходимой просто для того, чтобы выжить. Общество вроде воздуха: необходимо, чтобы дышать, но недостаточно, чтобы им жить, как сказал автор книги «Жизнь разума». Я ни разу не чувствовал, чтобы Исая кого-то ненавидел — как, например, я Сталина. Он был непримирим к тем, кого находил злодеями и негодьями, не обсуждая «объективности ради», насколько их незлодейские и ненегодяйские качества смягчают общее их зверство и подлость, даже когда признавал — а если признавал, то всегда отмечал, — что такие качества имели место. Но злодеи и негодяи были все-таки отклонением от нормы, а никак не нормой и даже не компонентой нормы.

Жизнь состояла из умных и глупых, слабых и сильных, интересных и скучных, порядочных и пройдошливых людей — но, главное, забавных. Жизнь время от времени принимала серьезный оборот, но когда не принимала — то есть по большей части, — была забавной. Когда он приехал на несколько дней в Москву в 1988 году и навестил Лидию Чуковскую и она обратила его внимание на большую, над книжным шкафом, картину, изображавшую кабинет ее отца Корнея Чуковского в Переделкине, где Берлин бывал в 1945 году, и спросила, узнает ли он комнату и вещи, он ответил весело: а-а, да-да... А мантию, висящую на двери — оксфордскую мантию, в которой Чуковский получал почетную степень доктора? Да-да, у меня есть такая же... Хозяйка относилась к подобным вещам и вообще к признанию заслуг, если они подлинные — а признание Оксфорда автоматически значило, что они подлинные, — в высшей степени серьезно. «А за что именно вы получили?» — «А мой друг такой-то возглавил комиссию по присуждению и сразу же мне дал». В ее табели о рангах сэр Исая Берлин занимал достаточно высокое и прочное место, чтобы это легкомысленное вольтерьянство не пошатнуло ее представлений. Но она была шокирована — настолько, что после его ухода, за полночь, позвонила мне и, делясь свежими впечатлениями от первой в жизни встречи с ним, чуть ли не в самом начале упомянула об этой неожиданной и не вполне достойной столь важного предмета, скажем так, эскападе, чтобы не сказать — позиции.

Осенью 1994 года он позвонил нам с женой в Нью-Йорке: прилетел на несколько дней, по пути в Канаду — еще один университет, тамошний, наградил его почетной степенью доктора. Пришел в гости: «Мне любят давать *honorary degree*. Обычно мнения разделяются — одна партия за одного кандидата, другая за другого, непримиримо. И тогда сходятся на мне: не раздражаю ни тех, ни других, никому не мешаю — всех устраиваю». В словах я не расслышал и намек на кокетство, ирония его отменяла. Таких слов это заслуживало, поскольку было посвящением не в реальные рыцари, согласные сложить голову за суверена на

поле брани,— было принятым ритуалом, но в равной степени и игрой, развлечением.

Публичное признание как игра не принижало, однако, труда, положенного на то, за что в итоге оно приходило. «Я вам все объясню о себе. Я в свое время лекции читал. Так как я был академик, это была моя обязанность. Я ненавижу лекции читать. Я, вероятно, произнес восемьсот лекций в моей жизни, может быть, девятьсот. И каждая лекция была пыткой. Я это ненавижу делать. Я стоял там — во-первых, я нервничал по поводу того, что я буду говорить. Я слишком много работал над каждой лекцией. Я писал, может быть, семьдесят страниц к одной лекции. Это я, понимаете ли, каким-то образом сужал в какие-нибудь тридцать страниц. Потом я из этого, понимаете ли, делал какую-нибудь, не знаю... производил из этого девяносто страниц. Потом три. Потом карточку, сколько им надо посмотреть *head-lines*, библиографию. Но это я не смотрел.

Когда я лекции читал, я был всегда в каком-то невероятном состоянии духа, я боялся всего, я был одержим. Я не смотрел на человеческие лица, я не имел никакого контакта с людьми. Я думал, что если я буду смотреть на лицо, оно может улыбнуться, или, наоборот, зевнуть, или посмотреть на меня зло, злым образом, или что-то сделать, суровое выражение, может быть. Так я смотрел на точку там, потолка. Всегда. И поэтому я был очень нервным лектором. Это давало моему голосу невероятную *tension* — как сказать “*tension*”?..» — «Напряжение». — «...напряжение. Поэтому я делал хорошее впечатление на аудиторию, поэтому люди приходили. Это было что-то, какой-то электрический ток. Единственная вещь, которую я хотел, это чтобы “час” закончился. Я просто хотел туда — в тот конец, в ту часть “часа”. Я проходил по какой-то длинной, не знаю, какому-то длинному перешейку, слева были какие-то крокодилы, а справа были какие-то тигры. Главное — не упасть, ни налево, ни направо, а каким-то образом, понимаете ли, доехать туда. Это были мои лекции.

Теперь так. Так я писал эти длинные вещи, иногда я их, конечно, сцеплял, иногда нет, и мои лекции иногда были напечатаны. В Японии. В Сицилии. Бог знает где. Генри Харди, который все это исследует, искал и искал все кусочки моих вещей. Все эти маленькие томики этих так называемых моих трудов — это дело его рук. Единственная книга, которую я когда-либо писал как книгу,— это была книга о Карле Марксе.

— И “Горбыль человечества”, “*The Crooked Timber of Humanity*”?

— “*The Crooked Timber of Humanity*” — это коллекция кусочков. Они все коллекции, все — антологии. Ничего не имеют, строго говоря, единого. Каким-то образом он сумел сделать внутри какое-то псевдоединство. Но он их искал везде, искал по каким-то, понимаете ли, лазил, ходил к Patricia, моей секретарше, смотрел на какие-то ящики, где лежали поблекшие какие-то листы, все делал, находил какие-то *tapes*, абсолютно забытые, играл их. Ему я обязан всей моей репутацией, тому, что он сделал, это дело его рук». Он сказал «предан» вместо «обязан» — придав объяснению оттенок благодарности.

То, что критик Берлина принял в его чтении лекций за «могучую машину убеждения», было, я подозреваю, исходившим от лектора обаянием. Выступал ли он с кафедры, обсуждал ли что-то с глазу на глаз, болтал ли за обеденным столом, обаяние его личности ощущалось физически: потеплением атмосферы помещения, все большим удобством стульев, вдруг замечаемым улучшением самочувствия. Критические способности слушателей, что и говорить, сковывались — за ненадобностью: как стратегические способности военного или спортивные автогонщика, когда они разговаривают с, положим, матерью или возлюбленной. Это не обольстительность, даже не очарование. Среди качеств, составляющих природу обаяния, главное — заинтересованность. Обаятельному человеку интересно все, что его окружает и с чем он встречается, в частности, и ты — интересен так, что и тебе он передает свой интерес ко всему на свете. Мир,

еще только что обыкновенный, захватывает тебя — таков механизм воздействия обаяния.

Обаяние всегда равно себе, хотя бы обаятельному человеку, чувствующему себя самим собой в кабинете или гостиной, пришлось выходить к аудитории; предпочитающему отвечать двумя-тремя острыми словами или залпом монолога на чью-то реплику — произносить лекцию. Стихией Исайи был разговор, мгновенно возвращающий тиграм и крокодилам черты человеков — до которых он всю жизнь испытывал такую жадность. Когда я приехал на год в Оксфорд, мне показалось, что книги, чтением которых он только и занимался всю жизнь, немножко ему надоели, но к людям интерес был жгучий. Он с напором подтвердил: «Это так. Правильно. Я книги больше не читаю. Я засыпаю над ними, просто из старости, старости лет.

— А люди продолжают быть занимательны?

— О да. О да. Всегда были. Не только люди, с которыми я имею дело непосредственно: люди, которые гуляют по улице, мне интересны. Я засматриваюсь на их головы, смотрю в их лица, они обижаются. Я слишком пристально смотрю — как человек, который интересуется птицами, так я интересуюсь людьми.

— В Москве, в Ленинграде, когда я еду в метро на эскалаторе, я “читаю” лица.

— Я не читаю лица, нет. Я не спрашиваю, кто они, чем они занимаются. Это делал Дягилев. Дягилев, Бенуа и Бакст, они сидели в Café de la Paix в Париже — когда люди проходили, они судили, кто они. Бакст по платью, Дягилев не знаю по чему, Бенуа по общему виду. Потом должны были спрашивать их: “Скажите, вы портной?” — они обижались.

— А был период, когда книги были более интересны, чем люди?

— Никогда. Я всегда был очень общительный. Общительный. Меня всегда веселили люди. Когда мне было скучно, люди приходили, и мне становилось более или менее весело. Я никогда не скучал с людьми.

Глава II

— Когда я дал мою первую лекцию как профессор, inaugural lecture называется — как это по-русски?..

— Так и есть, инаугурационная лекция — по случаю вступления в звание и должность.

— ...инаугурационная — пришли фешенебельные дамы тоже. Пришел лорд Halifax, как раз жил в All Souls тогда. И всякие такие люди».

Разговор шел о модных лекторах. Не университетских, которые играют в величие и демонизм, пригнанные к масштабам студенческого курса и пятидесятиместных аудиторий, называемых «большими», а публичных, приглашаемых из-за большей или меньшей известности, полученной в более или менее специальной сфере их деятельности. Тот московский лингвист и филолог, разочарованный обыкновенностью Исайи и недостаточным весом его вклада в мировую науку, был, кстати сказать, одним из таких. Произнося, если докладывал, к примеру, о Кузмине, присяжнопоминаемого Чичерина, он по какой-то ассоциации, хотелось бы думать, не фонетической или этимологической, вспоминал Чекрыгина и Кикерона, и девочки с пунцовыми щеками благоговейно записывали в тетрадки «Чечерин», «Чучерин», «Чикрыгин», «Чукрыгин», «Кикерон — ?» — и подчеркивали одной или двумя чертами. Хлебников был только «Виктор Владимирович» или даже «ВВ», никогда Велимир — общеизвестный. Приятель пригласил меня на одно из его представлений — об очередной археологической сенсации.

Такого рода мероприятия не объявлялись, о них передавали один другому по телефону, при встрече. «Междуречье, — сказал приятель. — Время пророка

Илии, чуть ли не...» Я вставил: «...автограф — чего мелочиться!» Он кончил: «...параллельный текст». Лекция была, в основном, о трансформации начертания букв от хеттов до греков — на развешанных по стенам графиках изображались на всякий случай еще латинские и глаголица. Какая-то часть времени была посвящена открытию, сделанному лектором совместно с американским шумерологом, от имени которого аудитория на миг оцепенела — сам! Открытие заключалось в том, что, встретившись на международном симпозиуме, они целую неделю с утра до вечера читали клинопись, поворачивая таблички на девяносто градусов — ладонь, вытянутая вертикально, переводилась в горизонтальную — и получая, будь это, скажем, не Междуречье, а Рим, вместо пятерки V знак «меньше» — <. Из общечеловечески примечательного были два младенца, двух и четырех лет, приведенные мамой, ученицей лектора, — и газета «Советский спорт», которую мой приятель, держа на коленях, внимательно прочел, сложил туго, так что она стала похожа на глиняную ассирийскую дощечку, прикрыл, как в состоянии особенной сосредоточенности, глаза рукой, мгновенно заснул, и она упала из разжавшихся пальцев на пол с довольно громким стуком. Еще обратили на себя внимание смены кассет в магнитофоне: этим занималась специальная магнитофонная дама, умело, быстро, но все равно между выключающим и включающим щелчками лингвист и филолог производил невнятные слова «да-а-а», «дело в то-ом», «тем более что» и нечленораздельные звуки вроде «яу» и «йэу» — после чего восстанавливал нормальную речь.

Я напомнил Исайте его же рассказ о лакеях, которых хозяйки посылали заранее занимать для них места в аудитории перед лекциями Бергсона...

— Да-да, да-да.

— Что значит быть модным лектором? Как это получается?

— Чтоб люди ходили, это всё.

— Ну вот на ваши лекции ходили...

— Ходили.

— ...на Бергсона ломались. Но, как говорит мой друг художник, «есть художники, которые гораздо лучше, чем я, но их никто не покупает».

— Да, это так. Это так. Великие ученые — плохие лекции дают. Бывает. Великие ученые — и не умеют.

— Но есть специальное понятие «модный лектор». Вы не были модным лектором или были?

— В Оксфорде нету этих дам, которые туда шли. Я потом, когда был прием, дам не видел, не было... Мой друг Maurice Bowra, который был эксперт по всему русскому, который немножко завид... известная зависть у него была, сказал мне после лекции: «Совсем неплохо. Как хороший перевод с латвийского?»

— Ну не первого класса шутка, не первого...

— Согласен.

— ...ее можно придумать, она напрашивается.

— Он был в известной степени... он сколько-то завидовал мне.

— Он был англичанин.

— О да.

— Его лекции должны были быть хорошим переводом с английского... То же не Бог весть какая шутка, но немножко лучше, да?

— Его лекции никуда не годились.

Этот «перевод с латвийского» дернул узелок, мне на память не мною завязанный. Моя мать родилась в июне 1909 года, через девять дней после Исайи, и там же, где он, — в Риге. Аналогия, которую при желании можно высосать из такого совпадения, никуда не годится, тем более что конкретно *родилась* она в Режице, по-латышски Резекне, в трех часах поездом от Риги, и в Ригу была пере-

везена младенцем. Но сопоставление, одну сторону которого — судьбу матери — я знаю изнутри и на протяжении долгого времени, а другую, Берлина, — с его или чьих-то слов, может дать пищу не совсем уже оголтелым догадкам и с помощью одной приоткрыть дополнительное измерение для другой. Может и не дать, и не приоткрыть, но я однажды по сходному поводу уже попадал в комическое положение и теперь постараюсь лишнего не говорить и ни на чем не настаивать.

Повод был приход в гости американца с фамилией, очень близкой к моей — Наймарк. Кто представляет себе обстоятельства первой, производившей сплошь и рядом со слуха, переписи евреев в какой-нибудь Германии или Польше и провинциальных чиновников, умножавших неточности и прямые ошибки при выдаче каждого нового документа, согласится, что близость много больше, чем разница. И в придачу он был очень похож на моего отца и его родню — внешне: череп, взгляд, лицо, выражение лица. Было и бросающееся в глаза отличие: американец был здоровенный, под два метра, а мой отец, его братья и кузены — довольно субтильные, метр семьдесят или чуть больше. В гости он пришел как «друг друзей», это часто тогда бывало — иностранцы, ехавшие на стажировку в Россию, брали чьи-нибудь адреса у недавних русских эмигрантов.

О фамилиях и как они могли быть во времени преобразены, а главное, о чертах бесспорного фамильного сходства я ему сказал с порога. Он принял мои слова с вежливым, но сдержанным интересом. Я решил, что преподнес это ему недостаточно убедительно, без должного порыва, который сам по непонятной причине чувствовал очень остро. Я выяснил, откуда родом его бабушки-дедушки, прозвучала Лодзь — о, *място Лудзь!* Мой отец из Лодзи! Я вам сейчас покажу его фотографию! Чтобы у вас не было сомнений... Где-то у меня был семейный альбом, составленный для меня мамой, видимо, именно на этот случай, но никак он мне не попадался. Ну ладно, есть другой, там мы с отцом сняты на фоне леса. Кстати — в Латвии. Он посмотрел на меня, пытаюсь понять, почему Латвия кстати. А там мама моя родилась. Вот альбом, вот фотография, луг, небо, лес посередине, и на опушке две человеческие фигурки размером с еловую иголку. Он сказал: «О да, я вижу» — о yes, I see. Но чем очевидней становился мой провал, тем неудержимей напор. Я спросил, какая профессия у его отца, он ответил, военный врач, и я, окончательно съехав с рельс, воскликнул: «И моя мать — врач-педиатр!» Несколько секунд я остывал, потом всмотрелся в него и сказал очень спокойно: «Послушайте, вы, наверное, думаете, что нищий русский дуриком набивается вам в родственники, да?» Я сказал «fools you», но имел в виду «дуриком». Пыл мгновенно перешел к нему: «О no! No! No!» — но, перехватив секундную нетвердость взгляда, я понял, что именно «yes».

Мы стали потом друзьями, иногда, напоминая о первой встрече, он обращается ко мне в письме «мой безусловный брат», так что, как любила говорить Ахматова, «никакой неловкости не произошло». Тем более не может она произойти, если я напишу несколько страниц об одной из судеб, которая некоторое время развивалась бок о бок с берлиновской, которая предлагалась и ему, как многим, родившимся там и тогда, — и от которой он ускользнул (или она от него), возможно, просто по удачному стечению обстоятельств. Похоже, что условия, выпавшие среде, в которой родились Исая Берлин и моя мать, до поры до времени были более или менее благоприятными, хотя — с началом мировой войны, а потом и революцией в России — и специфически тревожными.

Осмеливаюсь говорить о среде, *общей* для обоих, имея в виду размытые границы общины мелких еврейских буржуа в Латвии и конкретно в Риге, общины, не юридически и даже не религиозно, а скорее визуально, а то и понаслышке оформленной, в которую входили, вероятно, не зная друг друга, но как все рижские евреи зная друг о друге, и мой дед Давид Авербух, и отец Исая Мен-

дель. Тем более что когда в отрочестве я дознавался у мамы, кем был ее отец, она однажды сказала, что бухгалтером, а однажды, что «занимался лесом». Вернее, это на последовательность моих уточняющих вопросов, бухгалтерию *в какой сфере* он вел, она вспомнила про лес. Отец же Исаи был лесопромышленником, и, в отличие от моего деда, работавшего, судя по недомолвкам оставшихся в живых маминых кузин, при ком-то и на кого-то, лесопромышленником настоящим, возможно, и крупным. Во всяком случае, таким, что, когда он лишился «всего», прибыль лишь от одной — или двух — трех — из последних его сделок, чудом достигшая Лондона, составляла десять тысяч фунтов стерлингов и оказалась достаточной, чтобы семье обосноваться там вполне благополучно.

Дед Давид, как я, пятилетний, его запомнил с единственной, продолжавшейся десять дней встречи, а потом дополнял по сохранившимся фотографиям, был мягким человеком. Ощущение мягкости долгое время было физическим: я сижу у него на коленях на широкой, утапливающей тебя тахте, каких в Ленинграде и не видывал, и нехотя, скорее по условиям игры, выпрастываюсь головой из-под его головы, нависающей над моим плечом, и весь целиком — из его объятий, теплых и мягких-мягких. По фотографиям — таким было постоянное выражение его лица, особенно улыбка; по рассказам — такими были и его характер, и вся натура. Что не способствовало бизнесу — или бизнесам, за которые он последовательно брался. Его брат, мамин дядя Миша, выглядел более угрюмым, я по крайней мере запомнил его как будто насупленным, или печальным, что-то в этом роде, и, может быть, именно поэтому куда более успешным в «деле». Он был «миллионер». Не знаю, в настоящей ли валюте, в, скажем, долларах или тех же фунтах, которых тогда для статуса миллионера достаточно было иметь тысяч пятьдесят, да думаю, и десяти хватило бы, — или в латах, которых на такую сумму ну не миллион, но сравнимо и выходило, — или в рублях, которые, если верить рижанам, котировались так низко, что автоматически превращали любого зажиточного латыша в русского богача.

Рижская культура — русская в особенности, но также и вся в целом к востоку от Двины — была развернута в то время в сторону Петербурга, на Петербург сориентирована, а еврейская ее составляющая тщательно фиксировала, какое место тот или иной еврей занимает среди русских, и гордилась, если место оказывалось приличным. (Так было повсюду, так продолжается по сю пору, хотя и — с появлением Израиля — в меньшей мере.) Обращенность к России не значила курса на пренебрежение Германией, вторым после русского городским языком был немецкий — латышский находился на особом положении, оставаясь явлением больше лингвистическим, чем культурным. Евреи средних классов, между собой говорившие на идиш, изучали немецкий отдельно и не путали языки. Дядя Миша был женат на женщине, которая носила лорнет, не говорила ни слова ни по-русски, ни на идиш, а только «ди дойче шпрахе», за что в семье ее звали — и я был уверен, что так оно и есть, — «немкой»... Ко всему прибавьте, что настоящее имя дяди Миши было Мендель и что капитал он сколотил ни на чем другом, как именно на лесоторговле. Мог ли я пройти мимо такого совпадения? Кстати сказать, подозреваю, что и дедушка Давид «занимался лесом» тогда и столько, когда и насколько его привлекал к этому его менее ласковый, более целеустремленный, а может быть, и более толковый брат.

Рига была центром деловой активности, давала ощущение причастности если не к мировому, то к явно выходящему за рамки местного бизнесу, а для желающих — и ощущение принадлежности к широкой культуре. Кроме того, жить в Риге считалось престижным. Но там располагались конторы, а конкретное, живое участие в предприятии, в процессе, в материи гешефта требовало присутствия рижанина в провинции, в маленьком городке вроде Андреаполя, жившего вокруг берлиновских лесопильных фабрик, или Режицы и Люцина, поддержи-

вавших деятельность Авербухов. Люцин называется сейчас Лудза, в нем есть площадь, на которой стоял дом материной тетки Сони, и городской сад, до национализации принадлежавший еще одному их брату, Илье. В саду есть — во всяком случае, должна быть, по крайней мере в 1946 году была — спортивная площадка, на которой в том самом году я, десятилетний, участвовал в общегородских соревнованиях по легкой атлетике. Первое место по прыжкам в длину занял сорокалетний латыш, костлявый и болезненного вида, с результатом четыре метра десять сантиметров. Я, с тремя девяното, остался на втором. Мы прыгали в яму с грязным песком, куда собаки прибежали писать и какать. После каждой попытки — их было три — латыш снимал ботинки, в которых соревновался, надевал брюки, снова ботинки, рубашку, пиджак и совсем никудышный засаленный галстук, и так трижды.

Из Лудзы попасть в Ленинград, а стало быть, из Люцина в Петербург, в то время можно было только через Режицу — по-латышски и по-нынешнему, Резекне. Поезд приходил на Резекне-II, откуда перебирались — в 1946 году в телеге — на Резекне-I. В августе, а возможно, и круглый год, нечего и думать купить в кассе билет, поэтому тетя Соня, поехавшая нас провозжать, не сняв кухонного передника, прошла сквозь орущих и умоляющих людей прямо к проводнику, достала из кармана две сотенных, бывших тогда в локоть длиной, сунула их, но не засунула, а так, чтоб торчали, в верхний карманчик его железнодорожного кителя, и закричала отцу и нам с братом: «Быстро в седьмой вагон!» — голосом начальника станции. И Люцин, и Режица географически ближе к России, чем Рига, так что у Менделя Берлина, как и у моего деда, на две-три поездки в Ригу приходилась одна в Петербург — потом в Петроград. Деда несколько раз дела задерживали здесь на продолжительное время, и тогда к нему приезжала семья, то есть жена со старшей дочерью — моей будущей матерью, — а позже и с ее младшей сестрой. Квартиру он то ли снимал, то ли даже купил, потому что в маминих рассказах всю жизнь фигурировала «наша квартира на Офицерской». Офицерская в советское время стала Декабристов и относилась к району, обслуживаемому поликлиникой, в которой мать тоже всю жизнь проработала участковым врачом. Останься их семейство в Ленинграде, она могла бы к своим болевающим детям вызывать на дом самое себя. Не знаю, всё ли на свете, но в этом городе, ручаюсь, что всё, состоит исключительно из таких совпадений.

Мама хранила два медальона — об окончании гимназии в Петрограде и еврейской в Риге. В 1925 году ей было шестнадцать лет, на это время, по-видимому, и приходится оба окончания, если принять, что аттестат одной пошел в зачет в другой. Как обстояло дело с экзаменами по древнееврейскому и идишу, остается только догадываться: мама умела читать и понимала идиш, но не говорила. Рижский медальон был двуязычный: на латышском и, как у меня осталось в памяти с детства, на древнееврейском. Она знала буквы, могла разобрать слова, но у этого был другой источник: семья уезжала на полтора года в Палестину. Дед провез в подошве башмака несколько камней, которых ему хватило, чтобы на паях с компаньоном открыть в Хайфе лавку. Бабушка с дочерьми, уже тремя, приехала к нему, но из-за жары, хамсина, грязи, чуждой среды, враждебности арабов и вообще всего, что называется Восток, категорически отказалась остаться. Дед лез вон из кожи, чтобы улучшить быт, просил потерпеть, предлагал ей уезжать с детьми каждый год на несколько месяцев в Латвию — она твердила только о немедленном отъезде, впадала в угнетенное состояние духа и хворала. Все вернулись в Ригу.

После чего, не сразу, примерно через год, мама была отправлена во Францию, в университет Монпелье, изучать медицину. Я хочу сказать, что какой-то недостаток был, какие-то средства, какая-то горстка неизменных в еврейской семье бриллиантов и колец реально существовала, если можно было послать одну

из дочерей за границу учиться. Разумеется, не соизмеримые с берлиновскими, позволявшими Исайе пойти в школу Сент-Пол, а затем в Оксфорд без оглядки на то, сколько надо платить тьюторам и за комнату. Но у Исайи дед был «магараджа», а у моей матери — «ребе Абэ», который сидел на лавке у ворот и на вопросы соседей: «Ребе Абэ, будет сегодня дождь?» — отвечал глубокомысленно: «Дождь? Сто процентов. А может, и не будет».

«Магараджей» придумал называть своего деда Исаяя, хотя, возможно, это и бродило в семейном фольклоре. Дед был не по крови, а усыновивший его отца, чтобы не сказать — семью. «У этого миллионера — он жил в Риге — было, ну, я думаю, двести — триста разных людей, которые на него работали, все, конечно, родственники, все хасиды, об этом вопросов не было. Раз в год он ехал к великому ребе, там, в Любавичи. Называется Любавича, но по-русски Любавичи. И мой дед был тот, который ездил по всей Европе и продавал эти дрова. Были лесопильни, все принадлежало этой семье, они были истинно богаты. Ну, мой отец родился в восемьдесят третьем году, моя мать — в восемьдесят пятом. Я думаю, ему было лет двадцать, это было в тысяча девятьсот третьем-четвертом году, когда он сделался управителем всего этого огромного дела. Его имя было Мендель. Мендель — это хасидское имя. Это было имя одного из сыновей основателя. Еврейское имя. Никто не знает откуда. От “Ман Мендель” — маленький человек. Мандель гибирге, Мендель гибирге. Менахем Мендель — полное имя. А имя миллионера было Исаяя. Он уже помер к этому времени. Я его не помню. Он, я думаю, умер в пятом-шестом.

Это была жизнь, понимаете *ранга* магараджи. Он по-русски не говорил. Только на еврейском. На жаргоне. Раз в день посылал кого-то осведомиться о его здоровье генерал-губернатор. В этой бедной истории это был генерал Звягинцев. Раз в день посылал Звягинцев чиновника специальных поручений, чтобы узнать, как жизнь моего дедушки. Так называемого — не настоящего. Так это шло. Летом... нет, зимой он ехал в Ментон. Окружаемый — сорока людьми. То есть повара должны были быть, чтобы рубить кошерное, шуты какие-то придворные, были, конечно, чиновники, которые записывали вещи, были какие-то, не знаю... — как *слег* по-русски?

— Ну, скажем, писец.

— Люди в конторах.

— Да-да, конторщик.

— Конторщики. Такие — и всякие другие, родственники и так далее. Это было, понимаете: им приказали. Он — ехал первым классом. Но не спальным вагоном — это не для нашего брата. А им приказывали ехать третьим классом, ехать прямо в Париж: поезд из Риги в Париж был прямой. И там пойти на станцию и спросить билет: “Доннэ-муа ун буллет трозьем класс Ментон”. Им давали этот буллет, и они ехали в Ментон, и они там жили. Два месяца.

— А во Франции тоже были ограничения для евреев?

— Нет.

— Он не мог там спальным вагоном ехать?

— Он мог. Но не ехал. Он все мог. Он был потомственный почетный гражданин. А они с ним ехали как угодно, все эти раввины и все эти шуты, все родственники, все, кто ехали с ним. Штат.

— Вы видели когда-нибудь его портрет?

— Портрет — нет, фотографию видел.

— Крепкий мужчина?..

— Нет, такой довольно милovidный; с бородой; не слишком длинной, белой; конечно, ермолка. Довольно красивый был, не безобразный. Такой старый еврей — который даже в нашем веке мог быть. Потом летом они ехали в Бад Омбург, та же история, магараджа... Немецкие места, там нужно было пить во-

ду. Там он мог говорить с торговцами другими, которые покупали у него. Я думаю, что его идиш был похож на немецкий. Так что какой-то контакт был — во Франции не было никакого. Это и была моя семья, и в этой среде я родился. Но я ничего об этом не знал, я только знал, что была его частная синагога, в которую меня водили, когда мне было четыре-пять лет».

В Монпелье моя мать, чтобы приработать к деньгам, по-видимому, скудным, присылаемым из дому, и иметь жилье, устроилась служанкой — горничной, домработницей, не знаю, что точнее соответствует месту, которое она заняла, — к одинокой пожилой даме. Дама была француженка, как их описывают те, кому не лень в тысячный раз повторять, что это нация скупых. У нашей ударный номер был сказать, садясь за стол: «Мадемуазель Ассья, — моей будущей матери, тогда двадцати лет, — вы, разумеется, не хотите супу?» Мясa. Чаю. Тем не менее мадемуазель Ассья выглядит на снимках того времени отнюдь не голодной, скорее упитанной — и всегда веселой. На фото, сделанном в анатомичке, с трупом посередине, полувскрытым, полуразсползшимся, вокруг которого расположилась ее университетская группа в белых халатах, никто не мрачен, все улыбаются, но хохочет она одна. Через много-много лет мне пришло в голову, что, может быть, тогда она отсмеялась за всю будущую жизнь.

Упоминания о Франции при мне и тем более при остальных — друзьях, родственниках — были очень редки и, как правило, нейтральны: ну да, было мило, легко — молодость. Воспоминаний, кроме «вы, конечно, не хотите есть», никогда никаких. О Палестине — ни слова, само название не произносилось. То есть да, ее родители там *побывали*, в *Эрец*. Когда, почему — и где была она в это время, само собой разумелось, что не надо спрашивать. В начале «дела врачей» отец с четырех серебряных столовых ложек, когда-то доставшихся маме в приданое от родителей, стер напильником и наждаком выгравированные на них еврейские инициалы. Первоначально ложек было шесть, две были обменены на что-то съестное уже в послевоенные годы.

Вещественно Франция воплощалась в нескольких материальных вещах, непонятно каким образом доживших до после войны: бисерной кошечке, тонком синем полувере (зеленый в городе Камышлове Свердловской области зимой 1942 года был отдан за неправдоподобно жилистого петуха), белом беретике, плетеной корзине с крышкой. Когда мне исполнилось полгода, корзина стояла у дверей, упакованная вещами, необходимыми при аресте: комплект нижнего белья, теплый свитер, три пары носков, две чулок, резиновые боты (из Монпелье! — заклеенные, непоправимо прохудились уже в Свердловске), валенки, мыло, полотенце, зубная щетка — и необходимый набор вещей для младенца на вырост. Собиралось под маму, то есть под мать-с-ребенком, в репрессиях видели логику: за *La Belle France* — в частности, за такую элегантную корзину для пикника — надо было отвечать. В этом виде она простояла два с половиной года: полтора до выхода из тюрьмы в Харькове ее соученицы по Монпелье (шпионаж в пользу Франции, Бельгии и Канады) и еще год на всякий случай...

Вообще же Франции, как я сказал, как будто не было, не вспоминалась, не обсуждалась. При этом, однако, и отказываться от нее мама явно не желала. В конце концов французский период раз навсегда попал в ее анкеты — так же как латышский. Палестинский, по счастью, нет: возможно, на семейном совете решили его забыть, что-то внутри подсказало, что можно без него обойтись, свидетелей не отыскать. Просто не упомянула, когда заполняла первую анкету, а дальше оставалось это *неупоминание* только обязательно повторять — как обязательно повторять университет Монпелье и гимназию, превратившуюся, правда, из Рижской еврейской в какую-то вообще Рижскую. Мама была идеальным

субъектом для обвинения в шпионаже: Франция, Латвия, а нажать, и Англия — через одиозно знаменитый ближневосточный ее протекторат.

Но — пронесло, и это показывает не то, что машина террора допускала ошибки или не срабатывала, а что террор был именно машиной, металлической, бесчувственной, омерзительной физически. При Гитлере, говорил Исайя, какой-нибудь почталдон, если он был немец и в необходимых случаях механически делал «хайль», мог и не разделять идей наци и при этом жить совершенно спокойно, зная, что его как законопослушного гражданина никто не арестует; при Сталине не существовало той суммы условий, исполнение которых гарантировало спасение от лагерей. В этом смысле коммунизм, в отличие от фашизма, — абсолютное, никакими, даже человеконенавистническими, правилами не управляемое зло. И когда оно пропускало кого-то напрашивающегося на истребление, оно только демонстрировало эту свою неуправляемость и абсолютность. Мама не отказывалась от Франции, и всю жизнь держала несколько полок французских книг, и читала по-французски вдвое и втрое больше, чем порусски, потому что это было лучшее, что ей досталось в жизни: самое радостное, веселое, молодое, наконец самое значительное. Сделать это небывшим, даже если такое оказалось бы возможно, было равносильно собственноручному сожжению, аннигиляции самой своей жизни. И хотя арест, пытки, заключение висели постоянной угрозой, источали постоянный ужас и почти ежеминутную тоску, чутьем и сознанием она понимала, что если избежать этого можно только ценой отдачи самой сути того, что есть она, то что в лоб, что по лбу, одно и то же, разве что предупредительная, еще не требуемая капитуляция ее дополнительно и унижит. Поэтому после утреннего приема в поликлинике и дневного обхода больных на дому, после очереди в магазине и готовки на керосинке рассольника и вермишелевой запеканки, после стирки моих и брата трусов, маек и подшивных воротничков для завтрашней школы она ложилась на кушетку и читала «La condition humaine», «Условие человеческого существования» Мальро — на те полчаса-час, которые оставались до прихода отца с работы. Отец приходил не просто усталый, а всегда немножко более вымотанный, чем ожидалось, она разогревала для него обед, садилась напротив и говорила — думая, что я, делая уроки, не слышу: «Этот новый албанский-то, Энвер Ходжа, он ведь учился со мной на одном курсе. Мы его звали «кел-бел-мадмазел» — так он по-французски шпарил». И отец, улыбаясь, тянул: «Чш-ш-ш». Франция была, как ложки, тяжелые, красивые, отсвечивающие благородным серебром, с соскобленной, но продолжавшей стоять в глазах монограммой... Я забежал вперед.

Еще надо было получить от родителей письмо, что больше нет никаких средств платить за ее обучение; вернуться домой, столкнуться с «Латвией для латышей» и развернуться — отдаваясь инерции европейской предприимчивости и легкости, с какой обстоятельства идут навстречу осуществлению предприятий, — в сторону Ленинграда, где, как известно, образование было бесплатное. Советское гражданство, хотя и замороженное, но не отмененное за истекшие годы, без особенного труда превратилось в красный паспорт. Квартира на Офицерской, естественно, пропала, оставались кое-какие друзья семьи — и не без примеси авантюризма молодой подъем. Почти все учебные дисциплины, пройденные в Монпелье, перезачли в Ленинградском педиатрическом институте, что-то потребовали пересдать и зачислили на предпоследний курс. Окончание растянулось на лишние полгода, потому что мама встретила моего будущего отца, вышла за него замуж и родила меня. Потом этап приготовленной по условиям и требованию исторического времени корзины, потом рождение брата, потом десять дней с нами двумя у родителей в Риге и война.

Мириам Ротшильд вспоминает, что, когда Исайя приехал в Оксфорд учиться, общие знакомые попросили ее, некоторое время уже жившую в городе и ори-

ентировавшуюся в тамошних порядках, снять для него комнату. На вопрос, какие у него требования к жилью, он ответил: «Помещение, в котором удобно болеть». Возможно, в конечном счете оно оказалось самым некомфортабельным из чужих, снимаемых помещений в его жизни. Оставим в стороне дешевые сравнения с ленинградским бытом его ровесницы-соотечественницы, но отметим, что ни к углу, который ей выпала удача найти у знакомых знакомых, ни, тем более, к комнате в коммунальной квартире, куда после замужества она из него переехала, у нее не то чтобы не было никаких требований, а не было требований как таковых, как категории — вот эту разницу отметим.

В квартире из пяти комнат две принадлежали семье отца: его матери и трем братьям. Отцу с молодой женой отгородили полкомнаты, другую половину оставив за средним братом, менее любимым старой угрюмой матерью, чем младший. Этого она не только соглашалась, а хотела держать в своей, несмотря на то — а может быть, как раз и из-за того, — что он был франт, возвращался домой поздно, иногда выпивши и наутро ему бывало плохо и он просил лимону. Когда родился я, стало ясно, что придется совместными усилиями снимать одному из братьев комнату, и ясно какому. И опять-таки подфартило, когда соседи из комнаты против входной двери предложили сдавать ему по умеренной цене сделанную с помощью двух шкафов и фанеры выгородку, но тут младший брат объявил, что нет, съедет он, причем не к соседям, а снимет на стороне, причем отдельную комнату, за которую будет платить половину мой отец как учитель всех неудобств, треть средний брат как имеющий постоянное место счетовода и по одной двенадцатой он с матерью как неимущие и утесненные.

Правда, он говорил это подмигивая. Подмигивание много чего выражало: во-первых, что да, вот такой он хват; во-вторых, что он это только так показывает, а никакой он не хват и всем его легкомыслие и никчемность известны; в-третьих, что всё несерьёз, о чем свидетельствует одна двенадцатая, причитающаяся с матери, которая хотя и успела немедленно его поддержать, но, что это за дробь, не имеет представления, потому что, как то же всем присутствующим известно, неграмотная; и наконец, что под все это все-таки придется им снять ему комнату, уж ничего не поделаешь. Он был любимец не одной матери, а и всей семьи: все остальные были всегда серьезны, ответственны, озабочены, не то чтобы всегда не веселы, а — немножко сжав зубы. Делу время, потехе час. Сама эпоха была такая. Подмигивание требовалось, чтобы, собрав вещички, «собравшись» — для ареста ли или для жизни в коммуналке, для скудного быта, общего неустройства и сезонного гриппа, — не пойти в один прекрасный день своими ногами в НКВД и попросить: забирайте меня. Или в петлю, или в лестничный пролет с теми же словами. А он умел вслепую завязать галстук, с формом, но и элегантно; пиджак и брюки, купленные на барахолке, кое-где искусно подштопанные, но также обуженные и пригнанные по нему, носил, как делают это все модники, то есть именно *носил*, не просто натягивал на себя, а как будто и поглядывал на них, его телом несомых, со стороны; танцевал фокстрот и шимми почти профессионально, но лучше, чем профессионально, потому что в *почти* был самый смак. Он соединял время, объявленное небывалым историческим, с самым обыкновенным, пустым, ничтожным и восстанавливал этим самым человеческие мерки, так что его легкомыслие и никчемность выглядели чуть ли не миссией.

Рижская квартира бабушки и дедушки, в которую я, маленький мальчик, хотя и живущий еще в исключительно для меня существующем и целиком вокруг меня сосредоточенном мире, но уже начинавший его замечать и вне, и помимо себя, вошел — или, если угодно, она меня нежно в себя втянула, — была, как сделалось ясно с годами, не только точкой отсчета, но и моделью *квартиры вообще*, городской, европейской, буржуазной. Классически, раз навсегда опи-

санной в «Шуме времени» Мандельштамом. И знаменитая аккуратность моей мамы, поддерживаемая ею в любых условиях и обстоятельствах, была, я убежден, следствием семейного представления о *добропорядочности*, иначе говоря, *порядке* жизни, на *добротность* которого необходимо тратить силы.

Одно дополнительное качество отличало эту квартиру от многих из тех, в которых я в течение моей жизни перебивал: в ней были запах, теплота и приятная духота, исходившие от близости кухни, в определенном смысле доминировавшей над гостиной и спальнями. Кухня была ни придатком к квартире, с неизбежностью которого приходится мириться, ни вынесенным, по возможности, на и за край собственно квартиры подсобным помещением, а составляла — заодно со столовой — ее центр, и обе — кухня и столовая — всячески демонстрировали свою друг с другом неразрывность и равенство. Это было то, чем стал очаг, в еврейском доме никогда не терявший прямой связи с алтарем, с жертвенником. Этим, пусть по сути, по веществу и в самой основе оторванным от родительского лона, иным, враждебным ему, но все-таки самым домашним и ласковым из возможных, самым приближенным к нему пространством семья окружала младенца, вылезшего из утробы в холодный, страшный, гибельный мир. Это же пространство на протяжении всей жизни человека хранило в себе истоки и самый нерв благодарной за такой прием памяти. Через пятьдесят лет тот же химический и физический состав воздуха, однажды на всю жизнь усвоенный, втянутый ноздрями пятилетнего мальчика, встречал меня в еврейских квартирах Нью-Йорка, Лондона, Парижа, друзей и родственников, и каждый раз из моей подкормки выскакивали слова *Рига* или *бабушка-дедушка* — непроизвольно и не требуя продолжения или завершенности. Постепенно я стал осознавать его как семейный — родовой — племенной.

В нееврейских домах или в подражающих им аристократических еврейских кухня в конце концов стала чисто служебным, отчужденным даже от уборной и ванной местом. Мой знакомый музыкант был приглашен к одним из Ротшильдов, попросил разрешения поглядеть на апартаменты, на живопись, мебель, украшения, под конец признался, что его жжет любопытство: какая у них кухня? «Кухня?» — спросили хозяйка, переглянувшись, как сбитые с толку. — А где у нас кухня?» Уклад Берлиных тяготел к золотой середине — а вовсе не к «золоченой клетке», как достаточно несправедливо Ахматова назвала — первоначально, правда, заочно, но, и увидев, припечатанного не отменила — их дом в Хэдингтоне. Сам особняк, парк, его окружающий, с ежами и лисами, пробегающими по дорожкам, овальная лужайка перед входом, ворота и двухэтажная каменная пристройка к ним не то для слуг, не то для секретарей, дворецкий Казимир, столовая, гостиная и библиотека не столько как части дома, сколько как обозначаемые в пьесе места действия, принадлежали общепринятым образцам хорошего вкуса и благополучия. Но диваны и кресла обволакивали и засасывали глубже уровня, рекомендуемого фешенебельному стилю негласной палатой мер и весов. Камин играл пламенем в большей степени для общества гостей, которые любят, чтобы каминные камни играли пламенем, чем для хозяев, и грел скорее фиктивно, а по-настоящему грели калориферы и тоже сверх установленной обществом нормы. Эта обеспечивающая удобства сторона жизни, похоже, следовала вкусам Менделя и «магараджи», равно как барона Гинзбурга, деда Исайиной жены, который в своем доме предпочитал жить, как Гинзбург, а не как барон. Точнее, Марии, матери Исайи, и вообще женской линии предков, потому что, как обращаться с очагом и какие поддерживать запах, температуру и ту легкую духоту, которая отличает *дом* от казенного места и улицы, и насколько плотны должны быть шторы и не раздражать глаз рисунок обоев, знают, не объявляя о своем знании, как раз женщины. Поэтому и какой-нибудь Дега висел на стене у Берлиных не для того, чтобы *золотить клетку*, а потому, что именно он, как и все

прочие попавшие к ним картинки, *нависля* Исайте и Алине — независимо от его общепринятой ценности, а по врожденному и привитому воспитанием представлению о красоте.

Домашнее превалировало над формальным и в отношениях с безукоризненно знавшим свое дело дворецким Казимиром. Мой сын, тогда кончавший в Оксфорде школу, однажды должен был передать Исайте письмо и по телефону условился с ним о часе. Казимир, хозяином не предупрежденный, его неожиданный въезд во двор на велосипеде прозевал, выбежал из своего привратного домика, догнал, выяснил цель визита, принял велосипед, поставил в гнездо металлической решетки, попросил подождать несколько секунд, обогнул дом, чтобы войти через заднюю дверь, и вышел из главной в белых перчатках, почтительно предлагая или пройти внутрь и оставить письмо на столике для почты, или отдать непосредственно ему в руки. В эту минуту, приговаривая: «Ладно, ладно, мы сами справимся», появился Исая, увидел у сына в ухе сережку, сразу поинтересовался, зачем и что значит, и услышав: «It's a youth thing», — одобрительно отозвался: «Fair enough», — то ли ему, то ли улыбавшемуся Казимиру. Он был *сэр*. Казимир — *батлер*, но всерьез разыгрывать сэра и батлера перед то ли моим сыном, который был тоже своего рода *youth thing*, *нечто молодое*, то ли умным Казимиром, то ли дедами и бабками, которые носили фамилию еще не Берлин, ныне *позолоченную* внесемейным признанием его заслуг, а Цуккерман, значащую лишь то, что их на нее когда-то небрежно записали, было так же невозможно, как обращаться к своему отражению в зеркале «милорд». Вроде Николая Давыдовича Шапиро из мандельштамовской «Египетской марки», который, по предположению автора, кланялся в качестве Давыдовича, то есть самого Шапиро, себе в качестве Николая и просил у него взаймы. Включить собственную персону и выпавшую ей судьбу в систему координат, установленную от начала мира, а не королевой Викторией и включающую в себя не членов Колледжа Олл Соулс и лондонского высшего общества, а родню, главным образом тех, кто уже умер, то есть уже проявил себя в полноте, нечего было и пытаться без присущей всякой игре усмешки — кузины того подмигивания, которым младший брат моего отца возвращал жизнь к ее истокам, чуждым любой искренности, пыточной или светской.

Чистая, солнечная, праздничная Рига, чистые, вкусно пахнущие бабушка-дедушка кончились вместе с их чистой, солнечной, вкусно пахнущей квартирой в пять часов утра 22 июня 1941 года, когда позвонил всю жизнь встававший ни свет ни заря дядя Миша и сказал, что только что берлинское радио передало, что Гитлер ввел войска в Россию. В девять мама с дедушкой были в городской советской комендатуре, в одиннадцать, отстояв очередь людей с такими же, как у них, искаженными лицами, вошли в кабинет латыша-коменданта, который, вместо того чтобы поставить выездную визу, сунул мамин паспорт в сейф, в кучу уже отнятых прежде. Методы, как заметил Берлин, ровно те же, что и у муссолиниевских «фашистов в черных платьях, которые забирали ваши паспорта». В половине двенадцатого мы в окно, у которого дежурили, их заметили, выбежали на лестницу, увидели их запрокинутые к нам снизу головы и рты со словами «комендант», «паспорт», «сейф». *Мы* — потому что, если я к пяти годам что и понял в жизни адекватно происшедшему, то это эту сцену: взрослых, наклоняющихся над перилами на разной высоте, потому что с разных ступеней лестницы, и себя, глядящего в пролет, сквозь чугунную лестничную решетку. Между десятью, когда о нападении Гитлера решила наконец объявить акульным голосом Молотова Москва, и одиннадцатью часами принесли одну за другой две телеграммы из Ленинграда от отца, «срочную» и «молнию» (были тогда в наркомате связи такие деликатные градации), с одинаковым текстом «немедленно выезжайте».

Начались непрерывные телефонные звонки, поиски через знакомства маломощные знакомств более высоких, вкладывание каких-то денег в конверты «на всяких случай» — и вызволение, к середине дня, паспорта с нужным штампом. Исайя через это проходил тоже в детстве, хотя и более сознательном, ему было десять или одиннадцать, когда этой же железной дорогой они тоже полуезжали-полубежали, но в обратном направлении, из России в Латвию, и по приезде в Ригу им тоже и теми же методами пришлось вытягивать сперва мать, а потом ее документы из какого-то тогдашнего подобия комендатуры.

— В Петрограде мы жили как латыши. Мы все были из Риги. Почему-то Ленин выпустил эти балтийские страны — я никогда не понял. Никогда. Почему они их не сделали своей территорией? Почему, если они часть России со шведских времен? Ведь покори́л их в конце концов Петр Великий... Но все-таки дал им свободу. Непонятно. Так это было. В Латвии была маленькая демократия, и люди, которые оттуда были, им давали позволение вернуться. Моя мать говорила по-латышски. Это была редкая вещь, потому что ее няня была латышка, и она научилась по-латышски. Это произвело невероятное впечатление на комиссара, когда он давал позволение. Мы уехали... Мы оставили все.

— Более или менее бежали.

— То есть бежали легально.

— Но психологически это было бегство?

— Да, конечно. Было бегство в том отношении, что мой отец терпеть не мог режима. А то бы мы могли и остаться. Никто нас не гнал. Но, понимаете, буржуазии это не очень нравилось — то, что было, и я ничего о коммунизме не знал — но: всё оставили, все книги, всю мебель, всё, что было, — всё осталось здесь, в Петрограде. Правда, я понял это позднее.

— Но не капитал?

— Нет, капитал не был. Мы приехали в Ригу — теперь я вам расскажу типичную историю. Вам не будет так уж интересно, но все-таки обо мне что-то это говорит. Мы, значит, ехали поездом, ночным. Я думаю, мы могли гулять на станциях — знаете, как это происходит. Мы были в товарных вагонах, с разными латышскими полицейскими, и так далее — можете себе это представить — и когда мы приехали в город Режицу, это уже была Латвия, там нужно было остаться примерно на день, чтобы пройти медицинский осмотр. Лица из Советского Союза обязательно имели вши, то есть были заразные. Потом мы сели в поезд вечером, довольно поздно вечером в Ригу приехали, спокойно. Мой отец сидел на одной скамье, мать на другой. И были два латыша напротив. Они о чем-то говорили. К несчастью, она поняла то, что они говорили. Они говорили ужасно антисемитские вещи. Она вспылила, моя мать. И сказала: «Можно сказать все, что угодно, про Советский Союз, но *этого* там нету». Они решили, что она советский агент. Позвонили на следующую станцию: пришли в вагон полицейские, и ее арестовали. Мой отец был вне себя, мы приехали под ее арестом в Ригу. Тогда подошел какой-то господин к моему отцу и сказал: «Я — сыщик. Я прекрасно могу представить, что она ничего подобного не говорила. Если вы мне заплатите пятьдесят рублей, то, что бы там ни было, я за такие деньги буду свидетель, что она ничего, что это абсолютный абсурд». И мы заплатили — ее выпустили. Потом мы приехали, и нас встретили родственники, и так далее. Потом был процесс. К сожалению, его не остановили. Был процесс. В конце концов через шесть... через четыре-пять месяцев, что человек этот занимался этим, он сказал: «Скажите, вы собираетесь оставаться в Риге, или вы хотите куда-нибудь?» — «Нет, мы уезжаем». — «Ах, так! Когда вы уезжаете?» — «Через два месяца». — «Тогда я закрою дело».

На этом отдаленное сходство моего деда с отцом Исайи раз навсегда кончается. Ему никогда больше не пришлось улаживать никаких конфликтов и дел,

ни с властями, ни частных, ни участвовать в каких бы то ни было предприятиях — ни в лесном, ни в каком другом. Через неделю немцы вошли в Ригу, но латышские патриоты постреливали с крыш уже накануне — по отступающим советским войскам. Почти сразу евреев согнали в гетто и район оцепили.

Мы вернулись к себе, в Ленинград, на улицу Марата — которая всегда воспринималась сознанием только как *улицамарата* или просто *марата* и никогда как улица *имени* некоего Марата. То есть — если на секунду наморщить лоб — конкретно того, кто с другими несколькими приложил руку к отсечению головы у короля. Если же на подольше, секунд на тридцать — сорок, то может прийти на ум, что и Николаевской, каковой эта улица прежде была, ее называли не по храму, на ней расположенному, и не от близости к одноименной железной дороге, а по имени тоже монарха, другого. И не Первого, а Второго, также казненного — как раз теми, кто в далекой, черной, ледяной России мог, поскребя в затылке, вспомнить как не то своего предшественника, не то подельника из буйной, сладострастной, виноградной Франции и почтить улицей, пыльной, безликой, шумной, *Марата* — за несколько лет до того, как этот дикий звук станет распространенным русским, а еще больше — чуть ли не национальным татарским именем. Ну разве не мог этим скребушим в затылке быть тот, например, кто сам звал себя Луно-Чарским? Еще полминуты поверхностных ассоциаций, и Марат, французский, Жан-Поль, по логике и абсурду вещей становится третьим членом, не сказать — уравнения, а какого-то неустойчивого тождества, вместе с Людовиком и Николаем: на правах умерщвленного, если верить картине художника Давида, тоже орудием гражданского правосудия.

В конце войны мама получила письмо от рижанки, которая видела смерть всей нашей семьи: Давида, Бейли, Мариам, Юдифи, Менделя и остальных, включая его жену «немку» Евгению. (Жаль все-таки что она не была настоящей немкой, без кавычек, — чтобы отказаться от немецкого происхождения и объявить себя еврейкой.) Всех их убили из винтовок и пулеметов во время трехдневных декабрьских расстрелов в Румбуле — наших конкретно 8 декабря. Написавшая об этом упала в общую кучу, не получив пули, ночью выбралась, бежала и три года просидела в погребке у одинокой спокойной латышской пары хуторян. История из хрестоматии и, как все такие — или, несмотря на это, — реальная.

Расстрелянные — судя по их письмам моей матери, которые она давала мне читать, — люди были заурядные, довольно ограниченные, средне- или малообразованные. (Добрые — хотя это к делу не относится.) Катастрофа, которую они потерпели в числе шести миллионов произвольно выбранных человек, происходившая тем более не вдруг, а растянутая — для них на месяцы, для других на годы, — через их простое участие в качестве слагаемых этой огромной суммы, придавала им величие.

Глава III

Биография Исаяи Берлина, написанная Майклом Игнатьевым, — образцовая в том смысле, что она точна, основательна, уравновешенна и полна. Это сумма приведенных в единство событий жизни, трудов, связей и направления мыслей человека, занявшего в обществе, в философии, в академических кругах, в Англии и в мире именно то место, выпустившего именно те книги, получившего именно то признание, которые занимал, выпустил и получил Берлин. Если по прочтении ее, да и в процессе чтения, к концу настойчивей, чем с начала, тебя нет-нет и прохватывает чувство неудовлетворенности, то отнести это следует прежде всего к требованиям, которые ты ей заранее предъявил и которые тем самым характеризуют тебя, а ей никак не в укор.

По обстоятельствам рождения и семейным, по воспитанию и образованию, по смене окружения и стран обитания, по душевным склонностям и качествам натуры Исаяе Берлину предлежало несколько судеб, и из этой биографии выходит, что он разные отрезки их с разной степенью причастности к ним исполнял. Но судьбы как таковой, его собственной, единой и единственной, из игнатьевской биографии не выходит. Встречи, дружбы, привязанности и отталкивания выглядят *так сложившимися*, а не неизбежно выбираемыми, не предначертанными. Предположим, его жизнь и была задумана не судьбой в древнем понимании, а, как сказали бы романтики, игралищем судеб. Но и этого нет: есть цепь последовательных событий, то связанных между собой, то перебивающих друг друга. И независимо от этого есть непобедимое впечатление, что в раствор биографии не брошена какая-то последняя щепотка соли, которая превратила бы его в кристалл. Потому что за хроникой фактов, не захватывающих, не ярких, выпавших не одному Берлину, а в том или ином виде целому кругу людей, все-таки слышится дыхание *судьбы*. Уже хотя бы по знаменательности того, *чего* он избежал, из теснейшего соседства с *чем* выбрался невредимым — и *ради чего*. Не говоря о том, что жизнь, покрывшая почти целиком все двадцатое столетие, прошедшая в частом соприкосновении с его сердцевинной, вклинившаяся в драматические перипетии его истории в непосредственной близости от их центра, крупнее составляющих ее фактов и непременно выходит за рамки самого точного, основательного, полного и в особенности уравновешенного их описания.

Когда Исаяя сказал: «Меня всегда веселили люди, я никогда не скучал с людьми», я спросил, бывали ли у него периоды депрессий.

«— Бывали. Нет, депрессий — нет. Боязни, неуютности. Когда я первый раз попал в New College, они были такие скучные, такие чопорные. Я чувствовал себя, как, помните, в опере “Пелеас и...”

— Мелисанда.

— ...Мелисанда”. Мелисанда говорит: “Attends peu, je ne suis pas heureuse ici” — “я несчастлива здесь”. Я это чувствовал. Это бывало. В Америке в первый год, когда я там был на службе, я там никого не знал, в Нью-Йорке. Это да. Появилась нервность. Depression — это слишком сильное слово. По-видимому, у меня никогда не было».

Почти автоматически я отозвался: «Не ваша стезя».

Вот что отличало его от людей его круга и его ранга: он был наглядно счастливый человек. Всю жизнь он был погружен исключительно в интеллектуальные занятия, от которых, как известно, не может не быть *большой печали*, — и умудрился не впасть в меланхолию. Он прожил столетие, угнетающее прежде всего интеллект, — и не знал, что такое депрессия. Вот это побуждает меня, как, возможно, всех однажды попавших в поле действия его личности, продолжать думать о нем и, думая, произвольно улыбаться. Вот этому хорошо бы найти объяснение — из биографии, из общественной позиции, из моральной.

Когда я спросил, описывают ли его впечатление от прожитого торжественные слова Ахматовой «я счастлива, что жила в эти годы и видела события, которым не было равных», — он ответил, вызвав мою улыбку: «Нет. Я счастлив — но не оттого, что я жил в это время». Вскоре после этого, говоря на другую тему, он произнес о своей судьбе еще одно слово: «Это было, в общем, страшное столетие. Но меня не коснулось. Просто выпала удача».

Едва ли кто-то может повторить ахматовское заявление применительно к себе, чтобы вышло искренне. Да это, по сути, не столько заявление, сколько девиз. Как надпись на щите мне, например, несравнимо больше импонирует «счастье» Ахматовой, чем «удача» Берлина. Для нее как христианки «жизнь в эти годы» размещалась в перспективе жизни загробной, в которой итог понесенных испытаний значит нечто прямо противоположное итогу избегнутых. Но и из ее

уст эти слова звучат, на мой слух, поэтической гиперболой слишком условной. Почему «счастлива»? Видеть, как она, величие террора в очереди к тюремному окошку или голода в очереди за пайковым хлебом по карточкам — разве подходит под категорию «счастья»?

В лексике верующих, *сюда* рождающихся в гости, а *туда* умирающих домой, здешние парадокс и абсурд — естественная и в конечном счете единственная норма. Но что причина, что следствие русской веры — судьба или покорность судьбе? Пусть будет больно и трудно, потому что Иисусу было больно и трудно, — или: раз уж все равно больно и трудно, то пусть будет Иисус и им оправдается боль и трудность? Даже у Ахматовой, знавшей, что боль и трудность жизни — такая же жизнь, как радость и легкость; что и первое, и второе одинаково естественны и универсальны, — даже у нее фраза о счастье отдает натяжкой и надрывом. «Труд и болезни», о которых покорным тоном Экклезиаста говорит Псалмопевец, были для нее основой и именем жизни — но, как и для всех, вынужденными. «Вынужденность» и «счастье» — несопоставимые понятия. Эмигрировать — труд и болезни, и не эмигрировать — труд и болезни: счастья нет. На языке земном быть счастливой от постигших тебя и наблюдаемых у другого несчастий — а именно так звучит эта в определенной степени подцензурная фраза, будучи переведена в свободную, — есть парадокс, если не абсурд. «Счастье», однако, понятие исключительно земное и за гробом не значит ничего, поэтому нет *счастья* изнасилованной и резанной Кассандры или брошенной и сожженной Дидоны, а есть именно такое, о котором говорил, потому что знал, какое оно, Исайя Берлин.

Я встретил это сочетание имени и фамилии задолго до того, как узнал о *сэре*. В школе я дружил с одноклассником Дружининым, неизобретательным хвастуном, но в свое хвастовство свято верившим. Я соглашался слушать его однообразные, всегда немного агрессивные рассказы об уже свалившихся на него и бесконечно больших надвигающихся успехе и славе, соглашался, как он требовал, признавать его превосходство над всеми в классе, в старших классах, в районе, само собой разумеется, и надо мной, и не знаю, на что бы еще согласился — ради нескольких минут, а повезет, так получаса, а привалит чудо, так целого вечера сидения в одной комнате с его отцом и неотрывного смотрения ему в рот, из которого, клопоча, вылетала история за историей. По ходу дела зарождались, вспыхивая, новые истории, и все, уже случившиеся, закончившиеся и эти, у меня на глазах начинавшиеся, были только такие, из которых надо было выпутываться.

Истории гипнотизировали своим захватывающим, невероятным содержанием, но сильнее, чем оно, на меня действовала его манера их рассказывать — не как что-то экстраординарное, а, напротив, как вполне заурядное. Не такое, правда, в котором ничего не происходит, люди устраивают семьи, ходят на работу и сводят концы с концами — что, с его точки зрения, вообще не имело смысла рассматривать; а такое же заурядное, как то, что Иаков дважды обманул Исава, Лаван Иакова, братья продали Иосифа в рабство, а до того вырезали город царька, который насильничал над их сестрой, Иуда сошелся с невесткой, когда думал, что с проституткой, и так далее, и тому подобное. Только это и была жизнь — полная обмана, коварства, страсти, крови, которых нерасторжимо сплавленные с ними благородство, верность, жертвенность, святость поднимали на ту же высоту, до какой добирались сами. То, что, время от времени быстро сжимая в кулак шелковую бородку и усы, рассказывал — потому, *как* он рассказывал — этот энергичный, физически сильный густоволосый брюнет с постоянно горящими, немного навывкате глазами и пышными алыми губами, было историями только по жанру, по сути же будучи сюжетами, составляющими кодекс и

справочник поступков и поведения, определяющих жизнь, его и всего человечества, все равно — в уже миновавшем, или в приближающемся, или в происходящем сию минуту. Однажды при мне к нему ворвался дядька и в крайнем возбуждении, меня не стесняясь, провонил, что все рухнуло, кто должен был «подать состав под погрузку», у него инфаркт, с милицией договорились, что они явятся на склад утром, уже пустой, а теперь он будет забит контейнерами, а это по нынешним временам и на четвертак потянет... Тот подался к нему, выпучив глаза, но, как мне показалось, не от изумления и не от испуга, а чуть ли не с одобрением, чуть ли не с благодарностью, с готовностью обнять и сказал: «Так ведь еще и интереснее!» Мгновенно накатал на клочке бумаги несколько слов, сунул мне в руки, сказал адрес, велел повторить, и мы все вместе выскочили из дому, они в одну сторону, я в другую.

Его звали Савва Ильич Дружинин, но это был псевдоним, времен революции. В те дни он скрывался от полиции, и одна девица из их кружка предложила ему это имя. Фамилию Дружинин, как он, рассказывая об этом, прибавил, она считала самой красивой на свете и приставала с ней ко всем, Савву же образовала по созвучию с Исасей — по-настоящему он был Исая. А фамилия — Берлин. После революции оформил перемену имени официально, тогда полагалось объявлять об этом через газету (он достал из письменного стола и показал мне газету с объявлением), и сейчас и по паспорту (достал из бумажника и показал паспорт), и везде — Савва Дружинин. Хотя и с прежним собой, с изначальным, не совсем уж окончательно порвал — тут он снял со стены картину с красавицей, бездонноглазой, рыжей, полуодетой, возлежащей на роскошном топчане, «Врубель», как он ее называл, и вынул из-за рамки паспорт на Исая Берлина.

Никто, включая его самого, не знал точно, сколько ему лет, потому что год рождения он менял не один раз, в обе стороны, преследуя конкретные животрепещущие цели. В его рассказах царил хронологический сумбур, как бы следствие перенесенной им и самим временем хронологической катастрофы, в результате чего он оказывался республиканским наркомом образования в пятнадцать лет, выступал в кафешантане в восемь, кончал среднюю школу первый раз в двенадцать, второй — около пятидесяти — как выяснилось, тридцатью годами позже, чем университет. Станным образом это не только не обнаруживало противоречий, невозможных, обличающих его в выдумке или лжи, а выглядело тем естественным пренебрежением к тоскливой линейности минут и лет, кажущейся неодолимой, а на самом деле навязанной ничего не подозревающему космосу людьми, которое только и могло отвечать фактам, пренебрегающим общепринятой заведенностью жизни. Фигура беспорядка, в которую складывались события, выглядела как в рисовальном буриме: глаз ниже носа, два рта, шея вместо поясницы, мощный торс на младенческих ножках — что-то сродни борхесовским чудищам, столь же убедительное и столь же очаровательное. Произвол в обращении с последовательностью событий, их принципиальная независимость от календаря делали все с ним случавшееся и продолжающее случаться только еще более притягательным — как еще одно подтверждение того, что жизнь, в которую его рассказ тебя погружал, принадлежит иной, свободной, настоящей реальности.

В определенном смысле это было опровержением, чисто эмпирическим, позиции, которой придерживался, как и все человечество, чисто мыслительно, его в определенном смысле тезка, сэр Исая Берлин. Мы говорили о том, нельзя ли принять движение времени только в одну сторону за косвенный признак не случайного или просто именно так произвольно сложившегося, а замысленного, промыслительного устройства мира. Вернее, это я говорил — Берлин отрицал. Я спросил, а не может ли это движение как феномен, не подпадающий под действие одних физических законов, в таком случае означать что-то еще.

«Нет,— сказал он,— ну так оно есть. Не означает ничего. Так оно есть. Так оно есть. Так мы созданы. Факт. Это называется *brute fact*. Грубый, но факт. Переменить нельзя.

— Еще говорят: печально, но факт.

— Печально, но факт. И переменить нельзя. Если вы спросите, откуда вы знаете, что нельзя переменить,— я не говорю, что нельзя: попробуйте. Что будет. Я не совсем эмпирик. Если дети мне говорят, скажем: почему нельзя быть на двух местах в одно и то же время? Теперешние взрослые говорят: это вопрос слов. Тут и там — вместе не идут. Или тут и тут, или там-то и там-то. Поэтому умный ребенок говорит: перемените слова. Тогда можно будет быть в двух местах? *Double location*. Как святые это делали. Появлялись в двух-трех местах в то же время. Это чудо, конечно. Люди отвечают: нет, нет, это невозможно. Почему это невозможно? Что это, специальный договор? Так кажется этому ребенку. Он говорит: почему я не могу, почему мне нельзя быть? Кто приказывает? Никто не приказывает, это так есть. Что значит, так есть? Это же можно переменить. Ах, если можно это переменить, попробуй, ничего против этого не имею. Попробуй. Попробую, и что будет? Попробуй.

Другой пример того же. Я хочу — видеть... Наполеона. В битве Ватерлоо. Невозможно. Почему? Потому что он умер. И что из этого? Понимаешь, его нет. Его нету. А где он? Я не знаю. Кусочки его, атомы его, электроны его, они уже распределены по всему миру. Нельзя ли их собрать вместе и восстановить Наполеона? Теоретически можно: если вы найдете кусочки Наполеона и сопоставите их, вероятно, можно сделать его тело. Но, во всяком случае, души его нельзя — тоже должны быть какие-то кусочки, как биологические кусочки, которые дадут живое тело. Ладно, я не хочу его теперь видеть, я хочу его видеть на Ватерлоо. А, нет, это невозможно. Почему? Потому что это — было. «Было» — это функция времени. Ты не понимаешь, что такое время. «Было». Он говорит: что с того? Если было, почему я не могу туда попасть? Что меня заставляет сидеть тут, а не поехать назад? Во времени? Что ж, это ответ, это правильно, это эмпирически, это на самом деле те столбы, на которых мир стоит. Это те категории, про которые Кант говорил. Мы не можем переменить, потому что так мы видим мир. Попробуй, ничего нет такого *против* этого. Попробуй найти Наполеона на Ватерлоо, попробовать можешь что-угодно. Такого закона нету. Не запрещено.

— Согласитесь, немного жестоко по отношению к ребенку. Это его первое требование, он может захотеть вообще отказаться от такой жизни...

— Хорошо, ну попробуй, ну подумай немножко об этом. Может, есть где-то какой-нибудь способ, может, ты найдешь. Никто пока не нашел. Полное имеешь право пробовать попасть туда, на Ватерлоо. Если нет, то почему нет? Что становится с тобой? Какой-то блок стоит между тобой — ну что это такое? Это и есть категория, время, вектор — которая не меняется, про которую мы думаем, не можем думать иначе».

Дружинин же вдобавок к запанибратству с календарем периодически пропал куда-то на несколько месяцев, один раз на целый год. «Уезжал в командировку в провинцию», как говорила его кроткая, прелестная, нежная жена и повторял за ней сын. Позднее я понял, что, возможно, когда погрузку все-таки не удавалось произвести до прихода милиции или, наоборот, очень хорошо удавалось и вагоны не доходили до места назначения, его арестовывали, а возможно, он успевал, не доводя дело до ареста, скрыться и где-то прятался — хотя и реальная командировка на какую-нибудь провинциальную чулочную или мебельную фабрику с целью взаимовыгодного, но никогда не совпадающего с официально объявленным размещением ее продукции могла быть вполне вероятна. Он появлялся загорелый, румяный, кудрявый, с огромным букетом роз жене, который

потом месяц стоял на рояле свежий, и с фотоаппаратом, или теннисной ракеткой, или альпинистским рюкзаком сыну, попахивая ресторанным жарким, оделоном, вином. Курортом. Он всегда так пахнул, все тридцать лет, что я его знал, после отлучек и до, вечером и в середине дня, не выходя из дому и возвращаясь с работы.

У него было два диплома: экономиста — которым он и пользовался, устранив замдиректора по снабжению, по сбыту, начальником цеха, техотдела, отдела кадров, юрисконсультom и специалистом-наставником; и не очень понятно зачем, врача-психиатра. То есть в общей сложности четыре: два на Дружинина, два на Берлина. Он был орденосец: Красной Звезды, Трудового Красного Знамени и Знака Почета, каждого по одному экземпляру, хотя на каждый опять-таки по два удостоверения. Ордена принадлежали пиджакам: Звезда и Почет синему бостонскому, Знамя черному шевиотовому. Войну он провел, и по своей воле, на фронте, и не в интендантских частях, как естественно было бы предположить, а в разведке, прыгал с парашютом в немецкий тыл, но в основном допрашивал пленных, был ранен в левое плечо. Начал капитаном, кончил майором, дошел до Вены. И Звезду, а к ней еще пару боевых орденов и сколько полагается медалей получил по делу, всё честь честью, но та, что он носил на синем лацкане, была купленная — как и те, что на черном, как и удостоверения к ним. Потому что сразу после окончания войны его всех наград лишили, и это был сказочный жребий, лучший из тех, какие могли ему выпасть в результате того, что он сотворил.

Когда через месяц он вышел из поезда, привезшего в Ленинград очередную толпу демобилизованных — обещанных мешками, волокущих чемоданы и дорожные сундучки, набитые женскими ночными рубашками и траурными платьями, ручными и стенными часами, бархатными гардинами, дверными ручками, автомобильными частями, пилочками для ногтей и рожками для надевания башмаков, пишущими машинками, штативами для фотоаппаратов, в общем, всем, кто чем поживился, у него был в правой руке элегантный маленький кожаный саквояж, а левой он держал под локоть высокую красивую, нельзя было ошибиться, что иностранку. Вышел он почему-то из мягкого и не просто офицерского, а генеральского вагона и встречавшим жене и сыну свою спутницу представил как Амалию, без подробностей и объяснений. Когда приехали домой, понемногу выяснилось, что Амалия — полька, польская актриса, он встретил ее в Варшаве, в середине мая неизвестно каким способом добился у не больше не меньше как командира дивизии разрешения поехать за ней, привез в Вену, где и обвенчался в костеле, уверив ксендза или кого-то, кто выдавал себя за ксендза, что да-да, он именно католик.

Конечно, брак был никакой не брак, это все в армии понимали, но и не обычная связь, которую, строго запрещаемую, тоже, кстати, не полагалось афишировать. Прямой путь вел под военный суд, под трибунал, хотя, в рифму говоря, криминал был не как стеклышко чистый: изменник родины настаивал на — и ни на мгновение не отказывался от — любви, не отрицал, а, наоборот, всем совал в нос венчание, его мистическую неотменимость как таинства и мирскую серьезность как церковного акта, а главное, та, с кем он родине изменил, была из стана не врага, а скорее союзников, жертва нацизма, спасенная освободителем — майором разведки. Непосредственное начальство и часть высшего, с кем он был лично знаком, знаком же он был почти со всеми и всем им нравился, решили дело по возможности замять и сошлись на лишении боевых наград «за недостойное советского офицера поведение», как было объявлено в приказе.

В саквояже были парижские духи для жены, полевой бинокль для сына, остальное — полдюжины рейнского вина в бутылках формы виноградной грозди. Плюс серебряное портмоне, полное колечек, брошек, ниток жемчуга, сере-

жек — сверкающих камнями и камушками. «Приданое Амалии», как он объяснил, хотя и надел тут же что-то на пальцы и шею жены. Амалии он снял комнату, которую довольно быстро перевел на ее лицевой счет, а потом поменял на отдельную квартиру. Иногда он просил меня отнести ей записку, пакет, коробку шоколада, цветы, я воспринимал ее как существо из иных сфер и ослепительное, в прямом смысле этих слов, так что старался на нее не смотреть. Жена, всегда со мной приветливая и ласковая, говорила мне, трогательно, но всерьез жалуюсь нежным голоском: «Не знаю, о чем он думает, мы не можем позволить себе содержать любовницу».

Он носил шинель и сапоги, долго, лет десять — отнюдь не в память о войне, а потому что это было и элегантнее всего, что предлагалось в те годы даже комиссионками, не говоря уже о Москвошвее, и необыкновенно ему, именно ему шло. В память о войне он мог, вечером перед рестораном или театром выйдя из ванной, дать мне потрогать ямку на плече и другую на бицепсе, покрытые темной тонкой шелковой кожей, следы ранений. Потом надевал белую шелковую рубашку, галифе и китель, но уже не те, в которых вернулся с войны и не военоторговские, а сшитые а-ля военные портным на заказ, потом шинель и сапоги и выходил на угол ловить такси. Когда они с Амалией шли под руку по улице, все подряд прохожие на них уставялись и оборачивались вслед, явно теряясь в догадках, к какой их приписать категории граждан. Я же, когда они попадались мне навстречу, за великолепием внешности видел еще и те пулевые отметины и воображал, а лучше сказать, был уверен, что и на ее теле должны быть какие-то секретные знаки, какой-нибудь шрам под сердцем, татуировка, таинственные следы прожитой жизни.

В начале десятого класса я был им использован как *начинающий поэт*, а именно приглашен, чтобы написать прощальное письмо Амалии. Он лежал на тахте и с напором говорил, что дает мне полную творческую свободу, при единственном условии, неотменимом и даже необсуждаемом, упоминания о лебединой песне. В письме должны быть слова: ты моя лебединая песня. Сын, при этом присутствовавший и дававший перед тем пошлые советы, сказал вдруг осмысленно и потому остроумно: «О, этот лебедь еще попоет!» Отец, закинув за голову руки с торчавшими в дыры домашней фуфайки локтями, отозвался довольным голосом: «Ки-но!» И еще пару раз, оценивая мои куртуазные софизмы, повторял: «Ки-но!» Порывал он с прекрасной Амалией по причине нового ураганного романа с некой юной особой из Сибири, куда не сегодня-завтра улетал в очередную командировку. Была и вторая, гораздо более весомая причина разрыва, мы узнали о ней через две недели после отъезда: он должен был сесть в тюрьму, не мог не сесть — «за хищение государственного имущества в особо крупных размерах», как говорила статья уголовного кодекса. В «ужасающе крупных», как обронил он в разговоре, когда вышел на свободу. Хищение было совершено там, в Сибири, в том же месте, где вспыхнула страсть — то ли сопутствовавшая размаху аферы, то ли вызывавшая на такой размах.

Одержимый желанием деятельности и в той же мере готовностью к любовному приключению, он сам не мог ни отделить их друг от друга, ни сказать, что чего причина, что следствие. Он совершал опасные и довольно искусные махинации и тратил падавшие на него большие деньги на избранницу, отправляя ее на южный курорт, первым классом, снимая роскошный номер с видом на горы и на море, заказывая по междугороднему телефону корзины цветов, каждый день новую, а сам прилетал на несколько часов, поцеловать руку, надеть на нее гранатовый браслет, ослепить. Он ухаживал по-старому, как в те дни, когда ради женщин проматывали состояние, самозабвенно, красиво, изобретательно, рискованно, не ради одного физического обладания, когда-то называвшегося «победой», а ради самой стихии — ухаживания, влюбленности, *в частности*, и обладания.

Майкл Игнатъев в своей книге отдал описанию считанных и вполне заурядных интимных отношений Исайи Берлина с женщинами неадекватно и, главное, необъяснимо большое место. Его специальное эссе для «Нью-Йоркера», в общем, только этому и посвящено. Сэр Джон Лоуренс откликнулся в «Таймс» назидательным письмом: с чего это Игнатъев пишет, что Берлин и Ахматова в ту знаменитую, проведенную в безостановочном разговоре ночь в Ленинграде, не дотронулись друг до друга, когда ему, сэру Джону, Исайя сказал, что они переспали, причем с ударением прибавил: «Ей было шестьдесят!» По нынешним условиям публичности сексуальные проявления любого, о ком пишут и говорят, должны быть выявлены — а если выявлять особенно нечего, то выгодным образом преподнесены — так же обязательно, как в анкете места работы. Сплошь и рядом это так же скучно, а в большинстве случаев дело вообще безнадежное. Исайя Берлин — такой же сексуальный деятель, как Казанова — историк философской и политической мысли. Обмусоленная биографом связь с американкой столько же Исайе прибавляет, сколько не упомянутые перенесенные им простуды, словом, никак его образ не меняет, тогда как его тезка под фамилией Дружинин без любовных походов был бы попросту не он, а кто-то другой.

В высшей степени романтически простившись и расставшись с Амалией, оставив расставание охалками черных роз и подношениями, о которых можно было только гадать, он улетел за Урал, на место своей страстной влюбленности, коммерческих операций, неминуемого ареста и, по всей видимости, будущей лагерной зоны. Его забрали, дело покатилося, как вдруг на третьей неделе следствия он был срочно отправлен в Москву, самолетом, под конвоем двух парнейков в черных штатских костюмах. До этого, а точнее, как мы много позже вычислили, буквально за день до этого, в его ленинградской квартире жена и сын были подняты среди ночи звонком в дверь, вошла команда из Большого дома, и главный уверенно прошагал к «Врубелю» и двум другим тайникам, где лежали паспорт и документы на Берлина. Обыск предыдущий, обэхэсовский, многочасовой, занимался, главным образом, поисками сокровищ, валюты или на худой конец сотенных ассигнаций в толстых пачках, перетряхивали белье, постели, тщательней всего книги, ничего не нашли и занялись описью имущества — на предмет возможной по приговору конфискации, хотя всё давно было записано на жену.

В Москве, на Лубянке, его почти сразу стали бить, требуя признаться в родстве и близкой связи с Львом Борисовичем Берлиным, профессором медицины. Оказалось, что Лев Борисович находится среди тех, из кого задумано на скорую руку сляпать дело еврейских врачей-вредителей, вступивших в террористический заговор против правительства и государства. *Наи* Берлин, «долгие годы выдававший себя за Дружинина», как эффектно гласило бы обвинительное заключение, в качестве врача-психиатра и кузена мог украсить сценарий как нельзя лучше. Небольшой перебор был только в том, что его звали Исайя, потому что одного Исайю Берлина, а именно, «известного английского философа, в сорок пятом году посетившего Анну Ахматову, друга семьи Черчиллей и проч., и проч.», который действительно был близким родственником, прямым племянником Льва, сценаристы уже ввели в сюжет.

Мне было интересно знать, искал ли он, когда служил в посольстве в Москве, своих оставшихся в России родственников и нашел ли.

— Это я глупо поступил — нашел.

— И что с ними из-за этого случилось? Попали в скверную историю?

— Нет, только один из них. Только один из них. Их потом допрашивали. Но никого не арестовали. Но! У меня был один дядя, брат моего отца. Медик. Был профессор медицины — по диететике, по-моему. В Московском университете.

Лев Борисович Берлин. Бёрлин — как он назывался. Его арестовали. Их допрашивали, конечно. Они говорили, что они со мной отношений не имели, и корреспонденции не было. Ничего страшного с ними не было. За этим, как оказалось, следила Ахматова.

— Да?

— Ахматова мне рассказала, что мой дядя Лев умер в Москве своей смертью. Что был маленький некролог в «Вечерней Москве» — что он был в порядке. Его арестовали, когда арестовали всех этих еврейских врачей. И послали в тюрьму, конечно, — и пытали. Он ничего не подписывал. Не подписывал, не подписывал — потом применили какую-то невероятную пытку, которую никогда раньше не пробовали. Он, вероятно, что-то все-таки подписал. Он там остался, потом под Хрущевым он вернулся. Его реабилитировали. Он шел пешком по, не знаю, какой-то московской улице, увидел на другой стороне улицы на тротуаре человека, который его пытал. У него был сердечный припадок, и через две недели после этого он умер.

— Сколько лет?

— О, ему было лет, наверное, шестьдесят.

— Я помню фамилию Берлин в тех списках.

— Это он и был. Профессор, Московского университета. Но потом я видел — есть такая книга, которая называется «Жертвы фараона», это книга о евреях — преследовании евреев Сталиным. Она появилась в России года три назад, эта книга. Мне ее сюда прислали, и я увидел, что там что-то обо мне. Был заговор: я, Лев Борисович, его профессор, его учитель — какой-то главный медик, тоже еврей, и мой отец в Лондоне. Мы вместе имели какой-то заговор. Что-то мы делали. Против советской власти. Что — не объяснялось. Книгу написал какой-то человек, который что-то читал, ему дали читать бумаги эти, НКВД.

— Как называется книга?

— Точно не знаю. Там, я только что-то помнил — что-то вроде «Жертвы фараона». Потом стоит — «Преследования евреев Сталиным» или «во время Сталина». Есть такая книга. О бедствиях евреев. Я в нее попал как главный заговорщик. Поэтому и несчастная Ахматова пострадала, тогда — когда разразился Сталин.

Жутковатый всенародный спектакль шел, как полагается, но в действии его Дружинин на некоторое время неопределенно повис. От него получили требуемые показания — просто прочли ему донос, в котором сообщалось о его берлиновском прошлом и где он прячет паспорт на это имя, диплом и прочие удостоверения, и велели включавший все это и многое другое протокол подписать, однако само имя от включения в общий список все-таки придерживали. Донос написал его друг, Виктор Ольшанский, ничем, кроме собственных соображений, к этому не побуждаемый. Они познакомились на фронте, Ольшанский был тогда военным юристом, хотя и до, и после войны — преподавал в институте философию. Он жил в Москве, но, когда приезжал в Ленинград, всегда приходил к Дружининым в гости, а иногда и останавливался на несколько дней. Я его там пару раз встречал, он казался мне очень умным, но еще больше, для моей юной природы прямо-таки оскорбительно, циничным — и недвусмысленно антисоветским.

Сталин умер, великий государственный диктор Левитан объявил, что «дело врачей» спровоцировано одной-единственной злой женщиной и теперь закрыто. Дружинина отправили обратно на место уголовного преступления, где он получил пятнадцать лет лагерей общего режима. По случаю прихода в стране новой власти последовала ворошиловская амнистия, освобождавшая стариков старше шестидесяти лет вчистую. По паспорту Берлина, оприходованного местным следствием заодно с множеством других фальшивых бумаг, ему выхо-

дило меньше пятидесяти, зато по дружининскому — ровно шестьдесят, шестьдесят лет и одна неделя ко дню объявления амнистии. Он вернулся в Ленинград меньше чем через год после величественного прощания с близкими, которое он, не утруждая себя подбором точных слов, называл расхожим тогда штампом «всерьез и надолго».

На этот раз с молодой большой ширококостой сибирячкой. На общесемейном торжестве в честь его возвращения, собравшем человек тридцать родни самой разной степени родства и свойства, жена сидела по правую его руку, а она по левую. Гости им и его чудесным спасением восхищались, а он принимал их восхищение так, как будто он совершил подвиг, опаснейшее путешествие на благо людей к каннибалам, к холерным больным, а не тяпнул эшелон прокатной стали, два эшелона сукна и десять тысяч тонн копченой колбасы. Он сидел во главе стола важно, переводил исполненные видимой всем мудрости глаза с одного говорящего на другого и сдержанно, с приправой легкой печали улыбался, приоткрывая новые белоснежные зубы взамен выбитых на московских допросах. При непредвзятом, непосредственном, свободном от тоскливой общепринятой назидательности взгляде он этих восторгов и похвал заслуживал в полной мере, он знал, на что идет, и пошел, выдержал оба испытания — как ожидаемое, так и совершенно неожиданное — с мужественным прометеевым достоинством и в конце концов ускользнул от губительной угрозы с предусмотрительной одиссеевой хитростью.

«Мне было,— встал с полной стопкой водки его двоюродный племянник,— пять лет, когда дядя Саша...» — «Савва», — поправили его. — «В нашей семье его звали Саша,— наставительно отозвался он,— как в бытность его Исайей, так и Саввой... Мне исполнилось пять, когда дядя Саша въехал во двор нашего дома в Полтаве верхом на белом жеребце. Конь норовил его сбросить, а дядя, молодой, в черной черкеске, держал поводья одной рукой и хоть бы что». — «Ему было тогда — сколько? девятнадцать? восемнадцать? — заголосила мать племянника. — Он же входил в правительстве! Нарком просвещения!» — «Украины», — поправил сам виновник торжества: дескать, без преувеличений! Поправил для тех, кто не знал, хотя знали все, наизусть. «Теперь,— продолжил племянник,— снова дядя появился в воротах, широко распахнутых нами ему навстречу, снова на белом коне, и снова во мне заходится дух. Правда, и сам он побелел,— немного снизил пафос оратор,— я имею в виду — голова. Но по-прежнему, но как всегда — победитель!»

Бесстыже? Бесстыже, согласен, однако этот пошлый льстивый тост связал вещи не случайные и не случайно напросился на язык. Для Дружинина и людей его типа целью было действие, участие, авантюра. Если революция, то он юный народный комиссар на белом коне, если строительство социализма, то он махинатор. И тут, и там — вкус опасности, риск, убегание от цепи поступков с предсказуемым итогом. Проживание жизни сию минуту, не только без оглядки, но и без заглядывания вперед, в муть последствий. А если удастся, то и втискивание в сию минуту содержимого других, чужих, сосуществующих с ней мгновений, неизбежно от тебя ускользающих. Не конь, а белый конь, сукно не шинельное, а коверкот, не одна жена, а еще и эта, и эта еще.

Но жизнь, как известно, ни на какой дистанции не обскачешь, и выигранный, иногда последним усилием, финиш всегда оказывается промежуточным. Напор *сих минут*, прожитых когда-то в полноте, в переполненности, в избыточности, перехлестывавшей через край и струйками сплетавшейся в единый поток, стал нагонять и угрожающе пошвыривать его из стороны в сторону. Тратимые без счета деньги все чаще подходили к концу и все затруднительнее возобновлялись, гекалитры выпитого шампанского отложились в костях подагрой, стихия женской пленительности в конце концов втянула в водоворот и медлен-

но опускала книзу воронки. Легенды, ходившие о неистовстве его чувств, завершались на бытовой, скучной, тяжелой ноте.

Когда он влюблялся, то с первой этим делился с женой. Приходил и чуть ли не с недоумением, чуть ли не в отчаянии рассказывал, что вот такая вещь случилась. Стряслась — потому что по его словам это выходило явлением природы или вирусом, от его воли ни в малой степени не зависящими. Больше того, он убеждал ее, что хочет всеми силами налетевшему на него амоку сопротивляться, и просил, насколько возможно, помогать ему в этом. Лежащего привязывать его с наступлением сумерек к кровати. Крепкими ремнями, как того соблазняемого сиренами великого грека. С наступлением темноты он начинал метаться, биться, изгибаться, не только кровать — вся комната сотрясалась, жена, прижимая ладонь ко рту, забивалась в угол, и какими бы крепкими ни были путы и как туго ни стянуты, ни разу не выдержали они его страсти. А когда он разрывал их, ничего не оставалось, как только признать поражение, общее, и его, и жены, — признать поражение, удрученно начинать собираться, подавать ей рубашку, чтобы еще раз прошлась утюгом, выбирать галстук, советоваться, одевшись, хорошо ли он выглядит, и, горько поцеловав на прощание, уходить в неодолимую ночь, иногда на несколько недель.

И это же он однажды — правда, признавшись потом, что по малодушию — проделал с одной из возлюбленных, когда уже *ее* пришла пора с ним прощаться, а ей казалось, что нет, что он — ее навеки и вообще с какой стати. И закатила скандал, и за ним, порвавшим ее веревки и цепь от ходиков, выбежала на улицу и, ругаясь и не стесняясь восхищенных зевак, легла под остановленное им такси, прямо на асфальт. И тут он показал, кто — кто и чей нрав круче, а именно: вытащил шофера из-за руля, сел на его место и до дна утопил педаль газа — прежде, однако, отжав сцепление. Мотор взревел ужасающе, не оставляя ни надежд, ни сомнений — Анну Каренину из-под колес вмиг как будто подбросило и ветром сдуло. Дружинин рассказывал об этом как о своем позоре и прибавлял, что поделом коту таска: нечего чистое некогда побуждение превращать в прием и театр.

Сибирячка от него дважды уходила, второй раз вернулась беременная, родила двойню. Он всех троих содержал, тоже расточительно, уже по инерции. Вместо пригородной дачи на лето — вилла на Рижском взморье, отправлял их туда в двух купе в спальном вагоне; нанимал такси на весь день, просто чтобы стояло у дверей; если дети простужались — вызывал исключительно *профессора*. Деньги поступали от зачисления в разные университеты и институты *блатных* молодых людей, за взятку — не бог весть какие деньги. Какой-то грузин заплатил, чтобы сына приняли в Челябинский медицинский, что-то не сработало, к жене в квартиру стали врваться сумрачные абреки, показывали нож, клялись, что достанут *падлэца* из-под земли, ему пришлось переселиться к молодой матери с младенцами, но и там постоянно остерегаться и часто просить ночлега у старых приятелей и родственников. На дела посерьезнее не хватало сил, да и новые люди пришли, в нем не нуждавшиеся. Махинации, служившие духу вольности, риска, походов всего лишь в качестве инструмента, оказались в конце концов самоцелью, единственным средством заработка, остающимся доступным, рутиной — вроде составления годовых отчетов счетоводом на пенсии, специально для этого приглашаемым на время в бывшую его контору.

Потом он пропал. Хватились через несколько месяцев, каждый — жена с сыном, сибирская подруга, компаньоны, племянник, Амалия, которые в последние месяцы видались с ним от случая к случаю, — естественно, думал, что он у другого. Стали друг друга спрашивать, наконец однажды собрались вместе, и всплыл сюжет, маловероятный, но именно из таких, которые, маловероятные, составили вполне подлинную судьбу этого человека. Осведомлен-

нее всех оказался племянник, хотя осведомленность пришлось из него сообщать выдавливаться. Он был юрист, и с год назад Дружинин обратился к нему за советом. В Герценовском пединституте кого-то захватили при получении взятки, завели дело и уже дважды вызывали Дружинина как свидетеля, угрожая перевести в соучастники. Он рассказал племяннику начистоту, насколько в это вовлечен в действительности, спросил, что можно и чего нельзя от следствия скрыть и не так ли это серьезно, чтобы, например, быстро эмигрировать в Израиль. Вернее, не эмигрировать, а есть люди, он познакомился с ними у синагоги, которые берутся его туда переправить нелегально, под другой фамилией. Такие специальные молодые евреи. Прodelывают или по крайней мере берутся прodelать это они с потенциальными отказниками.

О том, что он ответил, племянник объяснял настолько путано, что сразу было видно, что врет: один из самых близких товарищей Саввы на него нажал, заговорил нешуточно, и тот сознался, что, выслушав суть и подробности, запросил пятьсот рублей за то, чтобы не сообщить следствию, и еще пятьсот, чтобы не навести кого следует на деятелей из синагоги. Признался, что дядя посмотрел на него, как на вошь, приготовился в него плюнуть, но не плюнул и, ни слова больше не сказав, ушел. Амалия подтвердила, что о возможности нелегально попасть в Израиль он говорил и с ней в одну из последних встреч. В конце концов все согласились, что надо еще месяца три подождать, а потом заявить в милицию.

Так жена и сделала. Его объявили во всесоюзный розыск и однажды вызвали опознать на фотографии утопленника его комплекции, выловленного в Даугаве. Черты лица были обезображены, жена признать отказалась и через три года получила бумагу, что отныне он официально числится безвестно пропавшим. Между тем версия секретной перевозки в Израиль была принята всеми знавшими его, и мной в их числе, не только как реальная, но и чуть ли не сама собой разумеющаяся. Я пробовал найти его след через эмигрировавших друзей, они запрашивали министерство внутренних дел и на Савву Дружинина, и на Исайю Берлина. И тех, и других, особенно Берлинов, нашли нескольких, но ни один не подходил — либо по возрасту, либо по времени появления в стране. Разумеется, он мог зарегистрироваться уже под каким-нибудь третьим именем. Что-то есть убедительное в мысли о таком конце этого без правил прожившего жизнь человека, что-то толстовской структуры. Разные попадавшиеся моим друзьям в Иерусалиме старые и новые, включая и мимолетных, знакомые, к которым они тоже обращались — по наитию или просто на всякий случай, — не встречался ли им такой, первым делом говорили, *все*: Исайя Берлин? Так он же в Англии! Это не тот?

Глава IV

Разумеется, у Берлина были истории, ставшие «пластинками», то есть много раз рассказанные, сложившиеся, легко повторяемые. У всех поживших на белом свете людей есть такие. Несколько, три-четыре, я слышал дважды, но не «слово в слово», а с добавлениями или, наоборот, изъятиями в зависимости от темы предшествующего разговора, измененные так, чтобы ему самому было интересно их еще раз вспомнить. Про встречу с Кагановичем, правой (в худшем случае левой) рукой Сталина в продолжение долгих лет, он смешно говорил в самом начале знакомства, и когда я попросил вернуться к ней в нашей последней беседе, она попала в контекст разговора, снова и снова возвращавшегося к евреям, к их роли и судьбе в двадцатом столетии.

«— Лазарь. Опять еврей. Alles die Juden. Как немцы говорили — наци: Alles die Juden. Все евреи.

— В Англии ведь была фашистская партия...

— Была.

— Моузли. В советских газетах писали “Мосли”.

— Moseley.

— Нашими арийцами это производилось от “Мозес”, Моисея.

— Нет. Никакой он не еврей. Хотя о нем ходила история, что он да, еврей.

Сейчас историю знаю только я. У меня был большой друг в Олл Соулс, Джон Фостер, забавный человек. Он мне сказал: “Мне передавали, что старый Моузли-отец, вероятно, был импотентом. И был такой еврейский доктор Айзексон. Когда эта вещь случалась, он давал свое собственное семя. Дамам. Вполне вероятно, что Моузли — это его сын”. Гипотеза не очень. Совсем не известная и не вполне серьезная. К Мозесу не имеет никакого отношения. Хотя *выглядел* он все-таки немножко как еврей!

— Итак, Каганович.

— Я его встретил на приеме индусского посла — который почему-то прочел мою книгу. Власти почему-то к этому благоволили. Я не помню его имя — вероятно, Мета, как все индусы, и-и... Мета, Мехта... И там был Каганович, который был, значит, ответственен за Россию. Потому что Хрущев и Булганин были в Англии. Его оставили главным. Меня представили, сказали, что философ. “Ах, вы философ! Материалист или идеалист?” Я сказал, вы знаете, эти понятия на Западе больше не так уже различаются. “Нет-нет-нет, не убегайте от вопроса. Я знаю, что вы такое, я знаю: вы ползучий эмпирист”. Это, по-видимому, коммунисты... в газете “Коммунист” так называли — ползучий эмпирист. Да, говорю, вероятно, есть. Он сказал: “Хотите с нашими философами поспорить? Устроим диспут”. Что такое, сейчас лето, август, они сидят все на дачах. Я говорю: это очень жестоко. “Нет-нет, можно. Сколько хотите? Двадцать? Тридцать? Сорок? Шестьдесят? Всех можно”. Я ему отвечаю: я не готов. Нет, я думаю, это не выйдет. Будет неудобно. И им не понравится, и мне — из этого ничего не выйдет. Уверю вас, лучше не нужно. “Ну хорошо. Как угодно. Как хотите”. И ушел.

— Вы рассказывали, что он спросил, кто сейчас самый модный философ...

— Да-да-да, я забыл. Да-да, я забыл целый эпизод, я должен прибавить. Он спросил: кого читают в Англии? Я говорю: читают Нуме, Хьюма. “Хьюм не философ, он историк. Кого еще?” Я говорю: Милля. Он говорит: “Он не философ, он экономист”. Все это у них где-то было записано. Да, что это было?

— “Спутник агитатора”.

— И дальше, и дальше — все интереснее.

(*Я смеялся, он продолжал.*) — Да, Mill’я и Hum’a — запретили мне как философов. “Канта? Канта читают?” Читают. “Гегеля читают?” Читают. “Идеалисты”».

...Среди философов, которых Каганович предполагал позвать на диспут с Берлиным, наверняка был Виктор Ольшанский, близкий друг Дружинина, «в одну прекрасную минуту» отправивший его на Лубянку, а не помри Сталин, то и под расстрел. Ольшанский числился доцентом на кафедре марксистско-ленинской философии в Московском педагогическом имени Ленина, но слава его выходила далеко за рамки доцентско-профессорских табелей о рангах. Еще до войны публично, во всех газетах разбитый в пух и прах и шельмуемый за статью «Индивидуальное и личное в свете марксизма», за пропагандируемые ею мелкобуржуазный субъективизм и одновременно фашиствующий объективизм, он стал кандидатом номер один во враги народа и, по общему мнению, должен был со дня на день сесть и сгинуть. Но Гитлер двинул дивизии на Восток, стало не до Ольшанского, он, как выразился в стихах Горький, не убится, а рассмеялся. Получил шумную известность и ничем не расплатился за нее. Наоборот, ею скром-

но фрондируя, при призыве на фронт добился особого положения, когда через декана, тайно к нему расположенного, убедил армейское начальство использовать его как юриста, благо, учась в университете еще по старой программе, проходил римское право. После трехмесячных курсов ему дали звание капитана военюрколлегии, через год майора.

В конце лета 1945 года, в ложбине между двумя валами репрессий, он выпустил книжку «Индивидуальное марксистское сознание», около ста страниц, почти брошюру. Ложбина была весьма условной, и кому как не ему, почти весь срок пятый год прослужившему в СМЕРШе, пусть не непосредственно отправлявшему из Восточной Европы в ГУЛАГ тысячи попавших в оккупацию, пленных и остарбайтеров, но аккуратно ведшему сопутствующую канцелярию, было знать, как скоро мельница перемелет зерно этого специального урожая и примется за дожидаемое на складах. Однако энтузиазм деятельного, в противовес депрессивному довоенному, существования, личной предприимчивости и постоянно изменяющихся, сплошь и рядом крайних, обстоятельств — или хотя бы декораций — исключительного четырехлетия подбивал махнуть рукой на соображения и отдаться минуте.

Книжка была написана свободно и темпераментно, единым духом, с минимумом опор на столпы философии, во всяком случае, без помеченных отсылок к великим авторитетам, мысли которых предлагалось считать общепринятыми, находящимися в общем пользовании, не требующих академически корректных реверансов. Все немецкие фундаментальные условности вроде «вещей-в-себе», «категорических императивов» и «свобод воли» остались за рамками убежденного и живого движения ума, который совершал только отточенные, всем видимые па и замирал в отчетливых недвусмысленных позициях. Это был рассказ о конкретном думании, демонстрация думания и думание как таковое — в виде следов сиюминутного поворота мысли, в который читатель вытягивался на правах партнера. Это было *индивидуальное сознание*, а то, что оно было *марксистским*, делало его еще более подлинным — во-первых, потому что немарксистским, за пределами марксизма, сознанию быть легко, чересчур легко, произвол, но зато и внушительности меньше; а во-вторых, пробежать дистанцию налегке каждый может, но настоящий показатель класса — уложиться в зачетное время в полной идеологической выкладке.

Короче, книжка получилась увлекательная и производила впечатление блестящей. Способствовало этому и некоторое ее любование собой, своим стилем и талантливостью автора. Она оставляла ощущение некоей французистости, богатого и знающего себе цену красноречия — не случайное и не обманчивое. Ольшанский читал Хайдеггера и вдохновлен им был не меньше, чем Сартр, и, в публичной библиотеке в Вене напав на сартровскую «Тошноту» и «Стену», скорее не столько уловил, куда ветер дует, сколько почувствовал этот ветер как свой собственный. Первые даже не сведения, а намеки об экзистенциализме получив из вторых рук, из двух-трех журналов, наскоро просмотренных тогда же, он достаточно точно угадал, что это такое и во что может развиваться, и пленился — не системой, однако, а методом мысли. Возможно, неотвратимость и глухая непроницаемость запрета, которым не может же идеологическая и политическая государственная система не расплющить, едва только руки дойдут, систему, пусть самую умозрительную, но строящуюся вокруг такой сердцевины, как свобода и свободный выбор, попросту отключили интерес к ней, запустив механизм внутренней цензуры: чтобы не разбазаривать впустую душевную энергию и интеллект.

Философия «Индивидуального марксистского сознания» отличалась от любых подобных западных, как бы близки по духу и принципам они ни были, в самом корне. Для тех главным было желание совместить неприемлемость того,

что предлагали условия жизни, знаемой ими из несомнительного опыта, — с представлениями, которые надиктовывал им их либерализм, в основном, левый, то есть ориентированный на идеальную, иначе говоря, абстрагированную ими до идеологии реальность, декларированную советской, замешанной на мавзольных мощах марксизма пропагандой. Для Ольшанского дело шло, прежде всего, о выживании мысли и — через это — ее носителя в условиях, приемлемость которых не обсуждается, а берется как данность. Иначе говоря, те пытались реальность гармонизировать, а он вынести; они — несовместимые куски расколотой вселенной склеить синтетической смолой последнего рецепта, а он — на их плато, в их оврагах и на их крутых уступах, жить.

Он не уговаривал, как в скором времени какой-нибудь Гароди, хранителей официальной идеологии понимать марксизм расширительно, в виде универсального, без границ, реализма или гуманизировать его в духе раннего Маркса. Его философия и практические выводы из нее были искренни, жизненны и жизнеутверждающи. Мысли в ней не стояли особняком от вещей, и мысли о мыслях — особняком от мыслей о вещах: концепция определялась конкретными трудностями, которые вызывали быт, одиночество, обыденность, скученность. Страдание объяснялось не злом, присущим, безусловно, человеческой природе, а выбором пути наименьшего сопротивления, полумер, исправления предыдущих ошибок и вызванных ими дефектов, уходом в сторону, например, в улучшении жизни извне — удобствами, обогащением.

С обогащения, с избытка у одних за счет лишений у других, начиналась ария Маркса, чистым, сильным, почти юношеским голосом. Слова были знакомые, привычные: добавочная стоимость, оплата труда, цена продукции, товар, деньги, капиталистическая экспансия, социалистическая революция, — но мелодия выводилась очень искусно и элегантно: через Гегеля. Честно говоря, сплосить и рядом один просто подменялся другим. Однажды поставив Гегеля «на голову» знаменитой заменой разума на материю, Маркс Ольшанского в дальнейшем только перепел гегелевское предпочтение рационального целого частям и групп — индивидуумам. Диалектика была преподнесена без ссылок на то, чья она, Гегеля или Маркса, потому что ближе всего оказалась к тому, как ею пользовался певец индивидуализма, неистовый антирационалист Кьеркегор.

Смешно сказать, все это читалось как насущно важное. Маркс в России занимал место статуи, приснившейся Навуходносору, огромного истукана, содержание которого никого не интересует, смысл имеет только сама устрашающая фигура. Ее металлические и глиняные части значат в истолковании жрецов и предсказателей всё те же, что и в Вавилоне, царства, необсуждаемые, принимаемые как миф и гимн, заучиваемые наизусть: общинное, феодальное, капитализм, социализм, коммунизм, он же «золотая голова», Политбюро, «владыка над всеми». Сама эта махина была неустранимой компонентой жизненного пространства, утесняющей и отовсюду видимой. Плевать на марксизм, плевать на его основателя, но делать вид, что Земля, по крайней мере шестая ее часть, не ежится и сутулится под отброшенной ими тенью, было бы искусственно и глупо — если бы вообще было возможно. В этом смысле книжка Ольшанского и книжка Берлина «Карл Маркс: жизнь и окружающая обстановка» находятся в разных измерениях.

Для Берлина Маркс был не одним из тех, кто на протяжении человеческой истории предлагал оригинальную концепцию, или философскую систему, или, по большевистской лексике, «учение», пусть выдающимся, пусть знаменем новейшей эпохи, однако таким, взгляды которого можно разделять, можно критиковать, но, главное, можно рассматривать вчуже, как это делали марксисты и антимарксисты на Западе. При этом был он для него и не тушей, пригнетавшей жизнь миллионов конкретных людей в Советской России весом, ощущаемым

вполне реально. Берлин не упустил из вида ни его места в общей картине человеческой мысли, ни его политического претворения, но обошелся с ним как с наблюдаемым свежими глазами феноменом, выпавшим на его, берлиновское, время... Я спросил, когда он впервые прочел латинскую максиму Плеханова «благо революции высший закон», *salus revolutiae suprema lex*.

— Уже в Англии.

— И тогда же обратили внимание на ошибку?

— Да, это не грамматически, должно быть *revolutionis*. Он сказал *revolutiae*, как будто по-латыни «революция» — это *revolutia*. А по-латыни надо *revolutio*... Он сказал это, да. Я это прочел, только когда стал писать о Карле Марксе, не раньше.

— Тридцать пятый какой-нибудь год?

— Тридцать третий. Тридцать четвертый. Книга моя была уже написана в тридцать пятом, она вышла в тридцать девятом.

— Я не читал эту книгу, прошу прощения.

— И не нужно. Никакой надобности.

— Скажите, это то, что у нас называлось «Жизнь замечательных людей»?

— Да.

— Популярная книга о Марксе?

— Во Франции это называлось *L'Homme et что-то de la vie*. Человек и *что-то такое* жизни. Я просил господина, который ко мне с этой затеей обратился, предложить разным другим людям — оказывается, все уже отказались. Тогда пришли ко мне в отчаянии: может быть, я это сделаю. Я Карла Маркса не читал. То есть начал читать: скука была невероятная, не мог. Тогда я решил: марксизм будет более важным, а не менее важным, это ясно — в тридцать третьем году. Будет расти. Если они будут писать о Марксе, я его никогда не прочту. Это будет все-таки неудобно — ничего не знать об этом. Фрейда — не нужно читать, кого-то — нужно: пусть будет Маркс. И тогда я начал его читать. И-и-и — скука была невероятная, от времени до времени это было. Не очень замечательный писатель на самом деле... Но о чем мы говорили? Плеханов и все это... Должен сказать, что о социализме я уже что-то знал. У меня был друг, его фамилия была Рахмилевич. Это был типичный русский еврейский меньшевик. Из Риги. Я его встретил в Лондоне, потому что он жил в доме у какого-то своего богатого кузена, ничем особенным не занимался, ему помогал в его конторе, но главным образом ходил в Британский музей и там читал. И тоже музыку: он очень много знал о музыке. Он был в трех немецких университетах, как все эти русские, а потом он приезжал назад в Ригу, где они сидели на бревнах, бородатые евреи, и объяснял рабочим о Втором Интернационале. Бородатые евреи это делали. Я вижу эту сцену: все эти бревна, на которых сидят, тут какие-то мужики, а там сидят евреи и говорят: так-то, так-то и так-то. Он на меня произвел глубокое впечатление как человек. То есть: от него и понял, что такое, он говорил, социализм. Когда я сказал «такой-то экономист» — «Да. *Буржуазный экономист*». Это было автоматически. Так как не социалист, то это *буржуазный экономист*. Надо всегда прибавить прилагательное, нельзя сказать «экономист». Какой.

— Отчасти похоже на Кагановича.

— Внешне. По существу — прямо наоборот. От него я понял, что такое социализм, я понял, что такое он говорил — много о музыке, немного о философии.

— Он был старше вас?

— Ой да, куда старше. Лет на тридцать.

— И он произвел впечатление?

— Да. Потому что он был забавный, интересный и замечательный человек. Никогда в жизни ничего не сделал.

Как выяснилось, Ольшанский книгу Берлина читал. Больше того, он ему об этом сказал: в начале осени 1945 года его пригласила в гости Афиногенова, заметная московская дама, вдова известного драматурга, державшая салон, в который допускались иностранцы, — по всей видимости, специально для них Лубянской и затеянный. Книга Ольшанского только что вышла, шумно обсуждалась, он сделался модным. В тот вечер там был и Берлин: хозяйка подхватила его на приеме, устроенном британским посольством в честь Пристли. Гости Афиногеновой говорили «под микрофон», все знали, что в стены вмонтированы «жучки». Догадывался, по-видимому, и Исайя, но внимания на это не обращал: как сотрудник посольства он был в безопасности. Когда известный поэт декларировал, как с трибуны, непорочность партийной мудрости, в том смысле, что состязаться с Партией — так же глупо и бездарно, как с Богом, и еще хуже, потому что Бог ошибается, а коллективное руководство лучших из лучших никогда, Берлин заметил, что в дискуссии всегда может выскочить что-то неожиданное и плодотворное. Возможно, он сказал так, потому что слышать слова вроде этих про Партию и про Бога для человеческой природы невыносимо и, чтобы не вытошнило, надо какой-нибудь звук издать, писк, ржание, а все молчали. Когда же его попросили как представителя западного провокативного мышления не навязывать свободу ошибаться, свободу неправоты, он ответил, что именно эти доводы французского позитивизма приводил Огюст Конт и именно их категорически отвергал Маркс. В ледяной тишине Ольшанский тут и сказал: «Я читал вашу книгу о Марксе». Реплика нейтральная и исключительно к месту. И Берлин мгновенно оценил ее светское значение: он сказал не то «вы очень любезны», не то «очень любезно с вашей стороны». Ольшанскому все это вскоре припомнили.

На «Индивидуальное марксистское сознание», сразу по выходе в свет принятое с похвалами, хотя на всякий случай и осторожными, обрушились летом 1946 года, сперва на факультете, потом на общепартийном собрании, на районной партконференции, на городской, на всесоюзной. С августа газеты пристегнули его имя, вместе с еще несколькими, к втоптаным в грязь Ахматовой и Зощенко. Он стал «лжемарксистом», «подпевалой ревизионизма», «так называемым философом». «Так называемый философ Ольшанский требует, чтобы мы отказались от единственно верного учения классиков». Он продолжал ходить в институт, но от лекций его отстранили, а на семинары всегда являлся кто-нибудь с кафедры и безостановочно все за ним записывал. Потом все это вдруг прекратилось: и травля, и записывание, и запрет на лекции.

Его завербовали в секретные сотрудники Министерства государственной безопасности, и первый шаг для этого он сделал сам. Видя, что происходит, и зная, к чему идет, позвонил генералу, под которым служил в СМЕРШе, и получил аудиенцию. Он не столько принял условия договора, сколько выдвинул их сам. Он предложил, что будет заниматься не мелочевкой, не случайными попутчиками в поездах и трамваях, но исключительно людьми своего круга и ранга, наблюдать, а если почувствует необходимость, то и провоцировать их — и сообщать. И опять-таки: то, что он сам сочтет достойным внимания органов. Это не отменяет его немедленной явки по первому их вызову и осведомления обо всем, что их вообще интересует, а ему хоть сколько-нибудь известно, и участия в замыслах и предприятиях, в которых они решат его использовать. Он подчеркнул, что может быть специфически полезен, если дело пойдет об иностранцах, потому что знает языки и имеет репутацию. За все это — никакого вознаграждения, никаких привилегий, продвижения по службе или социальной лестнице, а только — никаких помех в том, что он сам будет делать, писать, говорить, добиваться в своей области и в обществе. И он, и генерал, и стоящие за ним органы знают, что плохого он делать, писать, говорить и добиваться не будет. Генерал подтвердил: знаем.

Поступая так, он не испытал мучительных сомнений, никакого достоевского надрыва, а впоследствии угрызений совести. И сделал это не из шкурнических соображений, и не заставлял себя, как бывает в таких случаях, принять идейные соображения об объективной пользе народу, государству, режиму — ни искренне, ни цинично. И нельзя сказать, что люди были ему вовсе безразличны, и все равно, останется человек, на которого он донес, в Москве в своей квартире или повезут его глотать стланик куда подальше. Он людьми интересовался, но — не жалел. Почему, кстати, ему и нравился так Дружинин, и дружбу с ним он выделял — его не надо было жалеть. Некоторых ценил, любил встречать новых, любил компании, любил болтать и этим был совершенно удовлетворен. Он не считал себя выше других, но не видел никого выше себя. А для себя он хотел только думать так, как он хотел, и жить так, как он хотел. Насколько, разумеется, возможно. Думать — на первом месте, думать ради думания, без системы и без выработки системы, думать, какие бы траектории мысль ни вычерчивала, с чего бы ни начиналась, куда ни приводила. Индивидуальное сознание, хоть марксистское, хоть морфинистское, только и осознавало себя в том, чтобы вот так — думать, и, так думая, само, естественно, додумывалось до личного. Что марксистское, было еще и лучше, потому что, с одной стороны, являлось *conditio sine qua non*, необсуждаемым, зато и почти незамечаемым условием, вроде бумаги и типографского шрифта, из которых возникало, с другой — выступало за слоном, за которым и происходило свободное думанье, думанье как таковое.

И жить необходимо было исключительно *для* этого, жить, вообще говоря, и значило только это, а точнее — этим. Но жизнь как обеспечение этого сладостного, всепоглощающего, страстного думания выстраивала собственную, независимую ни от чего структуру, выставляла самостоятельные требования. Равновесие беззаботности и тревог, дел и удовольствий, комфорт, уютность, складывавшиеся годами, пока не перешли в статус вещей первой необходимости, нужны были Ольшанскому уже ради них самих. Он был достаточно тщеславным, был, понятное дело, амбициозным, испытывал удовлетворение, когда удавалось эти качества или, если угодно, слабости тешить, но ничего специально для этого не предпринимал. Только по ходу движения мысли и всей жизни.

Конечно, шпионство за людьми, чувство власти над ними в соединении с регулярными или назначаемыми ему, пусть и не частными, явками по секретным адресам и, как ни крутись, доносами, с которыми он иногда приходил к типам, гм, скажем так, далеким от «его круга и ранга», расшатывали душевную цельность, расшатывали. И неизбежно следующее за этим крушение чьих-то судеб, чаще всего прямое исчезновение конкретных персонажей «его круга и ранга», нельзя сказать, чтобы проходило совсем безболезненно. След оставляло иной, вернее в какой-то иной части мозга и внутренностей, чем интриги, схватки, крах и триумф концепций и карьер в институте и в Академии наук, поглубже, почернее — но никаких призраков лорда Банко. Да в основном и не крушением судеб занимались через него кто следует, а замерами температуры и давления умов, слежением за уровнем их брожения, ну и заготовкой сведений впрок, чтобы были под рукой в случае надобности. А если и ломало кому-то кости и перемалывало, то что ж, в конце концов мы здесь, на земле, церковь воинствующая, а воинам свойственно получать раны и погибать. И тебе самому? Что ж, и мне. Придет час, и мне.

Его отношения с «типами» с Лубянки все-таки уместались в русле деловых, он даже мог себе позволить сопротивление, вплоть до отказа выполнить то, что они считали распоряжением не его компетенции, не нуждающимся в его мнении, даже выказать упрямство, а то и брезгливость. И те знали, что не могут просто так завернуть его в коридоре не в сторону выхода, а в сторону внутреннего дво-

рика, потому что он не их, а кого повыше. Их тоже, конечно, но тоже и другого поля ягода, и с кем-то из их начальства разговаривает в гостиной, в кресле, закинув ногу на ногу, и тот доволен и смеется.

Так оно и было в действительности. Себе самому Ольшанский называл это страстишкой. Его тянуло к этим людям не меньше, чем к тем, на кого они охотились. Провести вечер с Пастернаком, который не только каждой фразой, но каждым движением и чертой лица держал его, Ольшанского, во власти упоительного интеллектуального и творческого напряжения, во власти, которую сам и воплощал, было высочайшим удовольствием. И провести следующий с генералом, в чьем шкафу лежало пастернаковское досье и который воплощал пусть более грубую, зато и более реальную власть уже над Пастернаком, было не меньшим. Но что-то сродни наслаждению доставляли именно эта близость и смена последовательных вечеров, в которых, с одинаковой отдачей вступая в связь с тем и другим, один он принимал равное и полнокровное участие. Упреки, которые его бывший студент, преданный ученик и горячий поклонник, ныне, увы, на ледяном ветру утаптывающий трассу Абакан — Тайшет, бросал в разговоре с ним Маяковскому за дружбу с чекистом Аграновым, который, дескать, подвел под расстрел Гумилева и не его одного, и все такое — не более чем чистоплюйство межеумка, запирающего себя в клетку морали. Полудохлой морали. Вовлеченность привлекательна, и вовлеченность Осипа Брика в отношения с обоими, сосущего мед одного, мед другого и особое удовольствие получающего от вкуса смеси их неразделимых, но и неперемешивающихся составов, — еще привлекательнее, чем Маяковского.

Так оно шло, не литературно, без особых рефлексий, не нищезански, а, как у всех в России, скорее житейски. И все большей становилась в жизни доля скуки. Все реже начинались утра вспышкой мысли, все слабее становилось желание думать просто так, а то, что думалось для чего-то, для научных дискуссий, для новой статьи, для очередных лекций или даже чтобы честно одолеть чужую мысль, все быстрее покрывалось привычной скорлупой, товарной упаковкой. Новые люди не появлялись, от прежних более или менее известно было чего ждать, включая и неожиданное. Общества как такового не было. В МГБ его регулярно просили дать заключение по новым публикациям и выступлениям западных философов. Берлин попадался чаще других: он занимался историей русской мысли, Белинским, Герценом, Толстым, он утверждал зависимость свободы от морали, он был антикоммунист. Его антикоммунизм при этом был направлен не против прямолинейного пропагандистского коммунизма, а против таких глубинных философских, нравственных, исторических его корней, что официальной советской идеологии было не найти никого, кто мог бы это опровергать на предложенном уровне. Кандидатура Ольшанского обсуждалась в самых высоких инстанциях, но идеологический отдел Лубянки сказал: не стоит, в открытой полемике всякое случается, потом не расхлебашь. Тем более что когда в 1951 году в Москву бежал Берджес, с которым Берлин, не зная, что он советский шпион, в продолжение многих лет поддерживал дружбу, Госбезопасность попробовала разрабатывать с ним и берлиновский сюжет, но, в самом начале поняв, что бесперспективно, его закрыла. Так что сперва решено было официально проштемпелевать Берлина «ярый», потом сошлись на «пресловутый»: «пресловутый антикоммунист Берлин». А вообще-то просто о нем помалкивать. Ольшанский такому повороту скорее обрадовался. Дело в том, что не отдлимые одна от другой берлиновские карьера и судьба были его мечтой, он вчуже восхищался этим человеком.

Когда Берджес появился в Москве, Ольшанский несколько раз встречался с ним. Его тайное начальство было ни за, ни против встреч, оставляя это на его усмотрение. Дружбы не получилось, рассказы Берджеса о Кембридже и Лондо-

не и его гомосексуальных любовных связей в сочетании с мрачностью и растерянностью перед не отменимым до конца жизни тупиком, в котором он себя раз и навсегда обнаружил, интереса не вызвали, а только лишний раз ткнули Ольшанского в наглядность, с какой этот тупик запирает и его самого. И — опосредованно, по напрашивающейся, хотя и не прямой ассоциации — в наглядность реального успеха Берлина, в подлинность этого успеха и всей его позиции в целом. По крайней мере как то и другое Ольшанскому представлялось.

Как и он, Берлин в это время стоял на рубеже сорокалетия и находился в критическом состоянии перед выбором пути. Не в том смысле, что стать ли ему полноценной академической фигурой или салонным мудрецом, а в том — как ему стать *Берлиным*. Дело шло никак не о расчете, расчетливых ходах или вообще ходах, а о шагах, о естественной ходьбе, о верном прохождении предлагаемых ему маршрутов. Задним числом можно сказать, что он действовал рискованно, под ровное неодобрение немалой части влиятельной среды, к которой еще не принадлежал, и вступая в конфликт с людьми и силами, которые могли бы его потенциал весьма существенно разрядить и замыслы расстроить, а его самого тоже отбросить в один из множества тупичков университетской, книжной и просто частной жизни. Единственно, о чем он мог бы тогда не жалеть, — это что хотя бы поступал всегда только в соответствии со своими принципами и позицией, философскими и практическими, со своим пониманием того, что такое мир и что такое он, Исая Берлин.

Немалая часть его среды смотрела на выбранный им курс холодно и скептически — примерно такая же количественно и та же качественная, что холодно и скептически оценивает его сейчас, посмертно. Но немалая принимала с воодушевлением и делала, что от нее зависело, чтобы этот курс обеспечить и поддержать. Это в это время он начинал читать первые сотни своих лекций в самых известных американских университетах, наперебой его приглашавших, и выступать перед широкой публикой, набивавшейся в аудитории. Из некоторых ему предлагали сделать эссе, и почти все они получали громкий резонанс в обществе и долго и жарко обсуждались в прессе. Его уговаривали приготовить программу для радио, и он соглашался, и шесть часовых его монологов на Би-би-си имели баснословный успех. По просьбе Черчилля он читал рукопись его воспоминаний и делал к ним замечания. Он обсуждал с Эйнштейном положение в мире, Советский Союз, левых, сионизм и основополагающую роль опыта в постижении реальности и понимании жизни. Он спорил с Вейцманом, первым президентом Израиля, о направлении и характере его политики, о своем и других евреев праве жить не обязательно в новом государстве и не обязательно лишь его интересами. Он отказался от поста министра иностранных дел Израиля, который ему предложил занять Бен Гурион. Тогда же он без экивоков заявлял и в наделавшем шуму эссе на еврейскую тему, и в личных письмах Т. С. Элиоту, с которым был знаком и сотрудничал уже более десяти лет, о неприемлемости его взглядов на отношения евреев и христиан в западном обществе — и тот должен был признать правоту Берлина, объясняться и извиняться. Он жил всей полнотой жизни, полнотой ее осмысления, брал у множества людей, с которыми пересекался, из множества книг, которые прочитывал, всё, что можно было взять, и с равной щедростью раздавал всё, чем располагал.

Ни подводных камней и течений, ни подспудного сопротивления, которое ему приходилось преодолевать, Ольшанский не знал, а видел только эту полноту, яркость, одаренность, успех. Он не завидовал, как не завидовал принцу Уэльскому: тот родился принцем, этот Исаяй Берлиным — кому что на роду написано. Да и не думал же он так примитивно, что, попади в обстоятельства Исаяи, в Англию, в Оксфорд, в Штаты, он автоматически занял бы такое же место: другие качества ума, таланта, манера использования знаний, темперамент, харак-

тер, вся натура. Но все сильнее, вплоть до озлобления, вплоть до отвращения, испытывал он неприязнь к условиям, в которые той же, что у Берлина, волею судеб была поставлена *его* жизнь. Эта география с бесконечными пустырями, которые кокетливо зовутся просторами; этот климат, отнимающий по полгода в год на то, чтобы греться и освещаться тусклым электричеством; этот замордованный народ, потухшие глаза, грубые лица, нищета, бессильная даже осознать себя нищетой; эта торжествующая энтропия — ума, желания, жизненной энергии; эти генералы — в казенных грубых автомобилях, казенных уродливых квартирах, казенных пустых дачах; это разрешенное властью общество оглядывающихся по сторонам существ, эта власть, этот убогий хитрожопый Сталин. Эта мадам Афиногенова... Впрочем, Царство ей небесное, сгорела, бедняжка, на теплоходе «Победа» в своем парижском белье.

Единственным, что оставалось равным себе и нормальной жизни, таким же, как *там* и как *когда-то*, были женщины. С некоторого времени он жил с балериной Большого театра, но при этом постоянно заводил интрижки на стороне, не говоря уж о том, что самым вульгарным образом попадал в настоящую зависимость от всякой ее гастроли и летнего отпуска, когда приглашать домой чуть ли не каждый день кого-нибудь женского пола чувствовал обязанностью. Это не представляло труда, он пользовался не подвергаемым сомнению успехом, был в дополнение к репутации: полутаинственная знаменитость, связи — еще и внешне привлекателен: красивая голова, хорошо сложен, остроумен. Любой льстило его внимание, все соглашались — все те, кого он выбирал, но выбирал он подсознательно тех, про кого безошибочно знал, что согласятся. Честно-то, это и были цель и содержание всех его походов, рутинных, однообразных, обыденных: получать из того, что предлагает сфера удовольствий без скидок на страну и эпоху, лучшее и без ограничений; проверять и подтверждать в области свободных отношений то, чего он реально стоит.

Тут он был прямой противоположностью Дружинину: он не *увлекался*. Испытывал сиюминутное волнение, получал свое удовольствие, но никогда не загорался. Получал доказательство своей высокой котировки на рынке ценностей, не адаптированных режимом, и всё. Но, как известно, на всякого мудреца довольно простоты. Он сошелся со своей аспиранткой, казашкой, настоящей красавицей. Я однажды пересекся с ней, почти в то самое время, в компании молодых технарей, куда меня позвали читать стихи. Мне объяснили, кто она и кто она Ольшанскому, и познакомили. После чтения я был что называется в ударе, смешно рассказывал, лихо шутил. Когда вокруг хохотали, она приоткрывала рот и даже, положим, одобрительно и с признаками веселья в глазах, но очень аккуратно, негромко, как бы бронхами, издавала звук смеха, гулила вроде голубя. Это меня еще сильнее раззадоривало, но ее с гу-гу-гу-гу сдвинуть было невозможно, и я наконец спросил: чего это вы так? Она сказала: «Чтобы не было морщин».

Ольшанский поселил ее у себя: балерина уехала на два месяца — Варшава, Берлин, сперва Восточный, потом Западный, и Лондон. Когда вернулась, он объявил, что, если хочет, она может оставаться жить с ними, никто ее не гонит, и квартира позволяет, но отныне это будет так, и она может рассматривать аспирантку как его жену. Балерина прикинула, с кем надо посоветовалась и, не будь дура, пошла в партком его института. Он членом партии не был, однако стал к тому времени деканом, а заместителем был мужичок из комсомольцев, бездарь, зато кристальный ленинец, который не ел, не спал, не мылся, ходил в одних и тех же бежевой рубашке и галстук цвета электрик, но выявлял отклонения от норм партийной жизни с неистовством первых лет революции. Он явился к Ольшанскому в кабинет и предложил разобраться в его семейной обстановке самому, а не удастся, так вдвоем, а не получится вдвоем, то с помощью

партийного актива. Ольшанский выгнал его за дверь, сказал: пошел вон; тот переспросил: как, как? — и Ольшанский тем же спокойным тоном подтвердил: пошел вон отсюда. Но малый служил идее и, на пользу ему его поведение или во вред и на кого руку поднимает, не обдумывал, а готов был претерпеть хоть увольнение, да хоть и лагерь, только не дать посягнуть на нравственные устои семьи, первичной ячейки общества. Он преодолел тотальное сопротивление коллектива и добился вызова Ольшанского на партком. Секретарь парткома зашел к Ольшанскому, сказал, что все, конечно, обойдется, пусть только он произнесет ритуальные слова раскаяния, самые нейтральные и отвлеченные, вроде: у всех бывают ошибки... Но тот перебил: и не подумаю, и прекратим разговор.

Он так привык к своему особому положению, что стал ощущать его нормой и сколько-то утратил чувство реальности. На Дмитриевскую родительскую субботу зашел в церковь рядом с институтом поставить свечку. Невзрачный тип у двери вдруг назвал его по имени-отчеству, спросил почтительно и в то же время предлагая, как соучастнику, свести дело к шутке: а вы-то здесь по какому случаю? Мелкий стукачок, наверное, из их же института сюда и направлен. Я, ответил Ольшанский, здесь по случаю веры в Бога Отца и Сына и Святого Духа. Шикарно получилось, он потом в двух-трех компаниях это сам рассказывал, под общий смех...

Секретарь знал, под чьей крышей и, главное, на каком этаже Ольшанский находится, и ему ничего не оставалось, как пойти по собственному начальству и вовлечением все большего числа все более высоких партийных чинов разбавлять неприятность, которая на него так глупо свалилась. Собрание два раза переносили, потом Ольшанскому позвонил друг, один из полководцев невидимого фронта, один из самых-самых, и, хохотнув, сказал: надо сдаваться. Ольшанский попробовал возмутиться, черт знает что такое, да я же вообще официально холостой, да чтоб так себе в душу плевать, ни в коем разе, и давай-ка встретимся всё обсудим, но тот бормотнул: я же сказал,— и повесил трубку. Ольшанский все-таки повидался с ним, после чего пришел на собрание и проговорил: у всех бывают ошибки. Но секретарь парткома уже знал расклад и с деланным недоумением спросил: вы что же, думаете отделаться такой формальной отговоркой? Вы скажите так, чтоб мы вам поверили. Тогда он посмотрел, медленно переводя взгляд, на каждого из сидевших, прямо в лица, и раздельно произнес: «Я оцениваю случившееся как недостойное советского гражданина, а свое поведение как недопустимое в социалистическом быту. Хочу вернуть доверие своих коллег и товарищей и обещаю, что ничего подобного не повторится». Помолчал несколько секунд и прибавил: «Тем более что пик нашего чувства уже позади». По лицам пробежали быстрые тени растерянности и рябь неуверенных улыбок. Казашка переехала на частную квартиру, ее выгнали из аспирантуры, она стала пробоваться в кино и исчезла из поля зрения.

Позвонивший по телефону друг, когда Ольшанский приехал узнать, в чем дело, почему они его бросают, не стал ничего объяснять, а только показал издали какой-то лист бумаги, и Ольшанский больше ни о чем не спрашивал, а заговорил, как обычно, как будто затем и явился, чтобы поболтать. Лист был неопровержимой уликой против него, свидетельством катастрофической промашки, про которую он думал, что она сошла ему с рук. Это был избирательный бюллетень, и на нем его рукой написанное матерное слово из трех букв. Он проделывал это уже несколько лет. Чем больше ему — как декану, как члену-корреспонденту Академии наук — приходилось произносить заклинаний о непобедимости марксистско-ленинского учения и здравии Коммунистической партии, тем больше злобы в нем скапливалось, черной злобы, доходившей до ненависти, в свою очередь, доходившей до физических судорог в животе. Единственной отдушиной были выборы, когда он мог зайти в кабинку, задернуть занавески и

быстро написать поперек фамилии кандидата от блока коммунистов и беспартийных эти «х», «у», «й», зная, что он последний человек, на кого такое могут подумать. Первые разы сильно нервничал, потом безнаказанность притупила опаску, и вот, на прошлых выборах, он уже клал, однако еще не положил, карандаш в его гнездо на прибитой к стене полочке, когда занавеска отдернулась и кто-то — из комиссии? избиратель? он не разобрал кто — заглянул внутрь. У Ольшанского потемнело в глазах, он, как в трансе, вышел и опустил бюллетень в урну, вложив его в паспорт, который, как оказалось, еще держал в руках после регистрации. Осознал он это только на улице, и тут ему действительно стало плохо, качнуло, он присел к стене, подошли прохожие, хотели вызвать «скорую», но кровь вернулась к мозгу и удалось их отговорить. Что-то в этом роде должно было когда-нибудь случиться, он понимал с самого начала.

Он собрался с мыслями и к вечеру вернулся на избирательный участок. Сказал, что ужасно взволнован, что еще днем совсем было пошел голосовать, но не может найти паспорта, боится, что потерял, и — что хуже — боится, что кто-нибудь, кто найдет, его использует, а люди разные, попадаютса до сих пор антисоветчики. Проверили, выяснилось, что да, кто-то уже от его имени проголосовал. Он разволновался еще больше, попросил составить протокол. После выборов паспорт вернули, в отделении милиции, мрачно. Было это с полгода назад, он решил, что все заглохло... В конце встречи с *другом*, когда Ольшанский был уже в дверях, хозяин, ни на четверть ноты не меняя дружеского тона, сказал без ударения: «Как ты, кстати, насчет нового-то нашего проекта?» С объявления об аресте врачей прошло всего несколько дней, Ольшанский мгновенно понял, что — про это. Сказал: «Величественно. Чистая случайность, что я не врач». — «А среди знакомых?» — «Среди знакомых — надо подумать». — «Подумай побыстрей, ладно? И вот что, там у нас за тобой тянется этот Исайя Берлин. Что, мол, ты с ним у милой нашей Дженни Афиногеновой зачем-то завел разговор, помнишь? Теперь одно на другое наслоилось. Нельзя никак его пристегнуть, подумай? Одним разом и от веры в Отца и Сына и Святого Духа, и от всего бы и избавился. Побыстрей, ладно?» И назавтра Ольшанский позвонил ему насчет Дружинина.

У меня был разговор с ним, через двадцать лет. Я давно хотел встретиться на него поглядеть. Мне тогда из Гослита предложили перевести «Хлеб и вино» Гельдерлина, вдруг пришло в голову, что это предлог ему позвонить: дескать, когда занимались Хайдеггером, не попадалось ли вам, не помните, что-нибудь про это стихотворение? Простите, но не знаю, у кого еще спросить. Он сказал: я по будним дням на даче, а по викендам в городе; приезжайте, куда вам удобней. Уже начавший понемногу ссыхаться, но крепкий еще старикан в черном в бледных пятнах свитере, с неожиданной ассирийской бородкой на и без нее длинном лице. Мы только перебросились первыми фразами, как он спросил, не мог ли где-то видеть меня раньше. Я сказал: у Дружининых. А, так вот это какой Гельдерлин. Ну что ж, с удовольствием скажу вам, почему *это* сделал. То есть почему именно с Дружининым. Потому что оказался вдруг в положении самом гнусном — гнусности самой пошлой, самой дешевой. Ну и надо было хотя бы придать ей масштаб. Не кого-то там *уко́нтрапунить*, а ближайшего и искренне любимого друга, согласны?.. Я сказал: я так и думал... Про Гельдерлина будем говорить? В другой раз. Отлично, в другой раз.

Я уже стоял на лестнице, ждал лифта, он высунулся из дверей квартиры, поманил меня. Провел в спальню, открыл дверь стенного гардероба, показал надувной комбинезон нежного розового цвета. Моя жена поддевает, под платье, балерина, они ведь, знаете, и так худые, маленькие, а стареют — мешочек костей. Неплохо, да? Погодите, дам вам оттиск своей последней статьи, а то как-то...

Статья была про кино, но с выходом на эстетику искусства вообще. Что кино как таковое, как искусство, пройдя все этапы технических ухищрений, неизбежно должно прийти снова к черно-белому и — не немому, нет, а такому, в котором звук состоит из обрывков внятного разговора на фоне шума нечленораздельной речи. Это освободит его от качества иллюзионности, приобретенного в результате коммерческих устремлений, и вернет ему его как самостоятельного вида искусства специфику, а именно кинематику, кинематический характер. Изображение, или, на техническом языке, видовой ряд, будет отличаться от того, который возник и существует с самого начала, с зарождения кино, тем, что в нем объект съемок совместится с элементами распада этого объекта, переданными на экране эффектом инородных пятен, фрагментов испорченной, осыпающейся, разрезающейся пленки. Наподобие старинных фильмов и фотографий, но не имитации их, а в качестве откровенного приема. Такой ход развития вполне вероятно может быть распространен, если не выглядит прямо напрашивающимся, и на живопись. И, с учетом понятия музыкального распада, на музыку. Заведомое совмещение предмета и его руин в поэзии представляется менее определенным, поскольку предмет — слово. Менее определенным практически — но даже более ясным концептуально.

Незадолго до смерти он выпустил том «Маркс и Энгельс о культуре, науке и искусстве», сборник цитат, максимально полный, с указанием источника. Неоценимое пособие для несчастных гуманитариев того времени. Почти тогда же мы с ним столкнулись на Кузнецком мосту. Я поклонился, он меня узнал, остановился, без предисловий стал рассказывать. Двое юнцов из номенклатурных семей из дома на Котельнической изнасиловали одноклассницу, и не то она сама, не то они ее подтолкнули, выбросилась из окна. Грозит срок, родители — его знакомые, позвонили в панике, нельзя ли как-нибудь помочь. Само собой, готовы на затраты (фыркнул хохотком). Ну он вспомнил свои старые связи, плюс знакомый майор милиции как раз из их отделения. Когда-то явился прямо к Ольшанскому домой, уговорил взять сына на факультет. В свою очередь, помог с пропиской одной иногородней, за которую он просил. В общем, хлопоты.

Он умер от инфаркта, в больнице. Была гражданская панихида в Академии наук. Дружинин-сын пошел, сказал, что было казенно и суетливо.

Глава V

И остановимся на этом. Мало ли какой судьбы *избежал* сэр Исайя Берлин. Единственна и неотменима — а потому и провоцирует на сопоставления и сравнения с близлежащими — та, которой он удостоился или, если угодно, *не избежал*...

Так-то оно так, но когда речь идет о судьбе, а не о биографии, о судьбе, а не о натуре, характере и таланте, события и факты меняют свою взаимосвязь и свой масштаб, вся картина жизни, пестрая, густая, разбегающаяся, панорамная, сводится к одной, пусть замысловатой, фигуре, символу, иероглифу. Все множество линий и деталей стягивается в этот изысканный и внушительный знак, как железные опилки в магнитном поле. Когда в январе 1995 года умер Бродский, я под эмоциональным шоком минуты позвонил Берлину из Москвы в Оксфорд, сказал, что тянет его сейчас увидеть, услышать от него что-нибудь о первых днях и о первых годах покойного за границей. Он ответил, что тоже хочет со мной о нем говорить, но, наоборот, в «тогдашнем, ахматовском времени, когда все заседалось и, стало быть, совершилось, а за границей был уже только урожай». В 1945 году он пытался мягко разубедить людей в России, с которыми встречался, в их представлении о великолепном расцвете искусств и литературы за непроницаемым железным занавесом. Напротив, он видел, что русскому ин-

тересу к искусству, литературе, специфически русской тяге к культуре, или, в формулировке Мандельштама, творческой «тоске по мировой культуре», и отвечающему этой тоске и тяге творческому потенциалу художников, поэтов и писателей их западные современники могут скорее завидовать. На расстоянии, географическом — всегда, что в 45-м году, что в 2000-м, а историческом — чем дальше, тем сильнее, судьба Берлина в ее освобожденном от подготовительных набросков и композиционных узоров чистом рисунке выглядит завязанной на России.

Еврейство — другое дело. Еврейство — это кровь, гены, семья, племя, это практика и идея существования, это не столько поступки и слова, сколько реакции, не индивидуальные, а неизвестно откуда, но с твоего ведома в тебя заложенные, не предугадываемые заранее, хотя заранее оправданные простым, без анализа, почему и как, сознанием, что они всегда наготове. Это время, в границах сроков жизни материализованное в цепочки и узлы таких реакций. Еврейство — в том смысле не судьба, что как судьба оно тебе не принадлежит. Судьба — отпечаток следа, то есть зависит от мягкости почвы и от твоего веса, а в еврействе почва — камень и твой вес — энная часть общего. Именно поэтому, говоря о своих выдающихся людях, евреи сразу сводят дело к тому, что эти люди сделали *где-то*: в Европе, в Америке, в математике, в искусстве. В структуре конкретно еврейства, еврейской жизни и еврейской истории, положение, в которое попадает человек, и достоинство, с которым он его занимает или из него выходит, иначе говоря, именно то, что и составляет человеческую судьбу, в общем, равны одни другим, и в этом плане «большой человек» Исая Берлин мало чем отличается от какого-нибудь безвестного Берла Исаяна.

В России судьбой, индивидуальной судьбой, сплошь и рядом становится просто-жизнь, тождественная соседней, обыденная, безвестная, — только потому, что такое *никакое* занятие, как доить корову или пахать огород, может оказаться возведенным в ранг поступка, исповедничества, подвига, если твоя корова и соха пришлось на год коллективизации. Точно так же, *ничего* не сделал, Берлин оказался попавшим в разряд конкретных зачинателей — или на языке официальной пропаганды: поджигателей — холодной войны, участников заговора врачей против правительства, идеологических врагов Советского государства. Все это можно было бы отнести к паранойе режима, если бы сама русская поэзия не возвела его в ранг Энея, в герои прекрасных, лучших своих стихов. По моим понятиям и по непосредственным наблюдениям, он ценил это, как ничто другое, и если атаки своих критиков, даже несправедливые, считал нормой и встречал адекватными контрударами, а о знаках окружавшего его признания говорил с иронией, то к своей роли в ахматовских циклах «Cinq», «Шиповник цветет» и в «Поэме без героя» относился ревниво, пусть и с неизменной этикетной оговоркой «ну какой я Эней!», бывал глубоко огорчен посягательствами на его место в ее поэзии и глубоко обижен бесцеремонным вторжением досужих филологов в их отношения.

Собственно говоря, это тоже был — урожай, а засевалось давно, в детские годы, тогда же, когда русская действительность закладывала в нем фундамент отношения к миру. Не меньше, чем в 1945-м, было у него оснований встретиться с Ахматовой в 1920 году, когда оба они ходили по одним и тем же малоллюдным петроградским улицам. Светло же, например, Ахматову с мальчиками Смирновыми, которые волей случая в 30-е годы оказались ее соседями по квартире. Но, по-видимому, урожай к 20-му году еще не поспел, зерно не созрело настолько, чтобы пойти на хлеб судьбы. И я испытал пронзительное чувство, но не был удивлен, узнав, что письмо ко мне, написанное им за несколько дней до смерти, оказалось последним в его жизни: в Россию — об Ахматовой — о конце всего, что было.

Первое же я получил еще в августе 79-го, оно шло два месяца. Это был ответ на посланную мной антологию «песни трубадуров», которых я тогда перевел. «From Isaiah Berlin. 26 July 1979. England. Многоуважаемый Г-н Найман, благодарю Вас за любезно присланную книгу, которую я получил и прочел с большим удовольствием. Кто знает? Может быть, нам посчастливится и с'уме-ем встретиться: я много о Вас слышал от знакомых Анны Андреевны и от друзей ея, которые находятся за границей. Вот и все. Sapienti sat. Поклон и наилучшие пожелания Лидии Корнеевне. — Исая Берлин». Это было написано на белом картонном бланке с отпечатанным в правом углу типографски «All Souls College, Oxford». Что такое Колледж Всех Усопших, где между прочим бросают собеседнику «sapienti sat», где в невидимой миру роскошной келье сидит Сэр, а меня в разгар советской власти величают не «товарищем», а «господином», где, если переходят на русский, то в родительном и винительном падеже говорят «ея» и после «с» перед лабиализованной гласной ставят апостроф, я мог только воображать по прочитанной литературе. Sapienti sat, догадливо-му довольно, означало, в частности, что граница не невозможная вещь и что есть люди, которые, окажись я там, могли бы принять во мне участие. В какой-то степени, может быть, и он сам. Конкретные друзья и знакомые Ахматовой, говорившие с ним обо мне, были, вероятно, Аманда Хейт, Бродский, Питер Норман.

Ранней весной 1988 года — еще лежал снег, было холодно — он позвонил по телефону, из Москвы. Сказал, что прилетел всего на несколько дней и спрашивает, нельзя ли прийти завтра в гости, в полдень. Можно. Адрес такой-то? Да, давайте объясню, как добраться, — вы в какой гостинице? Я гость посла, меня привезет посольский шофер. Тогда пусть подойдет к телефону, я объясню ему. Не надо, он сделает сегодня пробный разведывательный рейс, все будет в порядке, так что до завтра. До завтра. И сразу позвонила Лидия Чуковская — что только что ей звонил Сэр, приедет к ней сегодня вечером, сказал, что дорогу найдет, шофер сделает пробный рейс. Назавтра в двенадцать мои дети стояли у окна. Закричали: приехал — я выглянул. В прямоугольник нашего серого двора, составленного из одинаковых девятиэтажных коробок, по грязной ледяной колее вплывал серебряный «роллс-ройс» с флажком посла на крыле. Я поднял глаза и увидел в десятках окон дома напротив лица, так же выпялившие глаза на эту сказочную не то птицу, не то рыбу. Было начало правления Горбачева, советской власти еще никто не отменял, железного занавеса не поднимал, и не мираж ли этот королевский «роллс-ройс» в пространстве нашего убогого двора, не знал ни один из его жителей, включая меня. Вышел шофер в форменной фуражке, обошел машину, открыл другую переднюю дверь, из нее на лед ступил пассажир в темном пальто и рыжем меховом треухе, шофер открыл заднюю, появилась молодая элегантная женщина, и, прежде чем пересест на освободившееся переднее сиденье, они попрощались. Серебряный лебедь тронулся, а лифт на нашем этаже высадил Исая Берлина.

Он заговорил — и тем самым нам с женой предложил говорить — сразу так, как говорил с нами на протяжении следующих десяти лет, когда наши встречи были уже регулярными, а в течение оксфордского года частыми: *привычно*. Как будто эти десять лет нам не предстояли, а были уже позади, и поэтому градус иронии по отношению к вещам, требующим иронии, он не установил, а словно бы на него, всем троим известный, сослался. Иронии и доверительности. Сказал, что приехал вместе со своими близкими друзьями Бренделями, знаменитым пианистом, который дает в Москве концерт, и его женой. Я спросил, не ее ли видел я сверху. Ее, ответил он много быстрее, чем я ожидал, и как если бы мой вопрос имел в виду нечто другое или продолжение, естественно напрашивающееся у нас обоих, прибавил — весело, несерьез: она немка, но родилась в со-

рок пятом году и за преступления нацистов ответственности не несет. Дескать, вот так!

Когда я к слову упомянул, что американский Веллсли Колледж пригласил меня прочесть лекции как специалиста по старопровансальской поэзии, «а какой я специалист?» — он с той же определенностью, выражаемой через ту же мгновенность ответа, тему погасил: «Поверьте моему опыту, вы в сто раз больший специалист, чем им требуется... И что, ваши дают вам разрешение?» К тому времени я прошел в общей сложности через тринадцать инстанций, но к моменту разговора был еще на середине пути. «Если получится,— сказал он,— может быть, и к нам бы приехали?» Потом мы видались, когда я приезжал в Англию на разные конференции, и он опять спрашивал: «Так есть у вас желание немного пожить в Оксфорде?» — каждый раз успевая сказать это прежде, чем я мог бы попросить. А потом однажды позвонил незнакомый пожилой человек, сказал, что он оксфордский профессор такой-то, что он в Москве, что он друг Исайи и Исайя прислал с ним анкеты и просит, чтобы я их заполнил и передал заявку в All Souls на место Visiting Fellow, гостя-стипендиата. Когда? Да завтра.

В тот год, что я провел в Оксфорде — с осени 91-го до лета 92-го,— там оказался, тоже по приглашению университета, мой школьный друг, биолог. В своем деле, в России, он был заметная фигура, чего-то они стоящее открыли или вот-вот должны были открыть, так что признание, в частности со стороны англичан, жидилось на заслугах. И поэтому мое там пребывание, не основанное на карьере, на ученой степени или научном достижении, или просто достижении, а только на том, что я, такой как есть, дружу с Исайей, своей «незаслуженностью», «несправедливостью» портило ему настроение. Мы были в коротких отношениях, искренне симпатизировали друг другу, но общие знакомые спрашивали, почему он, вообще-то склонный к веселью, часто мрачнеет в моем присутствии. Тоже и оксфордский профессор, специалист по русской литературе, несмотря на то что когда-то даже играл в джазе, то есть как можно бы предположить, не чужд был пустякам и обаянию вольного, не включенного в заведенный регламент течения жизни, давал мне понять всякий раз, как выпивал рубажную порцию виски, что, не будь Берлина, не попасть бы мне в этот афинский рай. По их преysкуранту Оксфорд должен был представлять для меня бо́льшую награду, чем дружба с Исайей.

Я был согласен. Тема, которую я предложил Колледжу для получения Visiting Fellowship, гостевой стипендии: сопоставление русского акмеизма и английского имажизма, — и не требовала моего обязательного присутствия там, и не всецело захватывала меня. Пожалуй, одного Роберта Хьюма, думаю, я не мог бы понять без ущерба, не пожив в атмосфере английского университета, английского города и этой страны. Стихи Элиота и Лоуренса «конкретная» Англия только иллюстрирует наглядными чертами, а Паунд и Эми Лоуэлл совершенно такие же в Англии, как везде. Хьюма и о Хьюме читаешь за столом в пустой библиотеке Кодрингтон или в многолюдной Бодлеан с необъяснимым и непобедимым ощущением того, что здесь его фигура реально приближается к читаемым строчкам, уточняется и укрупняется. Все меньше остается времени до отправки во Францию и гибели под огнем первой мировой, надо успеть уложиться до 33-х лет, так что все слова произносятся в последний раз... И еще чахоточного Жюля Лафорга этот климат и эта топография, своей пронизанной ветром, сырой и пасмурной теснотой словно нарочно приспособленные для того, чтобы через не задернутые занавесками окна с улицы видеть в освещенной электричеством комнате теряющих силы Нелли Трент, Инсарова или Дез Эссента, тем более превращали из общего для акмеистов и имажистов исторического предтечи в реального поэта, живого, умирающего, юного, нового.

Но не ради же того, чтобы это узнать, попал я в Оксфорд. Скорее и тут был урожай тех, «ахматовских» лет, когда поэзия выстраивала и определяла мою дальнейшую жизнь, неизвестную, непредставляемую, незагадываемую. Тогданняя реальность — поэзии ради поэзии и одновременно ради выстаивания под грузом советских условий — могла спровоцировать будущий оксфордский грант не больше, чем шутка Шилейки, второго мужа Ахматовой, который в разлуке, голоде и холоде послереволюционного времени сказал ей мимоходом: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфордского университета, помяните меня в своих молитвах». Офелия в ту минуту была для обоих несравнимо конкретнее степени *honoris causa*, или, как она говорила, «мантии и шапочки», которая действительно была на нее надета 45 лет спустя. И, несомненно, благодаря представлению того же Берлина.

Он был «супердоном» Оксфордского университета, но не единственным видным *русским оксфордецем*. (Можно и наоборот: *оксфордским русским*.) Когда я в первый раз пришел домой к Дмитрию Дмитриевичу Оболенскому, то обнаружил в списке жильцов в подъезде против его имени «Sir», и когда сказал ему, что в России знают, что Исайя — «сэр», но никто не знает, что он тоже, он ответил: «В России больше известно, что я князь». «Оболенских тьма,— прибавил он,— Оболенские, как принято говорить, не род, а народ... Мне “сэра” дали в конце восьмидесятых, когда я вышел в отставку». Я объяснил: «У нас не уследили, в конце восьмидесятых в России было не до того». Он сказал, что в России время, когда бывает «до того», непредсказуемо, что, например, о только что случившемся образовании СНГ, или, как его коротко наименовали, «Содружестве», он написал в «Индепендент» письмо, ссылаясь на «содружество» из Сборника Святослава 1046 года.

Мы пошли поужинать в итальянский ресторан, где официанты и мэтр каждую минуту обращались к нему «профессоре». «Самый знаменитый в Англии Оболенский,— сказал он,— был регбист национальной сборной. Во всех кино крутили ролик, как он пробежал от своих ворот до чужих через все поле, обойдя всю команду противника. Он был летчик и разбился в сороковом году накануне “битвы за Англию”. В сорок втором у меня встала машина между Лондоном и Оксфордом, кончился бензин. Бензин тогда строжайшим образом распределяли по талонам, нечего было надеяться, что кто-то даст. Водитель машины, приехавшей, чтобы отбуксировать, спросил мою фамилию. “Не родственник?” Было понятно кого. Я сказал: кузен. “Он был моим летным инструктором”. Оказалось, мы вместе были на его похоронах. И он отлил мне немного бензина».

Он вспоминал, как его семья эмигрировала, ему тогда было года три, если я правильно понял. Английский королевский двор прислал в Крым корабль за императрицей Марией Федоровной и ее приближенными, среди которых была его бабушка. Запрещено было брать с собой драгоценности, даже привычные украшения. Через полвека он смог увидеть имение своего прадеда Воронцова-Дашкова в Алушке и даже встретил старуху, которая помнила, как хоронили последнего хозяина: верхом на лошади, в мундире, ноги в стремях. «А все-таки, согласитесь, пушкинская эпиграмма,— он имел в виду “Полумилорд, полукупец”,— грубая, не европейская; независимо от того, на Воронцова она или еще на кого». О тщеславии аристократов титулами он говорил иронически и смешно, но аристократия как социальная категория была несущей балкой всего государственного строения, своего рода кристаллической решеткой — «по причине наследования места и репутации: сын и внук тоже были “Шуваловы”, и ты не мог вести себя абы как». Когда разговор пошел о церкви, он сказал, что на митрополита Антония за «сержианство», то есть принадлежность к Московской па-

триархии, сотрудничавшей с советским режимом, «вешали всех кошек»: «Я настаиваю, но не вид ли это мученичества — провести церковь через советскую власть?»

Когда я рассказал Берлину о «сэре» и «князе», он сказал: «Верно! Это верно, это правильно! Князь, профессор, сэр — лучше быть нельзя. Я вам скажу о нем. Вырос он, я думаю, в Швейцарии. Потом был в Кембридже, сделался там лектором русской истории, потом приехал в Оксфорд. Я его тогда именно встретил. И полюбил. Он очень милый. И очень честный. И очень простой. И замечательный историк. Все-таки самый лучший специалист по русской истории в мире — это он. Я не знаю про советских, но на Западе нет лучше его. Не только византиолог, но и средневековая русская история. И девятнадцатое столетие тоже — он очень много знает. Он очень милый, и очень добрый, и очень отзывчивый человек. Он глубоко религиозен и абсолютно православен, печется о церкви и там бывает.

— У вас были периоды более тесных и менее тесных отношений? Или всегда ровные?

— Сначала я его не так уж хорошо знал, потом мы ближе познакомились. Мы встречаемся, мы теперь видимся довольно часто, он мне звонит, я ему звоню. Время от времени уславливаемся, заходим на ланч куда-нибудь — и мы болтаем без конца. Моей жене с нами не очень весело, она говорит: «Он прекрасный человек, но иных интересов». А мне с ним вполне интересно, у нас достаточно о чем говорить.

— А какого стиля люди нравятся Алине?

— Я не могу сказать, нет одного стиля. Я думаю, ей нравятся, главным образом, настоящие люди, которым она нравится. Потом ей не нравятся мои разные знакомые, которые ее не знают или не кланяются ей. Она ругается, оттого что в Оксфорде проходят мимо и даже не смотрят на нее. А это могут быть застенчивые люди, они не хотят с женами или с женщинами никаких отношений. Нет, у нас есть общие друзья: мой друг Хэмпшир, у меня есть такой друг, тоже сэр. Это старый философ, главным образом, учил в Америке. Он такой же друг моей жены, как и мой. Сегодня вечером мы обедаем с Воллхэмом, он философ и занимается историей искусств. Он с ней в таких же хороших отношениях, как со мной».

В России образ Берлина вставлен в два пейзажа, одинаково убедительных. Первый создан циклом «Cinque» и не скрывает своей одноприродности дантовскому, причем из всех трех частей «Божественной комедии». Второй — рижский, биографический. Ни тот, ни другой ни в малой мере не учитывают конкретного и единственного оксфордского. Мне понадобилось время, чтобы разглядеть Берлина в естественной обстановке, «дома», но когда и тут наконец климат и топография навели зрение на фокус и видеть его на улице, в стенах Колледжа и Хэдингтонского особняка, в нашей квартире в Иффли Вилледж и в кафе стало привычным, я поймал себя на том, что это не отменяет тех двух картин, созданных русским воображением и русской действительностью вперемешку.

«Не в таинственную беседку поведет этот пламенный мост: одного в золоченую клетку, а другую на красный помост». Ахматова написала это уже после того, как въяве увидела Хэдингтон Хауз и сидела за пышным столом на устроенном в ее честь обеде. Пафос четверостишия порождается противопоставлением благополучия и гибельности, но это только на первый взгляд. Красный — от крови, от осененности коммунистическим флагом и от отблесков пламени — *помост* отбрасывает тень и на *позолоту*. Но еще откровеннее неразъединимость двух судеб воплощает *мост* — общий для обоих. Драма не столько в антагониз-

ме позиций героя и героини, сколько в том, что никакой третьей не может быть, что не беседка, а клетка или эшафот — единственный выбор для персонажей такого ранга и через них — для всего человечества. В оксфордский антураж это вписывается так же, как в любой другой.

Наоборот, картина Риги не стирается в сознании под напором оксфордской уникальности потому, что одна с другой принципиально несовместима. В Риге, как во всяком отчужденном от личности городе, выходя на улицу, ты оказываешься во внешнем, *чьм-то* пространстве, *вне* дома; в Оксфорде — по другую сторону *его* стен, в пространстве *своем*, отличающемся от домашнего только тем, что ты делишь его со стихией. В определенном смысле, «помещение, в котором удобно болеть», как определил, поступив в Оксфордский университет, юный Исайя свое единственное требование к снимаемой квартире, распространяется и на самый город. Болеть, забиваться в угол, прятаться от непогоды, делать передышку, останавливаться и думать, отдыхать, разваливаться (на любой из множества скамеек), валяться (на траве) — удобно в Оксфорде. Проходить по нему, перемещаясь из комнаты в коридор, из коридора в зал, из зала в каморку для прислуги — потому что это город *закрытый*, с почти незаметными калитками в массивных глухих стенах, с узенькими проемами поперечных улочек. Чтобы в нем очутиться, надо в калитку *войти*, а не выйти из нее. У каждого члена колледжа есть три обязательных ключа: от своего кабинета, от библиотеки — и от всех остальных замков вместе. Он и отпирает неприметные деревянные дверки и железные решетчатые ворота. Все, что написано о волшебстве пространства, в которое, пройдя сквозь них, попадаешь, такая же правда, как английские иллюстрации Брауна или Лича к Диккенсу, воспринимающиеся вне Англии как карикатура, а оказавшиеся фотографически точными.

Делаешь шаг — и оказываешься в огромном нежном парке или на лужайке двора, такого пустого, что даже выглядит громадным. Пересекаешь его, отпираешь черную лакированную дверь и не понимаешь, где находишься, куда ведет этот тесный, в ширину плеч, лаз между двумя высокими каменными стенами, над которыми поднимаются кроны деревьев. Мягкая земля усыпана каштанами, а кончается он тремя ступенями вверх, за которыми — людная улица с автобусами и велосипедистами. Чудеса Алисы — прямое следствие оксфордской архитектуры, в которой до какой-то степени материализовалась возлюбленная Льюисом Кэрроллом геометрия. Дважды, выходя из колледжа узеньким проходом на Хай-стрит, я должен был возвращаться и отступать внутрь помещения, потому что навстречу мне парень в фартуке вкатывал с улицы тележку с пивом. Уличная жизнь театрализована: энергичным шагом проходит человек в американском маскировочном комбинезоне, солдатских ботинках, кожаной ушанке с советской звездой; его обгоняет велосипедист в широкополой черной шляпе, изпод которой свисает до пояса тугая косица, в развевающейся черной мантилье, черных чулках и башмаках с пряжками; им навстречу идет девушка с оселедцом, оставленным на бритой голове; за ней кто-то в университетской мантии с рукавами до земли; за ним группка в смокингах, спешащая на формальный прием. Но вся эта эксцентричность не выходит за рамки снисходительной атмосферы семейного праздника. Выход в город не меняет масштаба зрения, улица не провоцирует на обобщения, большие тех, к которым ты был склонен в своем кабинете.

Возможно, и поэтому, как бы ни абстрагировал Берлин свою мысль, сколь глубоко бы ни философствовал — о свободе, об обществе, о политике, — он никогда не упускал из вида размеров человека, не подменял их среднеарифметической величиной «человечества». Возможно, к оксфордской университетской мудрости ему было естественно прикладывать ту же линейку, что и, например, к окружавшей его в детстве андреапольской — заземленной, практической, вы-

веденной из повседневного опыта. Периферию он ценил так же, как центр, если не больше; был европейским мыслителем и еврейским ребе одновременно; принадлежал мировой культуре столько же, сколько семейной, отца и матери. В начале 90-х дальняя родственница из России попросила его о встрече, он пригласил ее приехать в Англию, и в тот самый день, когда приглашение уже было готово к отправке по почте, случившийся в Оксфорде и стороной узнавший об этом московский кинорежиссер предложил передать его из рук в руки, а через некоторое время, снова прилетев в Лондон, позвонил Берлину и дал понять, что родственницу он нашел простоватой и такого родства даже как бы и не стоящей, по крайней мере внимания такого человека не заслуживающей. Рассказывая мне об этом, Исая сказал: «Он полагает, что его мнение для меня важнее, чем она».

Жизнь в Андреаполе он вспоминал, когда касался первой мировой войны. И здесь тоже: понятное дело, он не сводил великое историческое событие, катастрофу, трагедию и начало новой эпохи к обыденности захолустья, но без подлинности захолустья не была бы подлинной и грандиозность события, и, уж во всяком случае, объяснение того и другого исходило из единых критериев. Только конкретные люди и их конкретные качества затевали кровавое сражение — и ежевечернюю игру в карты.

«— Немцы имели огромную победу, если вы помните, в начале войны. Где это было?»

— В Мазурских болотах.

— Мазурские болота, точно. Огромная победа, потому что было два толстых генерала, которые друг друга терпеть не могли. Генерал Самсонов, генерал Ренненкампф — проиграли эту битву. Я думаю, что Ренненкампф ушел в отставку, потом Самсонов покончил с собой.

Теперь так. Тогда мы решили уехать. Почему? Потому что если немцы войдут, мы отрезаны от лесов — тогда чем же жить? Поэтому мы поехали в глубь России. Вглубь. Поехали в Псковскую губернию. В Псковскую губернию, в местечко Андреаполь. Его больше не существует. Немцы этого как-то не потерпели, абсолютно разрушили. Недалеко от Великих Лук, недалеко от города Торóпец, есть такой город. Был. Там... это принадлежало компании моего отца. Вся эта деревушка. Там была станция, железнодорожная станция и десять домов. Там сидели разные приказчики, и там были русские солдаты, и там были русские полицейские. Были русские офицера, которые прятались, и были немецкие, скорее немцы прятались от русских. Были русские офицера, которые ждали, чтобы их посылали на фронт. Мы там осели месяцев на девять-десять. Моей матери они читали Куприна, по вечерам, в зеленых абажурах на лампах.

Я ходил... Там был старый помещик, его имя было Кушелев. Он уже разорился, пил и разорился, но был огромный парк, можно было ходить по парку, собирать грибы, собирать ягоды, все там было.

— Простите, кто читал Куприна маме?

— Офицеры, русские офицеры, которые ждали отправки на фронт.

— Мама красивая была?

— Да. Довольно красивая... Мы там жили месяцев шесть-семь абсолютно идиллической жизнью, по-тургеневски. В основном вся жизнь на станции была: много веселых людей, приказчики, их дочери, их сестры. Главное место встречи всех — это была станция. “Вы были сегодня на станции?” Поезд приезжал: может быть, новые люди будут, может быть, интересные люди будут. Это был социальный центр города Андреаполя. Андреаполь — потому что имя Кушелева было Андрей. Все Кушелевы были Андреи, Андреи Андреевичи.

— А это самые главные Кушелевы и были? Павловские еще и допавловские, вы не знаете?

— Да, да, кажется, в этом роде, в этом роде... Я вам скажу, жизнь моя в России была очень проста. Летом мы всегда ехали на каникулы куда-нибудь, в какой-нибудь такой сра. Старая Русса, я помню, мы там были в семнадцатом году. Был итальянский оркестр, было очень мало нот, так что они играли ту же музыку все время под разными именами. Венецианский марш делался финским маршем, и... как его звали, этого дирижера, Кондициано, что ли, Бони, страшно хотел уехать в Италию. Не давали. Наверное, там и остался. А потом — были разные такие праздники, были дети, у меня были кузены, мальчишки, девочки, все это было очень весело... А когда мы приехали на станцию в Петроград, там — Учредительное собрание. Листовки, агитация...

— А в Старой Руссе?

— В Старой Руссе ничего не было. Только оркестр. И парк.

— А вы впоследствии, зная, что Старая Русса была связана с Достоевским, вы никак не?..

— Я не знал. И теперь... вы первый мне сказали. Он туда ездил? В карты играл?

— Отдыхал летом с семьей. Скотопригоньевск в «Карамазовых» и весь пейзаж провинциального города у него...

— ... оттуда, оттуда, из Старой Руссы. Так, ну ладно. Но это был город туристов тоже. Старая Русса — это был летний... был город для летних жителей. Ну ладно. Этот город не был обыкновенным русским городом, нет.

— В каком году вы окончательно уехали из Петрограда?

— В девятнадцатом. Но все-таки летом мы ехали в Павловск. Где евреям, конечно, не было хода в царское время. Там все мы могли жить, жили в каком-то пансионе, мы там болели, мы там выздоравливали, был огромный концертный зал — для их величеств. На станции. Там играл такой польский дирижер, играл Цезаря Франка, симфонии, всякие такие вещи. У меня были друзья. Были такие другие еврейские семьи, из Риги, у которых были дети, моего возраста. Мы гуляли по парку, я и мой друг Леонард Шапиро, и две девицы, которых фамилия была Вяземские. Все было очень близко. Мы читали книги по-русски. Мы читали Quo Vadis, мы читали Дюма. Я прочел всего Жюль Верна, по-русски, двадцать семь томов. Всего. Но также я читал “Войну и мир”. Тогда. И “Анну Каренину”, которая мне ничего не говорила. Я совсем ничего не понял.

— А “Война и мир” сказала?

— Да.

— Я прочитал «Войну и мир» в четырнадцать лет. Мой отец был толстовец, настоящий такой, с Чертковым он имел отношения и так далее. Я сказал: «Я кончил “Войну и мир” ». Он на меня посмотрел и сказал: “Ну и что, стал ты лучше?”

— Он прав. Для чего мы все и читаем».

Ренненкампф, Самсонов, Кондициано Бони, Леонард Шапиро были равноценными фигурами — если угодно, равноценными фигурами первой мировой войны — в самом что ни на есть толстовском духе, различавшем человека в первую очередь и мундир — в последнюю. Андреаполь, Старая Русса, Павловск, Оксфорд были местами обитания, сшитыми по его, Исаяи Берлина, мерке, как пальто, дом, город, изнутри — утверждающие пространственный статус живого тела, а снаружи — охраняющие от агрессивности пространства. Став в Лондонской школе экономики профессором истории, Шапиро воспринимался так же привычно, как на летней даче под Петроградом... Однажды весной мы с женой шли вдоль парка по Паркс-роуд, около нас остановилась машина с Алиной и Исайей, они возвращались с концерта Рихтера. Разница между концертами в детстве и этим заключалась не в том, что Рихтер был музыкант другого класса, нежели провинциальный итальянец или поляк без имени, а в том, что тогда

Исайя шел, заинтересованный в явлении, к явлению, уже существующему, не заинтересованному конкретно в этом мальчике, — а сейчас игра пианиста и удовольствие от нее слушателя, музыка и восприятие ее Исайей были равного значения актами искусства и фактами культуры.

Когда мы заговорили о его эссе «Наивность Верди» и я спросил, нет ли в предложенном им подходе к «Риголетто» опасности подменить искусство во всей полноте — идеологией, он запротестовал: «Не это я хотел сказать. Я хотел сказать, что он хотел выразить, Верди, что он хотел сказать. И это все. Но я вам скажу, о чем я думал. Я думал, что у всех опер Верди есть моральный центр. Если вы не понимаете морального центра, тогда это только мелодии. Например, “Риголетто”. “Риголетто” — это, с одной стороны, отец и дочь. С другой стороны, этот ужасный господин, этот Герцог, который готов надругаться над всеми. Это же Виктор Гюго, это “Le roi s’amuse”, “Король забавляется”. Это же тоже слабоумный, идиот, он издевается, по-французски *berne*, подбрасывает вверх, как шутов. Человек, который пользуется другими людьми, на них наступают ногой, швыряет. Невероятный гнет. Гнет негодного человека, который может сделать с абсолютно порядочными людьми, что он хочет. Это республиканская вещь против тиранов — и против гадких тиранов. Нужно понять, что это есть две центральные темы. *(Он стал похлопывать рукой в такт словам.)* Кто этого не понимает, тот не понимает “Риголетто” — вот все, что я хотел сказать.

— И конкретно по поводу Верди.

— Да. Нет, нет, нет, Четвертая симфония Бетховена не имеет какой-то глубокой идеи».

По стечению обстоятельств его слова накладывались на впечатление от концерта, на который меня накануне пригласили друзья. «Фавн» Дебюсси, концерт Брамса для скрипки и виолончели, 4-я симфония Брукнера — с русскими исполнителями. Известный московский скрипач играл виртуозно, гарцуя и подпрыгивая в такт мелодии, дома это имело успех у публики как выражение непосредственности и вдохновения — в Лондоне смахивало все-таки на местечковую свадьбу. Час с лишним Брукнера в лесу контрабасных и виолончельных грифов, рожков и качающихся в разные стороны смычков наводил на мысль, что весь зал, включая музыкантов, заблудился, и неизвестно, выйдем ли мы куда-то, и когда — к полуночи, на следующий день? Над оркестром сидел мужик в кепке и куртке, застегнутой до подбородка, рядом с теткой, которая с ним заигрывала, — а оркестр играл...

Слушание музыки человеком, способным, как Берлин, проходить *за* мелодию в иные смыслы, извлекаемые пианистом так, как это делал Рихтер, меняло — в той конкретно точке партера, где сидел такой слушатель, — ее звучание, принципиально не отличавшееся от того курзального, которому внимал семивосьмилетний ребенок. На вид это было то же, что я наблюдал, когда летом приезжал к своей оставшейся в живых тетушке на Рижское взморье и однажды, белым вечером, мы отправлялись в потоке общекультурной публики слушать общекультурную программу столичного гастролера на открытой концертной площадке в Майори, и звучали знакомый Шопен, и Мендельсон, и Чайковский, мы аплодировали, артист раскланивался, витало сознание присутствия в особенном месте и участия в специальном ритуале, и вдруг тот, что на подиуме, делал поклон кому-то в аудитории, и, если это были Нейгауз и Ахматова — как действительно случилось когда-то, пусть и в другом зале, — то это выделяло их и противопоставляло всем остальным не по причине их заведомой исключительности или тем более известности, а мгновенным, всеми ощущаемым разрядом электричества, который отбрасывал происходящее из сферы общекультурной в творческую, достигаемую только для них двоих, точно так же как для композиторов в момент сочинения.

«— Как звали вашу маму?

— Она была, во-первых, двоюродная сестра моего отца.

— Ну да, так это бывает. Как ее звали?

— Фамилия?

— Нет, имя.

— Мария. Не еврейское имя. Мусся. Ее называли по-еврейски Муся. Но в паспорте она Мария. Всегда была. Мария Борисовна. Нет, не Борисовна: Мария... Исаковна. Отец был Мендель Борисович.

— Как они говорили по-русски? Их русский язык был, по-вашему, на каком уровне? Отца и мамы.

— Прекрасный. Но немецкий тоже. Они ходили в немецкую школу в Риге. Их отдали в Петершуле. В Петершуле их научили по-немецки. Они были двуязычны. Я по-немецки не говорю, а они да.

— У вас никаких сестер-братьев не было?

— Нет.

— А идишу вас учили?

— Нет.

— Вы разговаривали с родителями по-русски?

— Я не говорил по-идиш.

— Никогда?

— Нет. Родители говорили по-идиш со своими родителями, но не между собой.

— А вы с ними разговаривали только по-русски.

— Только.

— Скажите, а ваши отношения с отцом и матерью — как бы вы их назвали? Дружеские? Исключительно дружеские? Или прохладные? Или натянутые?

— Нет, дружеские, нормальные. Других людей для меня не было. Была маленькая семья, были родственники, но, в общем, это были только отец и мать. Иногда они ссорились. Тогда мне было очень неприятно. Но я любил моего отца. До конца. Мою мать тоже. В этом отношении у меня была спокойнейшая жизнь. Ничего холодного никогда не было.

— А были такие отношения немножко такие, как знаете, в еврейских семьях бывают, истерические? То, что называется “еврейский отец”, “еврейская мама”?

— Нет, нет, нет, абсолютно нормальные.

— Как вас в семье звали, как вас они звали?

— Как они меня звали? Шая. Потому что древнееврейское Исай — это Ишайя. Так звали дядю Шаю, дядя Шая был миллионер. Потому что его называли Шая, потому что меня. Полное имя Ишайагу.

— Что это значит, Ишайагу?

— Ничего. Просто полное имя. Так же как Иоганнес по-немецки, а не Иоганн. Есть Иоганны, есть Иоганнесы. Брамс был Иоганнес. Бах был Иоганн».

Профессор из Олл Соулс, несколько раз сидевший со мной за одним столом во время ланча, и его жена, с которой мы познакомились в православной церкви, англичане из Южной Африки, пригласили нас с женой в музей Эшмолеан на клавикордный концерт. Слушать Генделя и Скарлатти среди картин Учелло, Филиппо Липпи и Рубенса было и больше, и меньше, чем только музыка или только живопись. Эстетические гармонии одновременно двух искусств, создавая эффект перенасыщенности, усиливали чувство наслаждения — и отвлекали одна от другой. Перед концертом мы провели полчаса у них в доме недалеко от центра, в красивой просторной гостиной со старинной мебелью. Из окон открывался вид во двор, как бы на два участка: садовый и огородный. Было очень по-

хоже на то, что я вижу с крыльца своей избы в деревне Алексино Тверской области. Оксфорд был и то, и другое: концентрированное изящество, клавикорды, золотые рамы, часто рафинированность, почти подталкивающая к снобизму, — и сельская простота, естественность природы. Грибы, но в парке, а не в лесу, — которые собирал мальчик.

Оксфорд — это библиотека, одна, другая, двадцать пятая. Безлюдные парки книг — если это не публичная, не Бодлеан, не Тейлориан, а библиотеки колледжей, самые «естественные» в этой местности: посадки вековой, шестивековой давности, новые насаждения, аллеи и просеки, большие столы для «интеллектуальных трапез», для выглядящих такими маленькими и заблудившимися читателей, нескольких одиноких путников, отбившихся от своих компаний. На одном из столов — действительно кофейные чашки, ожидающие каких-то гостей с какой-то конференции. Часть стен дубовые, часть — сосновые, но за отсутствием первичных признаков — листьев и игл — одни от других не отличить. За библиотекой — часовня: алтарь с репликами средневековых, разрушенных в Реформацию фигур, единственных, что многочисленностью напоминают удавшийся пикник; ворота, не церковные царские, а функциональные, выпускающие, барокко, модным бывшее в XVIII веке, тогда же и переставшее, но уничтоженное не целиком, — черная деревянная арка с золотыми не то херувимами, не то амурами, не то птицами. И — не то чтобы обязательно сумерки, но — обязательно мысль о сумерках, которую вот уже и подтверждают огни, зажигающиеся в окнах, в частности, в окнах таверн.

И обратно: флора и фауна, пейзажи и сельское хозяйство Оксфордшира, попадая в границы города, обретают вид иллюстраций из альбомов, словарей, энциклопедий, систематизированные и рассортированные по ящикам Большого Каталога. Лебеди, белые на черной воде Темзы; нестерпимо белые — если вдруг встречаются с парой каких-то черноперых, тонко- и красноклювых водоплавающих, название которых надо искать по определителю; приобретающие жемчужный отлив — если в тумане; неподвижные — если на неподвижной ряске заводи или пруда; тяжелые — когда над самой водой обгоняют лодку; поистине птичий двор Короны, на худой конец итонцы — в сравнении со щиплющими на берегу траву стаями пегих канадских своих кузенов. Таверны и гостиницы «Лебеди» — просто «Лебедь», «Лебедь старый», «Белый», «Лебедятня», «Лебязья». Не меньше, чем птиц, — лодок: на вездесущих Темзе (по-местному Айзис, Изиде) и Червелл, отнюдь перед ней не пасующей, не говоря уже о кичливом Оксфордском канале, — байдарки, академические, шлюпки, желтые, пестрые, ныряющие с берега в зимнюю воду, переворачиваемые гребцом по команде тренера дном вверх, чтобы так же умело выправиться, временами скапливающиеся у шлюзов. Тренеры, едущие параллельно по дорожке вдоль берега с двумя возгласами: «гоу!» и «релакс!». Невидимые рыбы, о которых можно судить только по наличию рыболовов, иногда устраивающих официальные соревнования, высаживающихся на берега десантом в каких-нибудь зеленых куртках РАСВ, Плаф Энглинг Клуб Бэнбери, всегда с множеством приспособлений, с поплавками, светящимися в сумерки, с одним на всех карасиком в ведерке. Лошади, внезапно начинающие бежать по двое, по трое, так же внезапно останавливающиеся и кладущие голову на шею друг другу; квадратные мясные коровы; кусты черной сочной ежевики; ослепительно желтые поля сурепки, посеянной на масло по распоряжению Европейского Совета; свободные зеленые пространства, которые иногда зовутся лугом, иногда пустошью, иногда рощицей. Поезд, проходящий вдали мимо деревни, которая, ты вдруг понимаешь — Оксфорд.

Однажды, подойдя к лужайке перед Хэдингтон-хаузом, я оглянулся — и увидел, как около ворот перебегает дорожку рыжая лиса, вспрыгивает на каменную стену забора и соскальзывает на другую сторону: огненное видение. Я

спросил у Исайи, частое ли это событие, он ответил: «Да, лисы есть. Кур нет, а лисы есть». — «А ежи?» — «Есть, есть... Но я писал без мысли о живых ежах и лисах». Он имел в виду свою книжку «Еж и Лиса», о Льве Толстом, «лиса знает много вещей, но еж знает одну большую вещь» — а я, когда спрашивал, интересовался именно живыми, «без мысли» о книге. Я сказал: «Кстати, а вы согласны с тем, что “The Hedgehog and The Fox” переводят на русский “Еж и Лиса”, а не “Еж и Лис”»? Вы совсем не имели в виду Ренара?

— Нет, я не думал об этом, мне это все равно. Моя лиса просто лиса.

— Как та, что я видел на вашем участке?

— Да. А может быть, это был как раз лиса. Откуда мы знаем?

— А ведь Лис-то и есть персонаж, который знает эти “много вещей”, все эти трюки.

— Я знаю, я знаю, я знаю, да-да... А Бродский мне сказал, что это неправильный перевод “еж”, что это должно быть, э-мм...

— Дикобраз.

—... “дикобраз”, да — не знаю почему.

— Да нет, “еж” — хорошо...»

Зверь спрыгивал с забора под книжную обложку так же, как из-под нее выбегала на берег вереница деревьев. Когда идешь вдоль реки в Годстоу, то возле деревни Бинзи видишь их — оплаканных Джерардом Мэнли Хопкинсом. Их срубили при нем до основания, «нянек сумрака», всю их «полюю клеть», хотя трудно вообразить, что те огромные, что стоят сейчас, это новые, высаженные на том же месте. Мимо старых 4 июля 1862 года проплыла часа в три пополудни лодка с оксфордским математиком Доджсоном, его другом Даквортом в соломенных шляпах и белых фланелевых брюках и тремя девочками в белых платьях, высоких носках и черных туфельках, Иной, Алисой и Эдит. Дакворт был загребным, Алиса — за рулевого. У шлюза в Годстоу они высадились на берег, попили чаю и в восемь вечера вернулись домой. За это время Доджсон экспромтом рассказал девочкам историю, до нас дошедшую под названием «Алиса в стране чудес», — и превратился в Льюиса Кэрролла. Когда они пили чай, перед ними лежали развалины монастыря, на которые удостоился посмотреть и я. Сейчас его каменный каркас покрывало множество однообразных надписей типа «Боб и Сью были здесь», но знаменит он тем, что в XII веке «здесь была» Прекрасная Розамунда. Она жила неподалеку, в доме своего отца лорда Клиффорда, была, как сказано, прекрасна лицом, телом, сердцем и умом, встретила короля Генриха II и стала его возлюбленной. Он построил для нее дворец-лабиринт, чтобы защитить от преследований своей жены Альеноры. Как попасть в комнату Розамунды, не знал никто, кроме единственного слуги, которого король каждый раз привозил с собой. Но для Альеноры, которая была и много старше мужа, и уже побывала женой другого короля, а этому родила трех, включая Ричарда Львиное Сердце, мятежных сыновей и всех их на отца натравливала, добраться до соперницы — и отравить ее — представляло меньше труда. Этот оперный сюжет с безутешным Генрихом и сомнительными чудесами на могиле его любовницы я рассказываю, только чтобы заметить, что Доджсону было по каким лабиринтам пускать Алису Лиддел.

Идя по их маршруту, я ловил себя на том, что если встречу его, то первым делом скажу, что и он когда-то ходил по моим — в Петербурге, куда он, никогда острова Британия не покидавший, вдруг явился. Английскими буквами он записал тогда в дневнике, как торговался с извозчиком: — «Гостоница Клее.— Три грошен (три грошен=тридцать копеек).— Доатцат копеки? — (Негодующе:) Тритцат! — (Решительно:) Доатцат.— (Смягчаясь:) Доатцат пайт.— Доатцат (и делаю вид, что ухожу; дрожки догоняют; я — угрожающе:) Доатцат? — (С восхитительной ухмылкой:) Да! Да! Доатцат...» Извозчик, конечно, сказал:

три гривенника, а не три грошен, и, возможно, несмотря на восхитительную ухмылку, он был выжига, но совсем другого сорта, чем его правнук по цеху — по-польский шофер, который возил Берлина в 1945 году. «Шофер (Берлин выговаривал по-французски — chauffeur) британского посольства, конечно, был агент ГПУ. Никакого сомнения, чем он был. Когда я ехал в автомобиле, он сказал: “А вот, вот и машина хозяина”. Хозяин был Берия. Это уж было совсем — даже не скрывали.

— Где он вам показал эту машину?

— Перед собой, когда он ехал. “Вот та машина. Это машина хозяина”. Показал мне... Когда я пошел видеть своих родственников, то он сидел в том же поезде, в этом — как по-русски *underground*?

— Метро.

—...метро. Он там сидел».

В самом деле — довольно противоестественная функция шофера: сопровождать своего пассажира, клиента, в какой-то степени даже господина — когда он пользуется вовсе другим видом транспорта. В России того времени, однако, ничего необычного в такой дополнительности профессий не замечали. Чтобы понять, как это ненормально и абсурдно, нужно было иметь образ для сравнения: петербургского извозчика прошлого века — или нынешнего оксфордского таксиста, вроде того краснолицего балагура, что, везя меня к церкви, всю дорогу веселил рассказами о теще, а доехав, отпартовал по радиотелефону: «Canterbury Road, Russian Greek Istanbul Turkish Orthodox Church!» — Кентербери Роуд, Русская Греческая Стамбульская Турецкая Православная Церковь. У Берлина в памяти были тот и другой. Впрочем, и меня посетило чувство нереальности происходящего, когда в Годстоу на постоялом дворе «Форель», куда я зашел перекусить, со мной заговорил местный художник, представил своих спутниц, которые оказались его первой женой и его второй женой, а затем представился сам: «Такой-то. Марксист. Последний марксист Великобритании, а возможно, и Вселенной». Он стал с ходу наскакивать на меня: допускаю ли я, что позволительно трудиться на другого, что на свете есть такие деньги, за которые этот другой может купить его труд? При всей эксцентричности, при всем юморе, фирменно английском, не говоря уже о неопровергаемой логике, фирменно тоталитарной, это был чистый абсурд. Я готов был объяснить его тем, что место порождает коллизию, — но мне тоже было с кем сравнивать этого единомышленника советского политбюро.

Что бросалось в глаза общего между Россией, из которой Исаяя уехал, и Оксфордом, в котором оказался, это слякоть и эмигранты. Дорожки, протоптанные вдоль рек и через луга, начинали чавкать под ногами и забрызгивать обувь жижей после очередного дождя, а внеочередных в Англии, как известно, нет, так что осенью и зимой времени просыхать у них почти не случалось. Всякая прогулка новым, не хоженным еще маршрутом обязательно выводила на берега грязноватые, глухо и грубо заросшие, хотя все-таки с отчетливой тропинкой. По ней, через неожиданный и ничей яблоневый сад с валяющимися на земле яблоками, в конце концов попадаешь на какой-нибудь гребной клуб или какую-нибудь, пусть францисканскую, церковь, стоящие на добропорядочной городской улице, на которой твои заляпаные башмаки выглядят ни разу с Москвы не чищенными.

Русские эмигранты, немногочисленные, брали густотой атмосферы, органически вокруг себя нагнетаемой. Бывший известный балетмейстер подписал хороший контракт, купил в Оксфорде дом. Мы столкнулись на улице, как-то опознали друг друга, он пригласил в гости. Он жил с подругой, тоже из России, но уже прошедшей Израиль и Штаты. Им нравилось материться, мы перекидывались историями, анекдотами, потягивали из стаканов кто что хотел. Хозяин,

похоже, пил уже профессионально. Вскоре помрачнел, заговорил об уехавших на Запад: «Здесь они со мной на “ты”, а там в пояс кланялись». Подруга сказала: «Вот и погано, что кланялись». Он хохотнул: «Там все, а здесь одна ты». Но про кого бы ни заходил разговор, хвалил щедро и убежденно: «прекрасный танцовщик», «прекрасный артист» — о Годунове, Васильеве, Панове. Подруга с обидой рассказывала: «Я тут позвонила одной, с Бродским знакома, говорю: давай я тебе моего, а ты мне своего, то есть пообщаться. Она: кого *ты* мне и кого *я* тебе! — мол, несправедливо». Потом, ткнув в «своего»: «У него жена — стукачка. Певица. Золото скупает — вот и вся песня. А сын, приехал сюда с ракеткой, показать, что бездельник; я говорю: пойдём в музей, пойдём в Коvent Гарден, пойдём колледж присмотрим на будущее — а он: пойдём лучше пепси пить, а ещё лучше пиво». Перешла на «баб», как они *маэстро* проходу не дают, приезжают, лезут в постель. «Из-за одной днем не поспал, а ему вечером в “Ромео” папу Капулетти танцевать, полтора всего вращения, ну и спотыкнулся». Он сказал: «Всё правда. В общем, жизнь артиста, или вырождение шалашинства».

В среде русских, приезжавших на время, по приглашению, все равно — университета или частному, действовал некий постоянный процент нацеленных на то, чтобы последовательно: подработать — найти жильё — остаться. Их — за то, что они из «несчастной России», — жалели, они эту жалость поощряли. Для тех, кому задержаться удавалось, наступал — чтобы продолжиться до могилы — следующий период, случайно, но толково сформулированный пьяноватым индусом в лавочке на Роуз Хилл: «Мы все скоро заговорим на одном языке». Как-то раз за кофе в Коммон-рум я спросил соседа, верно ли мое наблюдение, что англичане любят, когда иностранец плохо говорит по-английски, это подтверждает их убежденность, что он дурак в силу того, что иностранец. Ответ был: «Англичане не любят выглядеть правильными. Один чех мне сказал: “Здесь нормальная жизнь”. Никогда не говорите это англичанину, ему это обидно». И дополнил рассказом о двух бежавших в Англию от Гитлера евреях: через несколько времени декан говорит одному: «У вас ужасный акцент, но прекрасный английский язык», — а другому: «У вас прекрасный акцент, но ужасный английский язык». Я сказал, что на днях стригся у старого еврея-парикмахера, и он спросил меня: «Можете вы припомнить месяц, за который у вас не было бы двадцати семи несчастий?» — как в Одессе, но «на прекрасном английском языке и с прекрасным акцентом». Мой собеседник вспомнил чеховского Епиходова, «двадцать два несчастья», и — через Чехова — Ибсена. И засмеялся: «Кстати, мой отец считал, что Ибсен — русский».

Берлин, двенадцати лет поступивший в школу в Сурбитоне, а тринадцати в Сент-Пол, от унижающей языковой неполноценности был избавлен и мог только как анекдот вспоминать путешествия присных своего деда за границу, бормочущих в окошко кассира магическую абракадабру: «Доннэ-муа ун буллет трозьем класс». Но к неизбежным испытывал естественное сочувствие. Меня попросили прочесть лекцию в Лондонском университете, и он пришел послушать. Народу оказалось больше, чем я ожидал, я чувствовал себя напряженно и по-английски не столько «говорил», сколько «переводил» — фразы приходили в голову сперва по-русски, очень неуютное ощущение. Встретив меня назавтра в Колледже, Исаяя сказал: «Не выдумывайте, английский как английский. К тому же ваша лекция имела два достоинства: она была короткой, и она была вразумительной. Обычно я засыпаю».

В тот год у себя в Колледже — да и вообще везде, где узнавали, что я из России, — я был, как бывает «прислуга за всё», *русским за всё*. Что бы ни происходило в Москве, любое высказывание Горбачева или Ельцина, действия Государственного банка, митинг протеста и митинг в поддержку — за всё спрашивали с меня, как если бы я знал больше, чем сообщалось в газете, как если бы я чуть ли

не участвовал в этом. Я действительно знал больше, и я действительно чуть ли не участвовал, но взяться объяснять что к чему, было все равно, что корове взяться объяснять лошадам коровьи дела. Рассказывая археологине из Дарема, замечательной ученой, умнице, проницательной, о поэтах-профессионалах и поэтах-дилетантах, я привел как пример первых Пушкина и замешкался на вторых, потому что хотел назвать Тютчева, но он ей, вероятней всего, был неизвестен,— и она, помогая, откликнулась: «Евтушенко?» В некотором смысле моя неадекватность, неидентичность себе *там* была принципиальная и неисправимая. Через месяц после моего приезда в Оксфорд Берлин спросил: «Ну как вам наш Олл Соулс?» Я ответил: «Все-таки немного уксусный»,— и он сразу отошел: «Я понимаю».

С ним всё, что касается России, Тютчева и не Тютчева, было понятно с полуслова. Точнее, всё, что с полуслова понятно в определенном кругу в России, было и с ним. Разумеется, он был оксфордец, а из-за своей известности — супер-оксфордец, городская достопримечательность, но мне никак не удавалось не видеть в нем русского, *попавшего* туда. Больше того, он казался мне *наложенным* на эту местность — как в кино, когда кадры с героем, снятым в павильоне, накладывают на пленку с общим видом.

Глава VI

Словом, он казался одновременно вписанным в кадр и независимым от кадра. Как от состояния атмосферы или времени дня. В Англии нет погоды, есть климат — это общее место. Ветер, всегда дующий в том или другом направлении через остров,— всегда морской, если не океанский, и за неимением на суше кораблей он налегает на борт междугороднего автобуса, так что его качает, как на волне. Как волна, окатывает его ливень. После холодного сильного дождя — синее небо и солнце; после холодного сильного дождя — пронизывающий ветер. Солнце, мягкая погода, интенсивно голубой, как покрашенный, воздух — «голубой от выпотевания», по таинственному замечанию дамы на автобусной остановке. «Солнечно безоблачно; солнечно с облаками» — это состояние дня, словно бы списанное с циферблата барометра, к которому когда-то забыли прикрепить стрелку. Погода — дело личной установки: этот дождик — дождь или конденсирующийся таким образом туман? Минус три — это ведь для мистера Цельсия минус, а для нас из Иффли Вилледж — как раз чтобы надеть легкую футболку. Чтобы надеть легкую футболку, сесть в одиночку распашную, застряпать у шлюза, покричать мне, идущему вдоль берега в зимней куртке, и, сдерживая легкую дрожь, перекидываться со мной шутками, пока я этот шлюз вручную воротом поднимаю. Или: холодный ветер — но ведь прозрачная весна и так красиво, что не так уж и холодно. Все участники той экспедиции с Льюисом Кэрроллом вспоминали позднее, что день был теплым и солнечным, но нынешние кэрроллоеды подняли старые газеты, где черным по белому оказалось написано, что с утра до вечера шел сильный дождь и дул холодный ветер. И что с того: для местных жителей противоречия нет.

Всему этому противостоит — человек. Не ненастью и зиме, а всему: теплу, как ветру; сиянию солнца, как простыням ливня. Всему *вместе, в целом*: не ровной, как в Калифорнии, небесной лазури, не ровным, как в Петербурге, мрачным сумеркам, а сразу всей предусмотренной Богом для людей погоды. На коротком пути от автобуса до ворот Колледжа дождь, ливший уже несколько суток, прекратился в одно мгновение, как будто выключили, и когда я вошел во двор, то на фоне еще падавших с крыши последних струй и капель черный чистый скворец чистым желтым клювом клевал чистого перламутрового червя на чистой свежей траве: клюнет и осмотрится по сторонам. И я не

знал, делал ли он это еще под дождем, или начал немедленно, как дождь кончился.

Именно так противостоит человек климату. Оперение, обеспечивающее его независимость от погоды, шарф и перчатки — это обязательный набор. А также плащ, шляпа, калоши и зонт — факультативно. Таков костюм, таковы доспехи, наряд, униформа, таков человек — таков Исайя Берлин, каким я встречал его на улицах города. Однажды солнечным вечером, без единого из этих предметов, я пришел к нему — через два часа, когда уходил, была буря. Он дал мне свой зонт, «на память», подарил. Дома я обнаружил на нем серебряное кольцо с гравировкой «Исайя Берлин»: теперь всем, кто это замечал, я должен был объяснять, что зонт не украден, а подарен владельцем. Вскоре он у меня пропал, в Москве, в издательстве — кто-нибудь менее щепетильный прихватил с собой. Но до этого мой приятель, почитавший Берлина безгранично, долго с благоговением вертел зонтик в руках и, понемногу разочаровываясь оттого, что ничего исключительного в нем не находит, сказал: «Возможно, внутри золотой стержень — как ты думаешь?» Ну хотелось ему — и я его понимаю, — чтобы Берлина что-то отличало от других: от зрителей гребной гонки, под такими же зонтами стоящих вдоль воды, от гребцов в майках клуба, одинаково серых под дождем, от уток у берега, которые, если ныряют одновременно две, непонятно, какая где выныривает.

За те двенадцать месяцев, что я в общей сложности провел в Оксфорде, дела в России шли хуже некуда. Началось с путча. Через неделю после его более или менее благополучного завершения я встретил на Бомонт Дмитрия Дмитриевича Оболенского, который рассказал, что как член Московского конгресса византологов был за два дня до событий принят будущим главным мятежником, а тогда вице-президентом государства Янаевым, извинившимся, что у него мало времени, так как Горбачев уехал в отпуск и «все оставил на меня». Но это уже после провала дело казалось фарсовым, а в момент объявления и развития ни в ком смеха отнюдь не вызывало. А ближе к Новому году в прибалтийских республиках стали обнародовать списки завербованных КГБ доносчиков, и среди них оказался наш давний знакомый, интеллигент и антисоветчик, «про которого в последнюю очередь можно было подумать, что он...». Бродский по телефону сказал мне, что написал ему: мол, чего с людьми не случается, плюньте. Еще мы поговорили о намерении коммунистов переименовать Россию обратно в СССР — он прокомментировал: «А чего вы хотите — будущее есть прошлое». Через месяц позвонил друг, просидевший при Брежневе пять лет плюс два года ссылки за издание «Хроники текущих событий», заговорил об архивах КГБ, которые тогда урезанно и на короткое время открывались, и упомянул кстати, что открытка Бродского, — дескать, крепись — опубликована в газете, прибавив: «А он и так крепок — как говорили в тюрьме, *как пидор*».

Я собрался слетать в Ленинград навестить маму. Владимир Буковский спросил, а где я вообще думаю дальше жить, и, услышав, что вернусь в Москву, сказал насмешливо: «Я лучше тебя умею жить в России, а и мне там делать нечего. Интеллигенция чувствует себя, как на пересылке: кто-то спит под столом; ужасно; потом будет лучше. А потом будет еще хуже. Нечего тебе объедать людей, там и так всего мало». Разговор происходил у него в Кембридже за роскошным ужином, который он сам приготовил. Накануне полета, за ланчем, член Колледжа, побывавший в Сербии, рассказывал, что сербы говорят: «А где это, Хорватия?» Перейдя из столовой в Коммон-рум, я узнал из газет о захвате общежития Института инженеров железнодорожного транспорта ингушами, о грядущем в ближайшие десять дней на Москву голоде, о минус шестнадцати по Цельсию (это сообщала пунктуальная «Интернэшнл геральд трибюн»), о рубле, равном одному американскому центу. Все это я прочел, попивая кофе, поде-

лился с Исайей, он ответил просто: «Оставайтесь, не поезжайте». Я слетал, вернулся, снова пил кофе с коричневым сахаром в том же кресле у окна и читал в «Таймс», что вчера на Ленинградской атомной электростанции случился радиоактивный выброс. В эту минуту экс-феллоу Батлер спросил меня: «Это правда, что Ленинград был более либеральным, чем Москва?» Я ответил: «От времени до времени. Но не в то время, когда я там жил», — под общий хохот, который мое буквальное описание обстановки не имело в виду вызвать.

За Хай-Тэйбл зашел разговор о вчерашнем телевизионном фильме, подававшем англо-германские отношения, исторически конфликтные, без оглядки на сиюминутное союзничество и демонстрируемое миролюбие. Я сказал: «Оттого, что вы думаете, что вы живете на острове...» И немедленно был встречен ожидаемым: «Мы думаем, и мы живем на острове». В другой раз мой сосед на тему о политизированности Оксфорда обронил, что за последние пятьдесят лет не помнит ни одного премьер-министра из Кембриджа... Берлин, живя внутри этой неизбежности, более того, естественным образом построив на ней жизнь, не стал ни плоть от ее плоти, ни кость от кости. Он выставлял против нее все те же орудия здравого смысла, поставленные на лафеты человеческой природы, которую взаимодействие прочности и слабостей и делает человеческой. Он защищал устойчивость — и обожал ее опровержения. Добротному четырнадцатому и так далее веку в галерее Крайст Черч, его вневременному Лугу, дорожкам, *всегда и неизбежно* приводящим к Модлен, к *всегда и неизбежно* прекрасному парку, оленям, речке, внутренним дворикам и химерам на стенах, он с удовольствием мог противопоставить толпу выпивших студентов, в поздний час, в будний день разливающуюся по Вудсток и Брод, а ей, в свою очередь, — себя, напившегося единственный раз в жизни, тоже студентом, компоту с алкоголем, всех толкавшего и длинно, но безукоризненно объяснявшего, что не владеет телом. Юный джентльмен в ослепительно белой рубашке и ярком жилете под формальным строгим пиджаком, сидевший в кафе, куда Исайя пригласил нас с женой позавтракать, в компании таковых же, сплошь окосевших, с девицами на коленях, с цилиндрическими пинтами пива и громкими голосами, мог навести его на тему Ротшильдов, чей очередной отпрыск только что провалился на экзаменах в Водхеме и в интервью местной газете сказал, что попал в колледж как обыкновенный студент, а не на папины деньги, а то, что папа передал сто тысяч фунтов именно Водхему — случайное совпадение.

И когда он рассказывал мне о своем старшем друге меньшевике Рахмилевиче, ходившем в Британский музей, чтобы прочесть там все, что можно, и очень хорошо знавшем музыку, и учившемся в трех немецких университетах, а потом возвращавшемся в Ригу и вместе с другими образованными евреями рассказывавшем про Второй Интернационал сидящим на бревнах рабочим, — перед моими глазами неожиданно встала другая сцена, зимнего оксфордского дня, когда мы столкнулись на Карфакс, где у дверей банка Ллойдс двое шотландцев играли на волынке и барабане, волыщик в юбочке, пилоточке, башмаках с серебряными пряжками, барабанщик более обыкновенный, и тут же подгрребла местная пьянь, один в цилиндре, без зубов многих, с собаками, другой — с пивом, две банки поставил у ног музыкантов, и еще один в одиночку подтанцовывал, и Исайя смотрел на них, как мужик на тех бородатых евреев и одновременно еврей на тех мужиков.

Он мог сказать, просто по-человечески, «оставайтесь, не поезжайте» — услышав о конкретных угрозах, ожидающих человека в России; но он никогда не смотрел на Россию как наблюдатель. Он не мог спросить, в Москве или в Ленинграде была либеральнее жизнь, потому что знал эту *либеральность* не с чужих слов и, может быть, единственный в Оксфорде, в Англии, в Европе, на Западе из либералов знал, почему это понятие ни с какой стороны и ни в какой дозе не-

применимо к советскому режиму. Нельзя представить его интересующимся чьи-то мнениями о новом лидере, президенте, секретаре партии, просто политике, вышедшем на передний план, потому что видел их вживе, получал из первых рук, из их собственных. Не важно, что это было в 1945 году или 56-м, а не 91-м, что это были Каганович или Сталин, а не Брежнев, или Андропов, или Зюганов: порода — все равно чья, носорогов или шакалов — не меняется в зависимости от времени и индивидуального помета. Важен скорее кругозор естествоиспытателя. «Я видел перед собой огромного еврея, такого мужицкого еврея. Он был очень похож на известных тред-юнионистов в Америке. Которые вели рабочих. Большой грубой еврей, который — просто, понимаете, силач, который занимается такими вещами. Бандит. Мог быть бандитом, мог быть на стороне правительства, мог быть против. Я видел большого толстого высокого еврея, очень грубого вида — с которым я разговаривал. Он оказался Кагановичем, но я не видел советского комиссара. Хам, я видел: хам. Я знал, кто он, конечно...

— А думали вы так: ну ладно, ты мне рассказывай, что ты член Политбюро ЦК, но я-то вижу в тебе человека, который мог работать на моего отца в Одессе, например?

— О да. Прекрасно, да. Он был слишком грубой, но это человек, который мог быть бандитом, мог быть злодеем. Мог быть всем. Знал, что он делает, умный, крепкий, и делал, что ему угодно. Он не был для меня советским комиссаром: то, что он был советский царедворец, это меня не касалось. Про Сталина я тоже так думаю: для меня он тоже не был советским человеком. Просто тиран, грузинский тиран. То, как его назвал когда-то Бен-Гурион — из-за этого плохо вышло Израилю,— он просто назвал его: грузинский хам. Согласитесь, это было бестактно. В Болгарии он это сказал.

— Это было уже после смерти Сталина?

— До.

— До?!

— О да! Много до. Возобновилась эта антипатия к Израилю, возросла после этого. Кто-то сказал: что вы думаете о Сталине? “Хам грузини”: по-еврейски, грузинский хам. Что он делал в Болгарии, понятия не имею. Кто-то ему поставил этот вопрос.

— А Болгария была уже наша?

— М-м-м... должна была быть. Но могла *не* быть».

Я прочитал в Оксфорде «Счастливую Москву» Андрея Платонова, опубликованный через сорок лет после смерти писателя роман, в котором эта реальность, грубая и жестокая, но именно в этой грубости и жестокости остающаяся трогательной, только еще побеждала: в людях — и через людей — молодых, потому что молодости все равно, чем она наполняется. Русские люди 20—30-х годов: так и так умирать, а Бога нет, будем умирать ради идеи. Они говорили в манере «Отче наш» и древних апостолов: не дай места лукавому демону обладать мной через насилие над этим смертным телом; язык — небольшой член, но много делает — наивная мудрость, мудрая наивность лексикона, на котором не объяснить слова «либеральность».

Это и есть тютчевское «Россию не понять», которое за последние почти полтора столетия только немой не декламировал и только ленивый не пересмеивал. Мы с приятелем вспоминали, что значил для нас, двадцатилетних ленинградцев, экзистенциализм, когда главное был импульс и живой опыт середины века, а препарированию европейских идей попросту не находилось места, отчего и то, что пришло ему на смену в Европе и что в России, так разительно отличалось одно от другого,— вспоминали и признавались друг другу, что странно и неуклюже на узких улочках, поднимающихся к Роуз Хилл, где зашла о нем речь, звучит само слово «экзистенциализм» по-русски: так неловко и нелепо, что даже

немного стыдно его здесь произносить. Общий, понятный и нам, и им язык был газетный, телевизорный, так что знакомому библиотекарю в Тейлориан, спросившему о моей жене и дочери: «Что вы сделали, что эти леди преследуют вас?» — я ответил: «Это два агента КГБ», — к удовольствию обеих сторон.

Ни чьему принижению, ни чьему возвышению это положение вещей не служило. Умение выжить в «религиозном и политическом бреде» России, как говорил, эмигрируя после революции, друг Ахматовой, не имеет преимуществ перед удовольствием от «покойной английской цивилизации разума», на которую он этот бред сменил. Весной 1992-го все газеты на все лады обсуждали, как инструктор тренировочных полетов, находясь в воздухе, поймал радио-SOS с двухместного частного самолета, за рулем которого умер пилот, и его зять 24-х лет, не умея летать, должен был его посадить — и инструктор помог-таки ему это сделать, в Кардиффе. Но ровно за полвека до этого гитлеровский генерал Гудериан был абсолютно ошеломлен тем, что русские десантники по причине нехватки парашютов прыгают с низко летящих, «на бреющем полете», военных транспортных самолетов в снег как есть: на ноги, на руки, на спину, на голову. Вот и думай. *Англичанин-мудрец, чтоб работе помочь, изобрел за машиной машину, а наш русский мужик, коль работать невмочь, так затянет родную «Дубину».*

Формально русский язык Берлина временами становился калькой с английского. Но содержательно он мог служить образцом и ориентиром: слова значили ровно то, что в России, интонации были безошибочными, вещи назывались своими именами.

В этом смысле он был уникам даже по критериям его собственных убеждений, грубо говоря, отрицающих возможность по-настоящему верной оценки друг друга иновременными и иностранными культурами и отдельными индивидуумами. Как всякий нормальный человек он пользовался обобщениями типа Павлова: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые», — но на уровне, прежде всего и как правило, бытовом, разговорном, сиюминутном. Как-нибудь частные замечания о немецком или французском *характере* приобретали в его устах звучание скорее *художественное*, образное, и чем ближе оказывались к *суждению*, тем строже он подчеркивал, что это *он* или *мы* так судим о них, исходя из *своих понятий* о понятиях чужих, а вовсе не что-то, что может претендовать на общепризнанность. Однако «русское» и «английское» он знал одинаково, и не одинаково приблизительно, а одинаково точно: не переводил одно в другое, а *выражал* — одно и другое, все равно на каком языке.

Я заговаривал с ним на эту тему: мы не могли найти, как вполне адекватно перевести на русский *right and wrong*, *правильно и неправильно*, а накануне подыскивали разницу между *killing* и *murder*, *убийством* — *лишением жизни и убийством как таковым*. Я сказал: «Но ведь это создает и специфику национальной философии. Так в какой степени, по-вашему, язык диктует?..»

— Это большой вопрос! Это только в двадцатом столетии люди начали об этом говорить. До этого как говорили? Язык — это язык и ничего больше, а теперь заговорили, все эти люди и все эти представители нового толка, что язык диктует. Во Франции, в Италии, в Германии этого не принимают.

— А сами вы считаете, что есть некая авторитарность языка, в пределеходящая до его деспотизма, например?

— Конечно. Если мы думаем известными словами, то мы думаем иначе, чем если бы мы пользовались какими-то другими словами. Поэтому не все переводимо.

— Не все переводимо — и не все думаемо, значит, да?

— Да. Другим способом можно думать, другим языком.

— Бродский — он никогда не признавал разговора о том, что по-русски так любят выразить словами “о, это невыразимо”.

— Да, все выразимо.

— А что невыразимо, того нет, так? Значит, этого нет, по какой-то причине этого нет. Такая позиция заслуживает всяческого уважения, не так ли?

— Да, в этом есть доля... Я думаю, мы думаем словами или думаем образами: без образов и без слов думать нельзя. Это, можно сказать, новая философия, более или менее. Девятнадцатого столетия. Что мы не думаем думами. Мы мыслим не мыслями. Мы мыслим или словами — символами, значит: математические символы, слова; или — как это часто дети и женщины больше делают — образами. Но нету этой единицы, которая называется мысль, которая примерно к чему-то относится как копия. Этого нету.

— Я заметил, читая какие-то ваши вещи, что, в общем, вы с подозрением относитесь к метафоре. Вы стараетесь ее поскорее оборвать, если не вообще исключить.

— Нет, я ничего не имею против.

— Но у вас не один раз натыкаешься на — “впрочем, это метафора”; или: “ну это метафора”...

— Но метафора — это метафора, это зависит от... это не *то само*. Метафора — это значит, вы можете, вы выражаете это каким-то сравнением, сравнение неточно, не может быть...»

Он был хищно внимателен к словоупотреблению: «Что значит — *глубокая* мысль, *глубокий* смысл? Что вы хотели этим сказать? Чем “атлантический циклон” глубже “дождя и ветра”? Чем Фрейд глубже арии Кармен?» Метафора как прием не вызывала у него возражений, он испытывал к ней настороженность, потому что она в любой момент могла стать шулерской картой. Понятия «коллектива», «общества», «цивилизации», «народа» начинались как метафоры, призванные на время облегчить рассуждение — чтобы не разглядывать каждый раз лица и не называть поименно тысячи петь, маш, иван иванычей, объединенных территориально и исторически. Петя, Маша и Иван Иваныч, с которых и *ради* которых рассуждение предпринимается, остаются, имелось в виду по умолчанию, как они есть, а набрасываемый на них сиюминутный брезент метафоры, он — до конца текущей фразы, пассажа, периода. Однако рассуждающему это давало такое удобство, а накрытые так безразлично это принимали, что брезент оставляли еще на пять минут, закрепляли на лишние пять лет, а там уж и загоняли под него в продолжение пяти следующих веков их «потомство» — «народ», «единство», — успевшее лишиться и имен, и лиц. Метафора не *переносила* свойств одной вещи на другую, а *подменяла* одни другими.

В своей контианской лекции 1953 года Берлин говорил о философах — «разгневанных пророках», «рисующих образы мирных, глуповатых людей в трогательной своей простоте с надеждой строящих дома на зеленых склонах, уверенных в неизменности своего образа жизни, своего экономического, общественного и политического порядка, относящихся к своим ценностям так, точно это вечные нормы, живущих, работающих, сражающихся без малейшего понятия о космических процессах, в которых их жизнь есть лишь преходящая стадия». Они — «дураки, мошенники и посредственности, *косная сила*», «их по праву называют мракобесами, злодеями, обскурантами, порочными врагами *глубочайших* интересов человечества». Но склоны оказываются склонами вулкана, он извергается («а философу всегда ясно, что так случится»), все рушится, и философ «наблюдает мировой пожар с дерзкой, почти байронической иронией и презрением». Он торжествует: «низкие, жалкие, нелепые, душные людские муравейники по справедливости стертые в порошок». Философам «разрушительной силы» противостоят философы-оптимисты, они верят, что «счастье, научное знание, добродетель и свобода связаны *нерасторжимой цепью*, а глупость, порок, несправедливость и несчастье суть формы болезни, которая навсегда ис-

чезнет благодаря прогрессу науки». Они «щедро расточают свою благосклонность всему человечеству». Человеческие «похвала или осуждение для них — проявление невежества: мы таковы, как есть, точно так же, как камни и деревья, пчелы и бобры».

Картина лужайки, которую безмятежные поселяне делят с неотличимыми от них пчелами и бобрами, без натяжки накладывается на пейзаж некоего идиллического, вписанного в реальный, Оксфорда. Философия, точнее сфера, в которой траектории философской мысли сменяют и сталкиваются одна с другой, выглядит, как еще один «Оксфорд», где хорошо оказаться молодому, а потом зрелому, а потом пожилому человеку с таким детством и с такой историей, как у Берлина, — где, если угодно, тоже «уютно болеть». Это не Москва, превращающая Ольшанского в доносителя на содержании карательной системы, с психикой, изуродованной принятием такого положения вещей как нормы; и не Афины, приговаривающие Сократа к смерти за несоблюдение общепринятой, ни у кого не вызывающей сомнения в своей нормальности нормы. Это сфера и вся обстановка внутри нее хороша и уютна для любого, в ком есть склонность к такого рода думанью, сопоставлению, подытоживанию, словом, философствованию, но в случае Берлина у нее было и специфическое предназначение. В отличие от философов или историков философской мысли, в системе мышления которых жизнь значима прежде всего, а чаще исключительно, как опытный полигон философии, Берлин, о чем бы ни думал, о детерминизме или двух видах свободы, о политике или литературе, о средневековье или капитализме, о комфорте или крайностях, он исходил из безусловного приоритета живой жизни перед мыслью. Его умозаключения могли излагаться в академической манере в собрании благодушных или, все равно, язвительных оксфордских донов в мантиях, в кругу интеллектуалов в свитерах, звезд в декольте и смокингах, но ни один поворот его рассуждений не упускал из виду и другую аудиторию, тех, без опыта чьей жизни эти рассуждения были бы необязательной игрой ума. Гонимых евреев. Угнетенных русских. Не только не упускал, но и ни на минуту не забывал, что прежде всего им, а не массе прочитанного обязан своим возникновением. Берлин не примерялся к ним, а был ими — и инстинктом, и сознательно. Гонимый еврей и угнетенный русский — не татуировки, которые можно изгладить специальным аппаратом времени, это органическая ткань, кровь, врожденная психика, даже если ты рыцарь Короны, пэр Англии и на практике никогда не был ни гоним, ни угнетен. Философия — удобное место обитания, но без красного помоста может в самом деле превратиться в золоченую клетку.

Мои израильские приятели готовили большой симпозиум на тему «Россия и Библия» и попросили меня узнать у Берлина, к кому он посоветует обратиться за денежной поддержкой. Он привычными жестами вытащил из внутреннего кармана пиджака записную книжку, поднял на лоб очки: «Записывайте», — и продиктовал три имени и телефона. «Исайя, — острил, не без восхищения, другой приглашенный стипендиат Колледжа, мой сосед по дому в Иффли, толстый, шумный, веселый историк из Нью-Йорка, — Исайя — крестный отец Олл Соулс!» — имея в виду власть и влияние главы «семьи» в итальянской Коза Ностра. И технический штат Олл Соулс с удовольствием повторял за ним эти слова, отчасти — беззлобно поддевая знаменитого «феллоу» своего Колледжа, отчасти — гордясь, что такой человек у них в «крестных отцах». А однажды после кофе, за которым мы перекинулись с Берлиным несколькими фразами, меня остановил в коридоре пожилой политолог из Калифорнии, захавший в Оксфорд, специально чтобы с ним повидаться: «Вы знаете Исайю?» — Да. — «А Маршала Козна из Америки?» — Нет. — «Но он тоже его знает». Дескать, и вы должны: все знающие Берлина должны знать друг друга — как все подданные, к примеру,

султана Брунея, или кавалеры одного ордена, или хотя бы все совершившие хадж к Каабе.

И во всем этом, так же как в образе жизни состоятельного человека, так же как в ее убедительном благополучии, все-таки трепетала жилка принадлежности к хрупкому, одинаково, что в гранитном особняке, что в деревянном бараке, не защищенному ни от одного несчастья человеческого роду. Этот трепет был в той же степени вызван знанием о мире и об ужасе происходящего в нем, но не лично с тобой, а с таким же, как ты,— что и ввевшейся в кровь и плоть детской памятью о непосредственном опыте первых дюжины лет жизни: революционном бунте, переездах с места на место, обысках, зимних холодах, бегстве. Покупая к Новому году подарки, я два часа переходил из магазина в магазин, прибавил к ним на рынке какие-то деликатесы, вышел на Хай-стрит в рождественских огнях, увидел нагоняющий меня автобус моего маршрута, побежал — и чуть не пробежал мимо жены и дочери: они с испугом окликнули меня, и я тоже неизвестно чего испугался. И тотчас мне показалось почему-то, что это в России, что этот испуг оттуда, там он повседневно — и там побеждается повседневно привычки к нему, а здесь устроенностью быта, блеском витрин, праздничностью. Через несколько дней я вспомнил об этом в разговоре с Исайей, он сказал: «Мне это хорошо знакомо, я тоже такой, именно “неизвестно чего” и можно испугаться». И в другой раз: «Я некоторые решительные вещи говорю или делаю из трусости трусости, трушу того, что я трус и поэтому соглашусь, не возражу на то, что мне претит,— и возражаю».

Его знаменитая, годами обсуждавшаяся лекция 1958 года о двух концепциях свободы звучит для читателя из России как прежде всего ему адресованный рассказ о том, что человек умом знает о своей душе: умом, воспитанным в оксфордской колыбели и отточенным в оксфордских мастерских мысли,— о душе, на которой грубая, жестокая и, повторю, в этой грубости и жестокости пронзительно трогательная реальность неукротимой русской народной воли и такой же равной ей боли оттиснула свой неизгладимый узор. Нас не покидает впечатление, что когда Берлин, присоединяясь к беседе авторитетов западной философии, говорит о свободе, которую называет *негативной*, не ограничивающей желанием одних людей желания других, и *позитивной*, состоящей в том, что каждый сам себе господин; когда он наглядно показывает мнимость близости, не говоря уж — тождественности этих двух концепций свободы: первой — предполагающей взаимное признание чужих интересов членами того или иного сообщества, необходимо поступающим ради этого своей свободой, и второй — допускающей навязывание своей воли другим и тем самым угнетение их свободы; когда ссылается на решимость и готовность людей жертвовать конкретно, практически: Белинского, соглашающегося отказаться от собственной свободы, чтобы быть с «братьями», с теми, кто вынужден оставаться «в нищете, убожестве, в цепях», или Герцена, разрушившего свою карьеру и личное счастье непобедимым стремлением к свободе и в то же время признававшего, что большинство людей, в особенности в его стране, предпочитают свободе обеспечивающее им сносную жизнь подчинение, если не рабство; когда исследует истоки тирании и террора в связи с концепцией «общечеловеческого» счастья и цитирует большевика Бухарина, «любимца партии», через полтора десятилетия после этой вдохновенной исповеди коммунистической веры расстрелянного: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, от казней до принудительного труда, является, как бы парадоксально это ни звучало, методом формирования коммунистического человечества из человеческого материала капиталистического периода», — то все это делает человек, семилетним мальчиком прочитавший в газете известие об убийстве Распутина, трепетавший от ужаса, когда Шаляпин в «Борисе Годунове» видел призрак убитого царевича Дмитрия, наблюдавший,

как улицы заполнялись воодушевленным народом, на глазах становившимся безликой толпой, как гурьба подростков уводила на расправу городского, как отец жег бумаги, оставшиеся в разграбленной конторе, как останавливалась жизнь, исчезали пища, дрова, исчезали — кто на время, кто навсегда — знакомые люди. Сквозь «Айзайа Берлин», по-русски Исайя Берлин, всегда проступало имя Исайя Менделевич, в детстве Шая, русские «ш», «а», «я».

«— В Петрограде мы жили на Васильевском острове. В начале.

— Вы помните где?

— В школе я не был... Да. На Двадцать Второй линии.

— Это ближе к Гавани уже.

— Н-ну д-да. Недалеко. Там был дом, где наверху делали мозаику. Были осколки мозаики везде.

— Вы не помните, какой проспект: Большой, Средний, Малый?

— Сейчас скажу... м-м-м... нет, Средний, по-моему.

— А вы потом приезжали туда или нет?

— Большой... Средний... Малый... Средний, Средний. Между Средним и Малым.

— Вы потом видели свой дом когда-нибудь?

— Видел.

— В сороковые годы?

— В пятидесятые. В пятьдесят шестом году.

— Вы специально ездили туда?

— Ездил. Я приехал в Ленинград на три дня. Дом остался, как он был. В самом низу жили какие-то жильцы — не те евреи, которые говорили: “Тут чинят шамовары”. Через “ша”. Понимаете — образ жизни. Единственная вещь, которую я помню первую, — это то, что я научился сам читать по-русски, по кубикам. Потом первая вещь, которую я помню в газете, — это была война, это я запомнил, это ничего для меня не означало, а потом смерть Распутина. В конце шестнадцатого года. Это я хорошо помню: большая такая штука над газетой — “Убит Распутин”, “Распутин убит”, “Нет Распутина”.

Потом — пришел семнадцатый год. В феврале семнадцатого года мне было не совсем восемь лет. Мой отец меня разбудил, попросил пойти на балкон. Потому что там довольно интересно. Внизу ходила какая-то толпа с разными, знаете, флагами, стягами — на которых стояло “Земля и воля”, “Долой царя”, “Вся власть — забыл, как Дума называлась, “политическая” Дума или “правлящая” — Думе”, во всяком случае.

— Государственной.

— Верно: Государственной Думе, да. Что еще? “Долой войну”. Они ходили туда и назад, и люди все эти флаги видали — вдруг: я вижу какие-то солдаты, на углу. Мой отец сказал: “Идем, идем. Тут будет резня. Неприятности. Ужасные вещи будут. В них будут стрелять”. Ничего подобного: они — братались, с этой толпой. Мой отец сказал: “Ах так?! Началась революция”. Мать была очень рада. Вся еврейская либеральная буржуазная среда, они аплодировали *этой* революции. Керенский произносил эти свои замечательные речи, потом мои тетки и дяди все ходили — у моего отца было пять братьев, — они ходили на все эти манифестации и так далее, и был большой азарт.

В школе я практически никогда не был. У меня было двое учителей: один русский, а другой был такой сионистский студент, он меня учил древнееврейскому языку. Не так уж досконально. Но я это забыл главным образом. Библию я прочел. То есть не всю — не всю Библию, только Пятикнижие. У моего отца были и христианские друзья, были русские православные друзья, иногда заходили в гости.

А после Старой Руссы, после лета, в Петербурге — Учредительное собрание. Было двадцать пять партий. Включая сионистскую партию. Что сионисты хотели сделать с Россией, было неясно. Но они были партией тоже. А потом я увидел молодых людей, которые срывали все эти афиши и кляли на это серп и молот. Мне это очень понравилось. Я сказал моему отцу: ему это *не* понравилось.

— А это были наклеенные листовки партий?

— Да. Всех. Двадцать три партии. Невероятное количество. Невероятное число партий... Потом что случилось? Так мы сидели, обысков у нас не было, никого не арестовали. Потом... да! Вторую революцию я помню прекрасно: никто не знал, что она случилась. Единственное, что случилось,— это то, что в доме нет лифта. Потом — нету лавки у подъезда. Газеты исчезли. Трамваи остановились. Это была забастовка против большевиков. В Краткой истории Коммунистической партии вы этого не найдете. Потому что они были меньшевики, главным образом,— профсоюзы. Не были большевиками. Долго это не продолжалось — три-четыре-пять дней. Там была газета, которая называлась “День”, знаменитая либеральная газета. Она исчезла и потом называлась “Вечер”. Потом она называлась “Ночь”. Потом “Полночь”. Потом “Глухая ночь”. Потом перестала быть. Это я помню.

Мой отец занимался как обычно, продавал железной дороге дрова — это продолжалось под царем, под обеими революциями, ничего такого особенного не было.

— Я думал, он строевой лес поставлял.

— Нет. Нет, нет. Главным образом то, что лежит на рельсах.

— Шпалы.

— Шпалы... Потом, я не знаю, один день его позвали на Гороховую номер два, там было ЧК, но отпустили оттуда. Он не знал, что там будет, но ничего против него не имели. Потом был обыск. Один обыск был. У нас была девица, которая служила у нас, присматривала за хозяйством, заядлая монархистка. Все наши бриллианты и что там было, она придумала, чтобы мы положили в снег на балконе. Она их выгнала. Они пришли. Она пролетарка. В те времена нельзя было противиться: пролетарская дама. “Вон!” — и ушли вон: тогда обыска не было. Все было нормально. Вернее, чувства были, то есть единственно, что все жили в одной комнате; и не было дров; и не было много пищи. И топтались в бесконечных очередях, в валенках.

— Но в детстве это не очень угнетает.

— Не очень; в детстве менее неприятно.

— Исая, простите, я не понял, эта дама была *не против* вас?

— Нет, нет. Она нам служила. Она была монархистка, и...

— И это она положила какие-то драгоценности в снег?

— Да, да, все сделала она. Лояльный человек. Преданный человек.

— Вы ее судьбу не знаете?

— Нет. Она замужем не была, ей было лет тридцать пять в те годы. Она исчезла. Из нашей жизни.

— Но как-то ухудшалась жизнь?

— Да. Все шло к худшему.

— А когда-нибудь вы испытывали чувство несправедливости — то, о котором пишет Пастернак в “Живаго”, что вот кто-то жил в подвалах, а кто-то в бельэтажах.

— Нет.

— Никакого социального чувства не было?

— Не было. Я только знал, что есть какие-то родственники, которых расстреляли за... как это называлось тогда?

— Спекуляцию, нет?

— Да. Точно...

— А вообще? А впоследствии? Я хочу свести это к Герцену.

— Я не чувствовал, что я живу под страшным режимом.

— Хорошо, отвлечемся от этого. А вообще в вас было, жило в течение вашей жизни чувство несправедливости мироустройства: богатые и бедные — то, что Герцена ранило?

— Да, было. Конечно. Конечно. Конечно.

— А какие-нибудь такие молодые вопросы вы себе задавали, скажем: в чем смысл такого мироустройства?

— Нет, никогда. И теперь не задаю. Нет. Это не вопрос для меня. Для меня не вопрос: какая цель? кто создал это? куда это идет? Потому что это несуществующие вопросы. И позитивизм мой полный в этом отношении. Во мне ни капли метафизики нет, в натуре, в природе моей».

Я не мог отделаться от ощущения, что самое ядро его философской позиции — доверие к непосредственному опыту и опора исключительно на него — как будто сложилось из тех первовпечатлений, из картин реальности, в которых не было мягких, постепенных переходов от белого к черному, от «да» к «нет», а было: добро — зло, жизнь — смерть. Его оценки других философов исходили в первую очередь из того, насколько соблюдается в них *эта* определенность, *такая* ясность, и только потом — насколько искусны они в создании своих систем и доказательстве правоты. Я спросил его, какое место отдает он философии Канта в современном мире, какую роль он сыграл в XX веке.

«— Довольно большую. Его принимали вполне всерьез.

— Серьезнее, чем в девятнадцатом?

— Нет. Нет, нет. Он царствовал в девятнадцатом столетии, даже очень. Он был царем философским этого столетия. Поворотный пункт. Это *его* столетие. Конечно, его откинули разные эмпиристы и реалисты. Но главное то, что это первый философ, который понял, что такое философия. Первый мыслитель, который знал, в чем заключается философия. Люди, как Декарт, или Лейбниц, или Юм даже, Локк, все эти люди думали: в конце концов философия — это познание мира. Знать, что там есть. А он понял, что философия занимается нашим понятием мира, а не миром. Это самое главное. Его теория ведь была, что вот есть законы... он главным образом интересовался естественными науками, и там действительно все эти законы. А откуда они взялись? Как мы знаем, что это законы, строгие законы? Каузальность, причинность. Раньше думали, что есть какой-то здравый смысл, какое-то видение, какая-то интуиция, все что угодно, называлось *reason* — как по-русски *reason*?..

— Разум.

—... разум, есть ум, разум, который видит в натуре, что есть какие-то... как по-русски *necessities*?

— Необходимости.

—...необходимые законы, необходимые отношения между вещами: что то, что вода плывет вниз, а не вверх, это диктуется законами, которые непрерываемы, и что есть в натуре отношения между вещами, не просто вещами, которые вы замечаете, как вот это красное, а... В общем, отношения вещей между собой были или эмпирические: это желтое, это красное, может перемениться; или абсолютные законы, которые держат вещи между собой,— как причинность, как то, что мир — это не вещь. Кант решил, что это не так, что Юм был прав, что мы таких законов не ощущаем, не видим их. Что мы их просто объявляем, не по праву. Где причина? Откуда ты знаешь, что это причина того? Причинность как отношение — не то, что мы глазами, ушами, чем-нибудь другим замечаем. И поэтому мы знаем, мы только видим, как одна вещь около другой, как одна вещь

похожа на другую, одна вещь выше другой, ниже другой. Но что есть какие-то контакты, какие-то связи между вещами, которые неломаемы, этого мы не видим, у нас нету органов, которые дают нам помимо наших five senses, пяти чувств. Кант в том и заключается, что он понял, что это так, что мы смотрим на природу и только видим то, что мы видим, слышим то, что мы слышим, нюхаем то, что мы нюхаем. А вот этих внутренних контактов, которыми ведется весь мир, — мы не можем видеть, откуда они получаются. Откуда мы знаем, что это так? Откуда мы знаем, что в природе есть какие-то законы, которые вечны, которыми занимается физика, химия. Это потому, что мы накладываем на это наши категории. Мы не можем *не* накладывать их, мы не делаем это сознательно, мы бессознательно оперируем этим так, что мир каким-то образом может у нас улечься, потому что мы видим его под известным соусом, мы видим его в известной перспективе. Все эти категории — наши категории, не категории самой природы. Из этого мы получаем так называемый идеализм. Идеализм значит: мир — то, что мы думаем, а не то, что он есть. Гегелев термин. Это произвело огромное впечатление на девятнадцатое столетие. Были и люди, которые этого не приняли, разные Федеры это отрицали. Но что то, на что мы смотрим, не есть то, что мы видим, что закон оправданности не является натуральным фактором, что мы просто замечаем, что есть вещи, но у нас нету органа, чтобы замечать, какие они, — это он утвердил. Поэтому идея, что тот мир, к которому мы имеем отношение, налагается нами — всеми одинаково, это — теория. Полная. Нам делать мир таким не обязательно, даже не желаемо, мы так делаем, просто потому что не можем не делать.

— А в двадцатом веке?

— Гегель или Виттгенштайн в конце концов кантианцы. У них не категории, а слова это делают. Символы. Тот мир, о котором мы думаем, дает нам тот мир, который есть. Если вы думаете так, то мир такой, думаете *не* так, мир не такой. Нет чего-то объективного, на что можно смотреть открытыми глазами».

(Окончание следует.)



Алексей КОКОТОВ

Тихий нам пролит свет...

* * *

Твой поезд отошел. Четыре огонька,
Растаяв в летних сумерках, уплыли.
Вновь забурлила пестрая река
Людских голов, вещей, вокзальной пыли.
Пловец из худших, ей наперекор
Задумав плыть, стоит в недоуменьи:
Ведь колы в любви — неслышанный простор,
То, значит, расставаньё — заточеньё.
И он отныне узник, не пловец.
Осмысливая это превращеньё,
Вокзал гудел, как улей. Наконец
На улице включили освещеньё.
И новый свет сказал: молчи, душа, молчи!
Недолго ждать, уже гремят ключи.

* * *

Ты след запутал, превзойдя лисиц,
Бессильным словом память беспокоя.
Здесь, близко... В сотый раз рукою
Коснись потрепанных страниц.
Ресниц. Зарниц. Сияньём лиц
Живых и смертных, дум рекою
Влеком, забудешься, шагнешь за пелену,
Где музыка твоя измаялась в плену.

Веселый вожатый

(ИЗ ХАУСМАНА)

Скитаясь утром рано
Над мятною страной
(Ручьи блестели. Залит
Весь мир был синевою),

Я юношу увидел
В тумане на лугах,
С пером на круглой шляпе
И тросточкой в руках.

И дружественным видом
Был утру он под стать,
В глаза он заглянул мне,
Чтоб за собой позвать.

Куда? — спросил его я,
Но он не отвечал,
Показывал дорогу,
Смеялся и молчал.

И за моим вожатым
С весельем устремясь,
Приязненные взгляды
Я все ловил, смеясь.

Над пастбищами (были
Холмы внизу тихи,
Лишь только одиноко
Бродили пастухи),

Над крышами домишек,
Глядящих из садов,
Всех мельниц мимо, мимо
Далеких городов,

Все что-то обещаю,
Но слов не говоря,
Вожатый неуклонно
Куда-то вел меня.

И над страной цветущей
Вдруг начал ветер дуть,
Над каждой крышей флюгер
Указывал нам путь.

Вперед, за тенью тучи,
Летел, неумолим,
Вожатый мой. Спокойно
Я следовал за ним.

Как только буря мраком
Окутала холмы,
Заметил я, что в небе
Уже не только мы,

Что в мире бурей каждый
Был сад опустошен,
Что лепестков отцветших
Нес ветер — миллион,

Что ураган воздушный
Поток наполнил свой
Из всех лесов осенних
Захваченной листвой,

Что унесенных смертью
Всех за собою влек
Ликующий вожатый
И впереди, далек,

На крылышках сандалий
Летел по небу он,
С улыбкою веселой
Веда наш легион.

Крым

Вода имеет вкус, и цвет, и запах.
И берег мнет ее в скалистых лапах.
И свежий ветер кипарис согнуть не может —
Качает только. И луну качает тоже.

* * *

Горные травы по пояс.
День уж погас. Отдохни.
Всё пережив, успокоясь,
Дальние светят огни.
Где-то в звучащем пространстве
Тихий нам пролит свет —
Верный залог постоянства
Этих и будущих лет.

*Вечер на Луковой поляне. Внизу,
в Алайской долине, зажглись два огонька.*

* * *

Как мириады черепов —
Сухие листья.
Чешуйки крыл, обрывки снов,
Глазницы, кисти.
Как будто кровью плачет клен,
Но без мученья,
И воздух неодоушевлен,
И в нем — свеченье.
И пусть он холоден и пуст,
Есть в смерти прелесть.
И все слышнее странный хруст,
Зловещий шелест.

* * *

Хоть год-другой иль только лишь мгновенье
Еще побыть бы на земле живых.
Верни мне душу в струях дождевых.

Но если всё ж не выйдет мне прощенья —
Сухой песок в распущенной горсти
Чуть подержи и руку опусти.

Песенка Верлена

Прислушайся к песенке нежной,
Легка, нешумлива, скромна,
Колышется тихо она,
Как волны под пеной прибрежной.

Мила была (помнишь? — тогда...)
И слышана часто тобою,
Вернулась в вуали, вдовою,
Забыта, но все же горда.

Прохладное дуновенье
Чуть сдвинет вуали газ —
Пред звездным сиянием глаз
Вдруг сердце замрет в удивленье.

И голос знакомый поет,
Что жизнь наша — доброта лишь,
Что зависти ты не оставишь
В наследство, как смерть придет.

Поет он о поприще чудном —
Лишь жить, ничего не ждать,
О доблести — не побеждать.
О радости тихих будней.

Пусть есть простодушие в ней —
Как песенка спелась, так спелась.
Что лучше душе, чем сделать
Другую чуть-чуть веселей?

Хоть больно ей — плачет нешумно
И гнева в ней нет совсем.
Что сказано — ясно всем,
Прислушайся к песенке умной.



Д а л е е в е з д е *

В подполье

Позже, много позже, оказавшись в Америке в среде русских эмигрантов, я почувствовал, сколь сильно они реагируют на запах свежей крови. Кажется, это вообще свойственно замкнутым по той или иной причине сообществам. Вот и теперь, в литературной богеме, меня, как новую игрушку, принялись азартно передавать с рук на руки — кто-то зашел случайно в красный уголок, в подвал к Симону, и извлек меня оттуда с тем, чтобы ввести, так сказать, в подвал пошире, в Подполье с большой буквы.

Притом всякий раз во всякой новой компании надо было проходить в той или иной форме обряд своего рода инициации: подпольные литературные *тусовки*, как сказали бы нынче, начала 70-х сами себя ощущали чем-то вроде тайных союзов. В виде примера: в какой-то донельзя засранной квартире, где на кухне пили водку и закусывали квашеной капустой с газеты, а в комнате еще не ходящий, но ползающий по полу отпрыск хозяев оглушительно лупил по кастрюлям ложками — ему выдали эти музыкальные инструменты, чтоб заткнулся, — меня, прежде чем предложить рюмку, строго попросили прочитать самый древний стих, что я знаю; и лишь после того как я, поднатужившись, припомнил какой-то эпитафия из Сафо, похлопали по плечу и усадили за стол.

Тогда мир литературно-художественного андеграунда распался на взаимодополняющие и пересекающиеся, но относительно самостоятельные группы, или объединявшиеся вокруг одного гуру, или постоянно собиравшиеся запросто в каком-нибудь гостеприимном доме, либо у кого-то в мастерской. Уклад и быт, точнее, безытность, этих домов и этих мастерских были на редкость теплы и семейственны, и этот уют, это единство, это чувство принадлежности, мнится, — одна из многих потерь, которые понесла московская интеллигенция с крушением империи. Как, к слову, и самый ненатужный и непосредственный плюрализм — тогда, впрочем, так еще не выражались, — попросту терпимость друг к другу. В тогдашнем подполье мирно уживались и либералы-западники, от *еврокоммунистов* и теоретиков *социализма с человеческим лицом*, приверженцев идеи *конвергенции*, до христиан-экуменистов, и традиционалисты самых разных мастей и оттенков, от православных патриотов-почвенников до мистиков и оккультистов, перепечатававших на *Эрике*, воспетой Галичем, Блаватскую и антропософские мемуары Андрея Белого. Впрочем, живая духовная жизнь подполья пульсировала прежде всего в вторых, первые же питались преимущественно готовыми рецептами всяческого индивидуализма, особо не мучаясь и видя преграду на пути к счастью — счастьем, так сказать, протестантского разлива, что, впрочем, ими не осознавалось, — лишь в коллективистском режиме, с обычной либеральной близорукостью не осознавая, сколь нереален подобный сценарий на российской почве; либералы всегда были малопластичны, немножко square, иначе не сказать, ли-

*Продолжение книги. Начало см. «Октябрь» № 4 с. г.

бо истовыми политическими диссидентами, называвшими себя правозащитниками, либо либеральной окраски советскими интеллигентами-конформистами, зачастую партийными, наивными и жадными потребителями буржуазных западных второй свежести *ценностей*, всяческие переводчики и культуртрегеры с фигой в кармане, та самая пятая колонна советского интеллектуального истеблишмента, что и сварганила поверхностную, как и они сами, ни о чем серьезном и глубоком и слышать не желавшую, *перестройку*. Поэтому, когда своды подполья треснули, на резком свете в проломе рухнувшей империи либералы оказались прогрессистами и впереди, тогда как традиционалисты так и не смогли выйти на свет, автоматически попав в стан реакции, парадоксально слившись с немногими оставшимися правоверными коммунистами, фанатиками идеи, тоже оказавшимися, скажем так, заложниками собственного Предания... Вот в эту среду литературного подполья, составленную людьми с несовместимыми в иных обстоятельствах группами крови, я и затянулся, и одно за одним пошли новые знакомства, сопровождавшиеся, конечно, нешуточным пьянством.

Сначала я познакомился с героями вчерашнего дня: с Володей Батшевым, румяным, но уже тогда, в свои двадцать семь, совершенно седым, заполошным, прославившимся тем, что его единственного из многолюдной компании смогистов посадили-таки и выслали на пару лет из Москвы в Красноярскую губернию; с Мишей Капланом, слишком вальяжным для неудачника, — впрочем, в те годы нищета, пьянство и маргинальность в этой среде отнюдь не воспринимались, как знаки жизненного поражения, ибо списывались на *режим*. Миша был одним из создателей еще более древнего, чем *смогизм*, совсем уж легендарного движения у *памятника* — традиции чтения стихов у монумента Маяковскому в разгар *оттепели*, в самом начале 60-х, — а также членом редколлегии первого в Москве неподцензурного рукописного литературного журнала «Синтаксис». У Батшева обретался и единственный встреченный мною на подпольных путях член Союза, поэт по фамилии, кажется, Алексеев. Фамилию я могу и перевернуть, зато помню его вирши:

Устав от мелкого предательства,
Уйду в охотники, в косцы,
Пока в журналах и издательствах
Хозяинчают подлецы.

И мне казалось тогда диковинным, что, оказывается, и в среде самой что ни на есть конформной, официальной литературы тоже имеются свои правые и виноватые, своя фронда и свои мерзавцы.

В тот же год я познакомился и с Лёначкой, как называли его в Москве, то есть с основателем СМОГа легендарным Леней Губановым, и о нем я расскажу подробно в следующей главе. Губанов, в свою очередь, привел меня в квартиру Вадима Делоне, громко севшего некогда по делу о демонстрации на Красной площади в знак протеста против ввода танков в Чехословакию, писавшего пресные стихи и позже умершего в Париже, — точнее, в квартиру его жены Иры Иоффе, где устраивались *устные журналы*, заканчивавшиеся, как правило, милицейской облавой с проверкой документов у всех присутствующих, — организовывал налеты, разумеется, КГБ с целью поугагать слабонервных. Впрочем, с Вадимом мы и прежде были шапочно знакомы — его отец-физик был коллегой моего отца, а с ним самим мы учились в одной школе, он двумя классами старше.

Это были вполне экзотические сборища, рекой лился портвейн, присутствовала публика самая пестрая. Помню одну провинциальную застенчивую девушку с растерянными глазами и скверными зубами; она заводила мужчин-семи-тов в ванную по одному — оказалось, она приезжала специально туда, где собиралось много богемцев, из Ярославля, ей сказали, что еврейская сперма при приеме внутрь избавляет от прыщей. Здесь можно было увидеть весь цвет тогдашнего богемного подполья — от художников-нонконформистов вроде Оси

Киблицкого до бывалых *сиделых* диссидентов, таких, как Гершуни. Помню, тогда привели как-то юношу, приехавшего из Симферополя, который читал *заумные стихи для детей*, составленные одними междометиями, — это был будущий автор «Сорока восьми попугаев» и детской поэзии безобиднейший и лояльный Гриша Остер...

Там же я встретился и с легендарной в московской богеме Ларисой Пятницкой, с Лориком, как ее все именовали, и можно было считать, что крещение мое состоялось. Дело было так: на одном из *устных журналов* у Делоне я стоял в дверях набитой людьми прокуренной гостиной, только отчитав сам и слушая очередного выступающего, как сзади к моей спине тесно прижались упругие дамские груди. Это и была Лорик, предъяснявшая таким способом свою визитную карточку.

Она была одной из тех редких женщин, которые не только страстно любят *мужиков*, эка невидаль, но понимают, внутренне принимают их и жарко им сочувствуют. Помнится, она любовно именовала нас, мужчин, *перпендикулярами*; она называла нас детьми, приводя в подтверждение этого нехитрого соображения пример какого-то своего знакомого, у которого в крайнюю плоть была вшита по периметру мелкая дробь — для пушечного ублажения дам; *надо ж*, восхищалась Лорик, *сидят себе по нарам здоровенные лбы и в пиписки дробь вшивают, чем не дети*; она восхищалась мужским творческим духом, но сокрушалась, что при этом мужчины столь немощны: *вот хоть Достоевский, он чисто физически не мог нести бремя собственных озарений*; однажды, взглядываясь в меня, она задумчиво произнесла: *этот умрет за высоким забором*. Увы, Лорик, боюсь, это одно из немногих твоих прорицаний, которому не суждено сбыться...

Лорик привела меня в дом Льва Кропивницкого — сына патриарха московской богемы Евгения Кропивницкого, который в 50-е основал поэтическую и живописную *барачную школу*, выпестовавшую поэтов Холина, Сапгира, Севу Некрасова, художника Оскара Рабина. В доме Кропивницкого-младшего я читал свои рассказы из того же цикла «Синица в руках» — о проститутках из «Интуриста» и с Калининского, о педерастах и прочей люмпенизированной публике, — и, наверное, решительный контраст между моей тогдашней внешностью мальчика из интеллигентной семьи и содержанием этих опусов производил на присутствовавших известное впечатление. Впрочем, для того, должно быть, чтобы я понимал, что такое действительная *крутизна*, словечко, впрочем, уже из нынешнего лексикона, мне здесь поставили магнитофонную ленту, на которой был записан Мамлеев, читавший свои рассказы, — сам Юрий Витальевич обрелся тогда во Франции. Больше других мне запомнился рассказ «Не те отношения» про то, как студентка Верочка пришла к преподавателю сопромата на дом сдавать зачет. Тот был в строгой тройке, впрочем, попросил ее раздеться, к чему Верочка была готова, лечь голой на кровать и повторять: «Ой, петух!» Забирая зачетку, Верочка наивно спросила, отчего то же самое нельзя делать с женой. «*Не те отношения*», — был ответ. Рассказ вполне для «Крокодила».

У Кропивницких я впервые увидел и холеного жуира Генриха Сапгира с его женой Кирой, Киркой-сапгиркой, как называли ее в богеме, и мог ли я тогда знать, что и он сыграет свою роль в моей судьбе. За столом Генрих все больше рассказывал о ресторанах — он в качестве автора кукольных театров и детского поэта был богат тогда, — Кирка же пела слабеньким, но милым голоском фривольные французские народные песенки в собственноручных переводах... Они много лет назад разошлись, Кира давно живет в Париже в крохотной нищей студии, расплзлась, сочиняет памфлеты об эмиграции и мечтает напечатать их в России; Генрих уже в иные годы, когда никому не нужны стали кукольные театры, победил, осел, стал пописывать прозу — верный признак усталости поэта, и те, кто не знал его прежде, не поверили бы, сколь он был

широк и блестящ; недавно после третьего инфаркта его отпели и похоронили; и давно нет в живых Льва Кропивницкого и самого дома Кропивницких на Заставе Ильича, как, впрочем, нет и самой заставы; и вымахал здоровенным парнем сын Лорик невесть от какого папы, а сама Лорик состарилась, и ей не на что вставить зубы...

Но тогда это была молодая женщина, стриженная под мальчика, с фигуркой грудастого пупса, с задорной попкой, чрезвычайно смышленная, нынче сказали бы — *продвинутая*, насмешливая и живая. Она шестнадцатилетней девочкой попала на *Южинский* — с улицы, быть может, — и называла Мамлеева *папулей*.

И здесь два слова о Южинском кружке. Это в высшей степени экстравагантное сообщество ко времени моего похода в подпольную богему уже распалось, но мне довелось знать нескольких его участников. Сложился кружок в двух комнатах коммунальной квартиры в доме в нынешнем Большом Палашевском переулке. Точнее, это был не дом — двухэтажный бревенчатый барак, но не в Лианозове, как у Кропивницкого и певца барачной жизни Игоря Холина, а в центре Москвы. Здесь обитал Юрий Мамлеев, служивший тогда, в начале 60-х, учителем математики в школе рабочей молодежи, потом преподававший историю философии в Сорбонне, а нынче вернувшийся на родину, получивший квартиру в раменских новостройках и издавший несколько книг прозы, в частности, знаменитый роман «Шатуны», где у героя — два члена. Южинский кружок исповедовал всяческий эзотеризм — каббалу вперемежку с оккультизмом, эротический мистицизм с учениями стоиков и пифагорейцев, неоплатонизм и антропософию, короче, всё, что могло служить более или менее прочной оградой между *южинцами* и простыми замороченными советскими интеллигентами. Позже, познакомившись с Мамлеевым в Москве, я поразился тому, как этот невысокий, сутулый, невзрачный человек мог в легендарные южинские времена воздействовать столь магнетически на самых разных людей. Впрочем, быть может, в эмиграции его магнетизм несколько сник. И откуда в нем восклубилось столько миазмов, ожививших невероятных чудовищ и уродов? Впрочем, ведь и Передонов был учителем и, кажется, тоже математики...

Здесь надо упомянуть и легендарного Евгения Головина, с которым, впрочем, я не знаком. Но, судя по воспоминаниям свидетелей, именно Головин, более интравертный, нежели хозяин южинской лавочки Мамлеев, был для адептов интеллектуальным гуру. Совсем недавно мне попалось на глаза его блестящее эссе «Антарктида», посвященное роману По о путешествии Гордона Пима, напечатанное, к слову, в прохановской черносотенной газете «Завтра», и сам этот факт отчасти иллюстрирует сказанное выше об идейной калейдоскопичности всякого *подполья*. В эссе этом Головин предстает как знаток Гермеса Трисмегиста и вообще герметической литературы, вот цитата навскидку: «Северный полюс — эманация фаллического первоединого в хаос космических элементов», — и стоит лишь горевать, что Эдгар Аллан По по причине безвременной кончины никак не мог успеть посидеть на кухне в Южинском переулке...

Так вот, Лорик, будучи мамлеевской пассией, верной ученицей и confidentкой, была как бы *мамочкой* всей южинской компании, хоть были там, конечно, и другие дамы. Она же осталась хранительницей памяти и архива, когда Мамлеев эмигрировал. Ко времени нашего с ней знакомства формально она была мужней женой художника-сюрреалиста Пятницкого, и, заметим, в те годы сюрреализм в России оставался еще актуальным художественным течением. Впрочем, Пятницкий был скорее сюрреалистом жизни, живописцем он был посредственным и теперь забыт; но тогда он пользовался известностью в богеме, жил на манер Зверева — нигде и страшно наркоманил; я видел его лишь однажды, за несколько месяцев до его смерти, в коммунальной квартире на Кропот-

кинской, где нанимал комнатенку Игорь Дудинский, тоже мамлеевский выкормыш, на пару со своей первой женой Люшей, — Пятницкий спал под вешалкой в коридоре. Лорик вышла за него замуж фиктивно, видно, у того было плохо с пропиской, а взамен забрала себе его фамилию.

А теперь о другом браке, Дудинского — в богеме Дуды — с Люшей, уж коли я вспомнил эту пару, Лорик к этой истории имела прямое отношение.

Дуда, хоть и был учеником Мамлеева, эзотерическим эротоманом и мистическим не знаю кем, поступил, как приличный мальчик, на факультет журналистики МГУ. Ко времени получения диплома репутация его в глазах *органов* была столь подмочена, что в Москве по причине нелояльности эстетике режима приличная служба новоиспеченному журналисту не светила. Приятели Дуды по подполью 60-х продолжали святое дело андеграундного прозябания, передавали с рук на руки диковинный самиздат — книги о масонах и алхимиках, а также редкие дореволюционные психиатрические издания по патологиям пола, неистово спорили в курилке Ленинской библиотеки, сочиняли самобытные трактаты, жили, как на минном поле, а потом уезжали за границу по еврейской линии или спивались на родине с круга и погибали от наркотиков; Дуду ждала иная судьба. Отец Дуды — кстати, из приличного дворянского рода — был партийный экономист и функционер немалого калибра, при этом, что важно, *выездной*. Нетрудно догадаться, какую отпрыск доставлял ему головную боль, и уйди юный Дуда в записные подпольщики — с карьерой папаше пришлось бы проститься. Так что отец поступил мудро, и частью под его нажимом, частью *из романтики* Дуда взял распределение на телевидение. Но не на центральное, конечно, — на магаданское. Скорее всего отец дал заверения соответствующим инстанциям, что сын исправится, возьмется за ум, искупит своей добровольной ссылкой молодые грехи, а те пообещали, если стряется такое чудо, через годик-другой устроить Дуду в столице. Кстати, так оно и вышло, и Дуда после Магадана лет десять пристойно трудился в какой-то газетке в системе Гостелерадио. В Магадане-то Дуда и женился в первый раз в возрасте двадцати трех лет.

Брак этот по всем статьям был весьма экстравагантным. Избранницей оказалась юная красотка по имени Люда — Люша в просторечии, в богеме те-тя Лю.

Была она из-под Москвы. Из Можайска, кажется, и ей пришлось срочно покинуть столицу под угрозой, что ее посадят за проституцию и отправят куда-нибудь в деревню за сотый километр. Тогда-то ее подруга по богеме — и это была, конечно же, Лорик — придумала эту чудную комбинацию. А именно: послать Люшу Дуде в Магадан к дню его рождения — Дуда, как и я, по знаку Зодиака Овен — в качестве весеннего подарка, — все лучше, чем ссылка под надзор милиции куда-нибудь на шатурские торфяники. И Люша полетела...

Не могу в точности сказать, каким образом Люша вместо панели Белорусского вокзала, где она начинала свой самостоятельный жизненный путь лет в пятнадцать, оказалась в богемном столичном кругу. Один мой знакомец, сценарист О. О., тоже эксцентрик и половой мистик — но стихийный, вне организации, так сказать, — утверждал, что *открыл* Люшу именно он; будто бы, подобрав ее на улице, снял для нее квартиру — это для него было возможно в те годы, О. О. писал на заказ сценарии конъюнктурных кинофильмов и слыл богатым даже в среде московских фарцовщиков; в квартире этой он держал ее под замком, заставляя упражняться в стихосложении. Это тоже могло быть правдой: в те годы версификация была почти неременной доблестью, а О. О. к тому же отличался невероятно стойкой склонностью к учительству и дидактике, настолько, что ухитрился из одной своей короткопалой, в него, дочери —

шестой брак — сделать известную пианистку, притом, что сам играть ни на каком инструменте никогда не умел. О том, что было дальше с начинающей поэтессой Люшей, О. О. не распространялся, но вполне логично предположить, что он мог, скажем, проиграть ее в карты кому-нибудь из дружков по Дому кино. А там уж пошло-поехало... Так или иначе, но юная Люша оказалась женой молодого корреспондента магаданского телевидения, ходила в гости к Вадиму Козину, в незапамятные предвоенные годы сосланному туда за гомосексуализм да так и осевшему там, подпевала *наш уголок нам никогда не тесен* и смотрела на холодный океан, за которым, быть может, силою интуиции девичьей, истомленной русской соне-мармеладовой судьбою души прозревала Калифорнию, в которой ведь никак не могли успеть без нее выбрать все золотосные прииски...

Я познакомился с ними, едва они вернулись из Магадана в Москву — чуть позже расскажу, как это было, — году что-нибудь в 73-м, и, насколько мне помнится, Люша оставалась и в браке подвижницей на ниве плотской любви. Она встала на путь, что называется, дамской порядочности только в одном смысле — не брала денег с мужчин, преимущественно друзей дома. Прожил Дуда с нею в Москве около года, а потом плавно перешел в руки ее товарки. Чтобы покончить с тетей Лю, скажу, что, поболтавшись в Москве еще какое-то время — у нее был своего рода салон где-то на Лесной, больше смахивавший, разумеется, на притон, — она отбыла, увы, не в Калифорнию, но во Францию, выйдя замуж за алжирца из Марселя. Пять браков Дуды спустя я видел ее у него в гостях, когда она навещала родину. Перемена была разительна: из сексапильной красотки тетя Лю превратилась в донельзя обошненное существо, а ее некогда замечательная мордашка теперь как-то сохлась, испещрилась мелкими шрамами, напоминающими следы оспы. По-видимому, она крепко сидела на игле — алжирец в своем арабском квартале держал торговлю героином...

Но вернусь к Лорик; постепенно она сделалась моим Вергилием в мире московской богемы.

Куда только нас не заносило! Скажем, однажды она привела меня на трущобную Трубную — к Леше Хвостенко. Он принимал нас, не выходя из постели, в полном соответствии со своим личным гимном:

хочу лежать с любимой рядом
хочу лежать с любимой рядом
хочу лежать с любимой рядом
а на работу не хочу,—

при этом *любимая*, заплывшая от анаши, шлындра мимо нас в едва запахнутом халате, в тапках с подмятыми задниками на кухню ставить чайник, а ее место в койке занимала гитара.

В свою очередь, я приводил Лорика к Эдмунду, уже покинувшему станиславское стойло и отхватившему — спасибо комсомолу, не забывшему его услуги, — вполне приличную двухкомнатную квартирку на Старом шоссе, окнами на морг красного кирпича больницы и опушку тимирязевского парка. Здесь мы как-то повстречали Николая Глазкова, легендарного поэта и автора неологизма *самсебяздат*, как он маркировал собственные стихи, собственноручно сброшюрованные, еще в 49-м году, — с тех пор это словцо вошло в интернациональный лексикон в усеченном виде **samizdat**. Он декларировал:

Люся мне не отдается,
В этом Люся не права,—

и декларировал на вхутемасовский манер, что новые панельные многоэтажки, прежде чем заселять, следует расписывать извне красивыми красками. Тогда это звучало дичью, и он не дожил до времен, когда это стало в России, как ни удивительно, вполне возможным.

Здесь же пел и Леша Охрименко, автор легендарной песни:

Я был батальонный разведчик,
А он писаришка штабной,—

быть может, первый послевоенный *бард*, как позже стали довольно пошло именовать неприкаянных представителей этого народного — за вычетом салонных соловьев — бессребренического жанра.

Он был автором таких четверостиший — задолго до Губермана:

Всю жизнь работая в газете,
Дошел своею головой,
Что если стоит жить на свете,
То только жизнью половой.

Это был немолодой лысоватый человек в потертом костюме, с жиром на воротнике пиджака. И он действительно *всю жизнь* служил в газете — «Медицинской». Он заунывно играл лишь на двух струнах семиструнной гитары, был безголос, но вместе с тем студенчество 60-х лихо распевало его «Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой» или «Отелло, мавр венецианский, любил Отелло ой пожрать». В тот вечер Охрименко пел:

Сосудик в мозге оборвался, ах!
Приятель в морге оказался, ах!
Друзья сегодня тоже тут как тут,
Плачут и поют:
Сосудик в мозге...

После долгих, сколь угодно долгих, повторений — с небольшими вариациями — неожиданно возникала другая тема:

Но есть в этом городе женщина одна,
Может, любовница, а может, и жена,
Она сегодня тоже тут как тут
Плачет и поет:
Сосудик в мозге...

Я никогда больше этой баллады не слышал, а между тем в ней был неподдельный пронзительный лиризм — кто знает, может быть, кроме Охрименко, никто и не смог бы этого спеть. Кажется, это было его последнее сочинение, вскоре он умер, причем, как и предсказывал: сосудик в мозге оборвался...

Как-то Лорик перезнакомила меня с тогдашними московскими хиппи. Как и положено бунтарям, это были сплошь мальчики и девочки из очень приличных семей с милыми, светлыми, юными лицами. Высшим шиком у них считалось уличное попрошайничество, причем отряжали на промысел чаще всего девиц. На деньги, что удалось *сшибить*, они сидели в крохотном кафе на Суворовском бульваре — давно нет ни имени бульвара, ни самого заведения, — которое между собой называли отчего-то *Вавилон*, а в теплое время года — на *психодроме*, как именовался на их языке сквер перед старым зданием университета на Моховой. Теперь всяческие маргинальные молодежные движения стали общим местом, но тогда эти русские *дети цветов*, подвергавшие себя нешуточным гонениям, были первыми в стране: ни *стиляги* 50-х, ни *туристы* 60-х не исповедовали столь радикального эскапизма.

Именно тогда родилась мода на *квартирные выставки*. От обычного показа вещей тем или иным художником в его собственной мастерской они отличались принципиально: эти выставки были *коллективными*, то есть крайне опасными для властей, ибо ничего так не боялись коммунисты, как единства, порождающего вождей и героев. Именно с Лорик мы были на памятной выставке в квартире Оскара Рабина, где умещались на стенах и Плавинский, и Целков, и Краснопевцев, и Немухин, и Жарких, и сам Оскар, конечно; я тогда открыл для себя этих художников: знаменитая выставка в парке Измайлово и не менее памятная на ВДНХ, в *павильоне пчеловодства*, смогли состояться лишь несколькими годами позже после долгих борений с властями. Там же, на

квартире Рабина, я впервые увидел и Анатолия Зверева — он, плюясь, юроствуй и колдуя, разбрызгивая гуашь, яростно рисовал в присест портрет какой-то дамы, положив ватманский лист прямо на паркет... Лорик же привела меня и на первую в Москве квартирную выставку концептуалистов. Там был и черчелевский *железный занавес* — прямоугольный лист железа, повешенный на стенку, и рубаха Сапгира с записанными на ней сонетами, и *красный насос* Комара и Меламида, проживавших тогда никак не на Манхеттене, а где-то в Черемушках...

Я пытаюсь из обрывков воспоминаний, из мелькания лиц хоть отчасти воссоздать вполне карнавалный мир художественного подполья первой половины 70-х, мир, тоже навсегда канувший и потерянный, и говорит во мне не только ностальгия: такого творческого воодушевления, такого жизненного подъема России не видать еще долго. Во всяком случае, сейчас, когда я пишу эти строки, с тех пор прошло без малого три десятилетия, но ничего подобного не повторилось... Скажем, упомянутая концептуальная выставка происходила на квартире, которую нанимала странная молодая дама: это была дагестанская еврейка, сбежавшая из родного горного аула в Москву и жившая, разумеется, *без прописки*. Представьте себе на секунду лужковскую Москву и горянку-иудейку, нетвердо говорящую по-русски, *без регистрации*, устраивающую на чужой квартире выставку, на которую тянется со всего города самая пестрая публика с питьем и угощением: от аспиранток-искусствоведок и англичанок-слависток до тех же хиппи и нас с Лорик. Это был чистый и искренний праздник жизни и фантазии, бенгальски искрящийся, пенящийся и бурлящий, — и всё на фоне серой и нищей кагебешной брежневской Москвы. Праздник во время *застоя*, на краю бездны, в которую уж сползал многонациональный СССР, и всем в той или иной мере было внятно, что мы стоим перед лицом величественной картины гибели целой цивилизации...

Я удержался бы объяснять это творческое состояние постоянной приподнятости и готовности преступить все запреты лишь компенсацией духом недостаточности плоти, мол, с голодухи лучше пишется: художнику всегда надо столько, сколько ему надо. Как и тем расхожим мнением, что в России, мол, лишь под прессом слежки и ссылки рождались гении: один Серебряный век опровергает такого рода соображения. Нет-нет, как и в Серебряном веке, здесь сквозит эсхатологическое предчувствие...

Но продолжу. Родители мои были весьма снисходительны. И со школьных лет ко мне приходил в гости самый разный народ, причем занимали мы самую большую в квартире комнату, не слишком заботясь о тишине и приличиях. И вот однажды — быть может, это был какой-то праздник — Лорик привела ко мне весьма причудливую компанию. Это была пара: он — краснощекий, бритый наголо увалень, она — невероятной хрупкой красоты юная дама, по замашкам — скажем по-евангельски — блудница; а с ними какой-то невзрачной внешности вполпына малый с гитарой. Лорик представила: Дуда, его жена Люша, Дугин. Сразу покончу с Дугиным — он представлял самый молодой призыв Южинского, придя туда уж на излете кружка, но, кажется, именно ему принадлежит широко разошедшееся определение этой среды как *шизоидного подполья*, недаром потом он заделался идеологом; в тот вечер он напился, орал, гремя невпопад гитарными струнами, песни *про вампиров* собственного сочинения и казался записным истериком, которому недостает внимания окружающих. После я узнал, что он сын генерала КГБ, который (генерал) выписывал ордер на обыск в собственной квартире, чтобы изъять из комнаты сына Бердяева и Нилуса. Теперь он (не генерал, сын) сделался *философом-традиционалистом* и пишет манифесты лимоновской партии национал-большевиков. Я с Дугиным, к счастью, больше ни единожды не встречался, но замечу, что Дуда и после того вечера многие годы потчевал меня самыми невероятными знакомствами...

Скажем, среди художников-нонконформистов, с которым Дуда многие годы дружил, был один, мне особо симпатизировавший, — с пышными усами Толя Л. Толя писал всегда один сюжет — траву, причем очень дурно: эдакий Толя-Таможенник. Меня в нем поражала одна особенность: из всех представительниц женского пола он решительно предпочитал парикмахерш, и пусть фрейдист расшифрует это созидание — стрижку природной растительности — и растолкует, в чем тут дело.

Однажды я пришел к Дуде на улицу Кедрова — я тогда составлял запретный альманах *Каталог*, о котором позже, и, кажется, пытался Дуду вербовать. У него был парень, бритый наголо, чем-то, кстати, на Дуду похожий, который представлялся: Дарик. Это был нынешний вождь российских исламистов Гейдар Джемаль, и с Дудой они как раз в то время писали новый русский Коран — «Ориентация — Север» (и это притом, что, понятное дело, *ориентация* может быть только на Восток). Причем писал Дуда, Гейдар работал вдохновителем и генератором идей.

Наконец, именно через Дуду я узнал Толстого, Володю Котлярова. Приведу здесь мою заметку о нем из «Московских новостей».

«ТОЛСТЫЙ — ФРАНЦУЗСКИЙ РУССКИЙ»

Он проездом в Москве — из Тбилиси в Париж. С работы — домой. Французский актер Владимир Котляров по артистическому псевдониму Толстый, участвовавший в четырех десятках французских лент, сейчас снимается в главной роли в картине Михаила Калатозивили по сценарию Рустама Ибрагимбекова «Мистерии» совместного русско-французского производства. Действие будущего фильма происходит во Франции, в Санкт-Петербурге, в Тбилиси. Съемки грузинской части ленты только что закончены.

— Мои самые важные работы в кино? Для меня это фильм «Бразье» Эрика Барбье. Это название здесь было переведено почему-то как «Угольная пыль». На самом деле бразье — пламя, костер. Но у специальное приспособление в шахтах, в котором открытый огонь поглощает вредные испарения. Так вот Бразье — кличка моего героя, шахтера-поляка...

Толстый сидит в кресле в одной из двух комнат квартиры своих московских друзей университетской молодости, полной антикварной мебели. Этот фон не случаен, многие из этих вещей Толстый когда-то реставрировал собственноручно. По образованию он — искусствовед, по жизни — свободный художник, двадцать лет назад эмигрировавший из СССР. Среди его экстравагантных художественных проектов: перформанс «Несение креста на Голгофу», после которого он ознакомился с распорядком израильских околотков, изобретение «мэил-арта», издание эмигрантского литературного журнала «Мулета», содержание которого вполне соответствовало названию. Но в сорок пять его артистическая натура успокоилась тем, что он стал французским киноактером.

— Бразье, уволенный из шахты, чтобы содержать семью, вынужден тряхнуть стариной и выступить как профессиональный боксер. Пришлось полгода тренироваться, сбросить двадцать килограммов, а мне было уже далеко за сорок... Как я получил эту роль? Однажды русский художник Олег Яковлев оставил на двери записку, куда я должен идти. Я туда пошел — я тогда очень сильно хотел есть. И пришел в массовку к молодому человеку, который снимал свой первый дипломный фильм «Потерянное лицо». Это и был Эрик. Там нужны были русские морды. Это был фильм о том, как из России, захваченной большевиками, бегут не только западные люди, но и какие-то казаки, деклассированные офицеры. Я пришел и сказал, что могу сыграть даже шум падающей лестницы за сценой, но меня накормить нужно немедленно. Меня никто не понял, переводчица была лишь через полчаса, мне дали поесть, а еще через десять минут Барбье остановил съемку и сказал, что сюжет мы ос-

тавляем, но меняем сценарий, и главным героем будет — он. То есть я. Кстати, рискованное решение для дипломника парижского ВГИКа, ведь я тогда вообще не знал языка...

В Москве Толстого-актера знают не столько по «Угольной пыли», сколько по широко известному здесь фильму Патриса Широ «Королева Марго», где он играл роль Палача, в каком-то смысле палача-интеллектуала, а также по любимому у нас Клоду Шабролю, — Толстый снимался у него в эпизоде фильма «Холодный пот».

— Нет-нет, — протестует Толстый. — Меня скорее узнают здесь по фильму «Индеец в Париже». Там я играю роль беспардонного, но по первому впечатлению окружающих — очаровательного человека, который привозит в Париж чемодан долларов и в конце концов предстает отвратительным. Это первый образ «нового русского» на западном экране. Что же касается Палача, то он принес мне множество хвалебных отзывов, притом что здесь впервые меня озвучивали. Ведь во всех остальных случаях я играл иностранцев, а Палач времен Екатерины Медичи никак не мог говорить с акцентом. Ну а у Шаброля я вообще играл санитаря сумасшедшего дома...

Насколько можно понять, у Толстого во Франции сложилось прочное амплуа. Он как бы работает на должности французского русского. Скажем, празднуется юбилей Дягилевских сезонов. Кто должен быть в оргкомитете от французских русских — Толстый. Он заседает в жюри русских французских кинофестивалей, он приглашаем в мэрию как представитель нынешнего русского комьюнити в Париже. Ему, завоевав Париж, остается теперь лишь отвоевывать Москву.

На вопрос о содержании нынешней ленты он не торопится отвечать.

— Знаешь, пересказывать сюжет «Мистерий», особенно финал сценария, было бы не этично. Скажу лишь, что речь — о возвращении эмигранта-грузина, прожившего двадцать лет во Франции и принадлежавшего некогда в СССР диссидентским кругам. В этом первом своем русском фильме я попал в перво-классную компанию: Ибрагимбеков — единственный здешний сценарист, получивший «Оскара», и Миша Калатозивили — внук и тезка единственного русского режиссера, получившего полную весную «Пальмовую ветвь» в Канне, — человек тончайший, внутренне изысканный. В настоящее время мы видели в материале приблизительно треть картины. Потом мы снимаем на «Ленфильме» на объединении «Бармалей», потом во Франции...

— Значит, ты впервые на экране заговоришь по-русски?

— Русский язык — моя родина, — говорит Толстый несколько сентенциозно.

Мы поднимаем в последний раз рюмки. Если у нас возродится кино — Толстый будет ему необходим.

Не буду ничего добавлять. Скажу лишь, что Толстый — бабник, говорун, гастроном — один из лучших подарков, что когда-либо мне сделал Дуда. И еще одно: мы шли с Толстым как-то по его району в Париже, что-то вроде московских Крылатских Холмов, и вдруг перед нами оказалась кучка тинейджеров, с восторгом Толстого оглядывавших. Что ж, благодарные французские зрители узнают его на парижских улицах... Но меня снова относит в наши дни...

Я так долго о Дуде не только оттого, что он был мой товарищ по московскому подполью, но прежде другого потому, что Дуда в известном смысле это самое подполье олицетворял, будучи, без сомнения, долгие годы одним из самых ярких его персонажей. Скажем, его перу — а он первоклассный журналист — принадлежал памфлет «Как мы врем», и ему же принадлежит изобретение словечка *диссида*, примененное для обозначения публики, роившейся около и возле собственно диссидентского круга, но никогда ничем не рисковавшей. Ради правды исторической надо сказать, что Дуда был первопроходец — а это всегда требует отчаянной смелости: его памфлет предвосхитил и роман обиженной

любовницы Юлия Даниэля «К вольной воле заповедные пути», разоблачавший нравы диссидентов и, так сказать, советских «Бесов», замечательную книгу моего покойного друга Володи Кормера «Наследство», — и то и другое появилось позже.

Дуда всегда был записным многоженцем. Только официальных спутниц жизни у него было около десятка, неустанно менять жен — непрменная привычка богемы его поколения. Пять-шесть браков в этом кругу были нормой, но и Дуда не был чемпионом — у упомянутого сценариста О. О. было двенадцать официальных супругов. Впрочем, не знаю, как у других, но у Дуды многоженство было от нежности. Точнее, от потребности оной, хоть и сам он, влюбленный, бывал нежен, как теленок. Мы, ленивые буржуа, когда иссякает первый пыл, продолжаем жить с потускневшей в наших глазах избранницей, привыкая к разговорам о деньгах, пропуская мимо ушей, когда нам принимаются указывать на наше несовершенство, на пролитую на пол ванной воду, на незакрученную крышку тюбика зубной пасты, приравнивая к тому, что желание возникает все реже, и заводя любовниц *на стороне*. Не то — Дуда. Едва страсть, не только в постели, но и к его разговорам, причудам, неординарности и талантам у подруги притуплялась, он находил следующую. А подчас и упреждал такой поворот дел. Зачем при этом он женился? Праздный вопрос: ни одна любовница не даст так много, как женщина, которой при первой же встрече делают предложение. А Дуда умел из женщин выжимать все до днышка. И лишнее тому подтверждение в том, что всякая из его бывших жен вспоминает о нем с нежной благодарностью... Здесь некая загадка, оксюморон, доброта вампира, добросовестность ловца женских душ, не забывающего оставить гонорар...

Но подполье не отпускает, как воровская шайка, продолжая морочить и тех, кто, пытаясь освободиться из его тесных пут, отказывается от латремоновских замашек, от жизни в соблазне аффекта и преступления черты; да что там — даже если человек просто решает *себя полюбить*, бросает пить, переходит с чифиря на какао, принимается жрать проросшее просо, ложиться под капельницы с физиологическим раствором, не брезгует иглоукальванием и *вращением мантры*, всё в надежде остепениться, — подполье рано или поздно возвращается; впустив его однажды в себя, вы от него уже не избавитесь. И это еще полбебды — подполье умеет мстить самым коварным образом. И я напоследок расскажу вам такого рода печальную историю.

Татьяну Дуда нашел в обменном пункте. Она сидела в окошечке под охраной и обменивала зеленые на отечественные — и наоборот. Чертами лица она напомнила сразу двух или трех его — из шести — прежних жен, мне это стало ясно, едва я взглянул на нее в первый раз. Она была почти на голову выше его, притом что Дуда сам не маленького роста, метр восемьдесят вполне прилично для нашего поколения, а все предыдущие жены едва доставали ему до плеча. К тому ж — впервые, он никогда не гнался за молодостью — по возрасту она годилась ему в дочери. Ухаживал за дамами Дуда всегда виртуозно, делая витиеватый и заманчивый *микс* из самовозвеличивания и самоуничижения, работая на женских восхищении и жалости одновременно; к слову, я этого никогда не умел, всегда пыжась перед предметом, глупо распуская хвост, — нет чтобы приплести хотя бы, что у меня, скажем, отит как осложнение гриппа, меня бросил папа и с двенадцати лет аллергия на губную помаду и дамское белье... С Татьяной Дуда обвенчался, хотя он уже два раза — ортодоксальная церковь это никак не приветствует — был венчанным мужем, — венчался он, циник, эстет и, разумеется, язычник, из красоты и торжественности обряда, это всякий раз производило впечатление на избранниц: наверное, каждая женщина мнит, что венец ей к лицу. Мне, помнится, он сказал: *эта — последняя*, — думаю, искренне, хоть он и говорил так всякий раз. К этому времени Дуда стал прилично зарабатывать в желтой прессе, описывая самим же при-

думанные ужасы, *расчлененки* и нападения стай крыс на обнаженных любовников, и даже подарил Татьяне норковое манто — он никогда не был скуп, просто, как правило, не имел денег. И обещал отвезти в Париж к Толстому. И отвез бы, будьте уверены.

Дуда каждую жену стремился обучить всему, что любил, без скидок на то, что партнерша может чего-то не понять, — превосходная черта не быть даже с самой невосприимчивой ленивым и высокомерным, не ставить, так сказать, ни на ком крест. И, мягко скажем, простоватая Татьяна великолепно справлялась с ролью. Она лишь стала постоянно несколько болезненно возбуждена. Конечно, у нее была дурная наследственность, конечно, она и сама пила. Чего ей делать было совсем нельзя, как всем предрасположенным к истерии, и, кстати, Дуда всячески сдерживал ее. Но было и другое: она чувствовала себя среди его знакомых — а он принялся часто *выводить* ее — лишней и неловкой, ну да кто ж этого не проходил в молодости, приобщаясь, так сказать, к *свету*. Часто к ней относились иронически — как ко всякой седьмой жене, с которой еще не свыклись, но Дуда объяснял ей, что это всего лишь принятая в этом кругу манера поведения, и она верила, Дуда и сам — насмешник. Однако главным было все-таки не это — просто она впервые получила *своего* мужчину и понемногу стала чудовищно ревновать его к прошлому, становиться заложницей его многих браков. Потому что, как и почти все мужчины, он привык рассказывать о себе не таясь. В этом не было и доли позерства, он был уже не в том возрасте, когда хвалятся количеством своих дам, — просто-напросто, как и многие из нас, он не был на войне, не сидел в тюрьме, а друзья, книги, картины и женщины были главными впечатлениями его жизни, и о чем ему было еще с Танюшей говорить. Но не без гордости, впрочем, он повествовал о качествах своих жен — а ведь некоторые и впрямь были по-своему яркими, — и она слушала его с жадностью мазохистки. А потом взяла моду вновь и вновь выспрашивать все новые и новые подробности. В простом ее уме камушек к камушку возносился ужасный в своем великолепии подавляющий храм прошлого ее мужа, богемца и Казановы, храм, в котором для нее не было места, и это вам не светский раут. Ревность к прошлому — самая мучительная разновидность этого разрушительного чувства, ибо поделаться уж ничего нельзя. Победить своих соперниц она могла только одним путем — затмить их. Одной молодости здесь было явно недостаточно, те ведь в его памяти тоже оставались молодыми, так что ей, простушке, пришлось изыскивать и в себе резервы экстравагантности. И тут Дуда, пусть неволью, выступил в одной из главных своих жизненных ролей записного подпольщика — в роли провокатора: он нашептывал ей, утешая, что она, Таня, чудеснее и необычнее всех бывших. Он-то таким образом лишь пытался забрать власть над ней, но она и впрямь стала казаться себе *вамп*, хоть и не знала скорее всего такого слова. Она боготворила его и стала пытаться как бы заслонить его от мира, не защитит, а именно закрыть мир собою; он только посмеивался, не понимая, какого дждинна выпустил из бутылки, ведь в известном смысле она становилась оправданием его беспутного прошлого. Она стремилась поразить его. Хоть как-то, хоть чем-то. Однажды ей это удалось как нельзя лучше: Таня выбросилась из окна квартиры с шестнадцатого этажа на его глазах. Они вернулись из гостей, она была вполпьяна, сам Дуда — абсолютно трезв, уже больше года как *в завязке*. Едва войдя в комнату, она сбросила с плеч то самое манто, рванула балконную дверь и ринулась к перилам. Он не сразу понял, что происходит, и успел лишь кончиками пальцев проскользнуть в последний раз по шелку ее кофточки. Таня погибла, так и не увидев Елисейских полей. Вот только не сообразила, что произведенного ею на мужа впечатления увидеть уже не сможет. Разве что оттуда, сверху, куда, по слухам, и попадают такие бесхитростные души.

Советский писатель

Моя сестра, учась классе в седьмом, сидела за одной партой с товаркой по имени Тереза. Случилось так, что у Терезы дедушка оказался *членом* Союза писателей. Не то чтобы известным сочинителем, он даже вовсе не был писатель в посконном смысле слова, но — добывал пером жирные довески к профессорскому жалованью. Фамилия его была Западов. Кстати, фамилия хорошая, его дед был из дореволюционных церковных иерархов, чуть не епископом русского Севера, и дворянин, конечно.

Александр Васильевич Западов — его помнят многие, кто учился на факультете журналистики МГУ, где он долгие годы читал лекции по истории русской литературы, — был знатоком генеалогии русского дворянства XVIII века; но, поскольку подобная специализация корму дать не могла, Западов стал литературоведом широкого профиля и, что важно, многолетним внутренним рецензентом — была тогда такая профессия, кормившая порой и вашего покорного слугу, а нынче упрямая за ненадобностью — издательства «Советский писатель», в котором выпускал и собственного сочинения исторические романы. Произведения эти были тяжеловесно писанными и пресными, даром что из галантного века Екатерины, но с точностью часов выходили раз в два года и смачно оплачивались — платили-то тогда не с продаж, а от объема и тиража, пусть и не разошедшегося, — и жило семейство в достатке. Помнится, как-то, уже в пору тесных наших отношений, мы ехали с профессором в такси по Калининскому на Кузнецкий, в «Книжную лавку писателей», забирать авторские экземпляры его очередного опуса, и старик низко поклонился задней части издательского здания, фасадом глядевшего на Воровского, произнес *спасибо, кормилец*, — он вообще был склонен к невинному цинизму клоунаде... Короче, на писательской кухне Западов знал все ходы и выходы.

Случилось так, что мои ранние непечатные рассказы, те самые, что читал я в *красном уголке* в Сокольниках, а потом по богемным сборищам, оказались у Западова в руках — при посредничестве подружек-семиклассниц, вероятно. И жена Западова Галина (приблизительный перевод армянского Гаяне) Христовна мне рассказывала позже за чаем, что *Сашенька*, махнув весь цикл рассказов разом, долго потом расхаживал в волнении по кабинету...

Я был призван. Западов показался мне обаятельным, породистым пожилым господином с дворянским питерски-собачьим лицом, а давненькая обстановка квартиры на Кутузовском, в том доме, где некогда располагался магазин «Вологодское масло», тоже представилась вполне барской. Меня пригласили в кабинет, полутемный, уставленный до потолка книгами в *шведских* шкафах, с бронзовоногой лампой под зеленым колпаком на зеленого же сукна поверхности огромного письменного стола, и спросили: много ли у меня написано? Кстати, ровно такой же вопрос чуть позже задавал мне умнейший Даниил Семенович Данин, которому я тоже показывал свои рассказы. Тогда я ответил точно, мне казалось, что написано много, к моему удивлению, он сказал *пишите больше*. Помнится, Данин по прочтении спросил и еще: «Вас когда-нибудь прижигали каленым железом?» Несколько обескураженный, я признался, что нет. «Значит, вы не знаете этого ощущения. Но пишете же: *«Боль была такая, как если бы ее лицо прижгли каленым железом...»*»

Но этот данинский урок я вспомнил ни к селу ни к городу, Западова такие пустяки не интересовали, он был человек практический. Мне было чуть больше двадцати, и я тогда понятия не имел, что значит *много написано*, к слову, не знаю и сейчас, — наверное, томов двадцать. К тому ж в моих писаниях был один объяснимый парадокс: помимо явно не подцензурных и довольно жестких, не без *натурализма*, рассказов я на голубом глазу параллельно сочинял какие-то сопли в духе журнала «Юность», почти не осознавая нестыковки; по-видимому, уроки Якобсона и примеры печатавшегося вокруг подсознательно откладывались и до поры мирно сосуществовали на разных уровнях в моей пустой юной

голове... «Впрочем, это и не важно,— задумчиво продолжил Западов,— можно положить *туда* и пачку белой бумаги. Главное, молодой человек,— это *занять очередь*».

То, о чем говорил со мною тогда Западов, казалось мне несусветным: он совершенно серьезно упомянул издательство «Советский писатель», где, по его мнению, у меня вполне могла бы выйти первая книга. Сегодня трудно объяснить, сколь невероятно дерзновенно звучало в те годы само подобное предположение. Во-первых, именно это издательство было тогда *главным* местом, где издавались *главные* поэты, беллетристы, критики из писательского Союза; чтобы *попасть в план*, маститые совписы *стояли в очереди* годами, а в дни, когда этот самый *план* утверждался, издательство жило в форменной осаде, причем приезжие из дальних союзных республик только что не разбивали в сквере перед зданием шатры; позже в издательстве, в кабинете заведующей редакцией прозы некоей мадам Вилковой, я бывал свидетелем истерик *вдов* и сердечных приступов пожилых сочинителей, выпавших из обоймы и оттесненных от корыта; разумеется, в издательстве принимали и подношения, а по выходу книги некоторые беллетристы почитали за честь *отстегнуть* редактору до половины гонорара. Многие этого рода подробности я узнал лишь позже, но и тогда было ясно, что субчика вроде меня к этому святая святых распределения писательских яств не могут подпустить и на выстрел. Не говоря уж о том, что к тому времени я ни строки не опубликовал...

Но кто-кто, а Западов знал наизусть всю механику. Дело в том, что в издательстве, пусть с явной неохотой, по разнарядке Союза и — выше — идеологического отдела ЦК, время от времени *давали дорогу молодым*, готовя *смену*. Предполагалось, разумеется, что эта самая *смена* будет продолжать *дело отцов*, и зачастую буквально так и было — в *план* удавалось вставить сочинения детей тех, кто был у кормушки. У Западова, мне повезло, не было детей подходящего возраста и склада,— его единственная дочь от другого, не армянского, брака жила в Ленинграде и была, на мое счастье, византологом и кандидатом искусствоведческих наук,— и в некотором, беллетристическом, смысле он решил меня усыновить.

Сказано — сделано: я собрал все, что у меня было не крамольного, начиная с сочинений старшего школьного возраста, получилось страниц двести пятьдесят, и, потев от страха, что выгонят взашей, понес в издательство; но на меня там глянули без интереса, и очкастая мрачная секретарша в мини-юбке, открывавшей в полной красе ее стройные кобылей силы ноги и ляжки, и столь неприступного вида, что тут же делался ясен род ее основных в издательстве занятий, скоренько мою папочку зарегистрировала и положила на полку. Наставление Западова было таково: поскольку до выхода книги пройдет лет пять, не меньше, я успею сочинить новые вещи и в порядке *доработки* подменю ими то, что мне самому кажется наиболее слабым... К слову сказать, так оно и было, я действительно за пять лет практически составил книжку заново, и она вышла-таки в 77-м, когда мне стукнуло аж двадцать шесть, возраст, в котором уже были написаны их авторами «Вертер», «Герой нашего времени», «Фиеста», «Будденброки». Тем не менее я оказался *самым молодым* автором издательства за многие предыдущие годы, *сыном полка*, так сказать, вот что значило в те наши годы вовремя занять очередь... Но я забегаю вперед.

Пока книга *двигалась*, то есть рецензировалась самим Западovým и неким Жуковым, о которого потом я больно споткнулся; *вставала* в план (именно так было принято выражаться, что косвенно отражало тот факт, что книги, оторвавшись от творцов, в советские времена начинали *жить собственной жизнью* уже на стадии рукописи), так вот, *вставала* в план, чтобы потом, рискуя собой, в этом самом плане всеми силами удержаться, ибо избранных было всегда меньше званых; наконец, пройдя через горнило внутриредакционных испытаний и нешуточной брани, книжка оказывалась в руках кого-либо из редакторов, и не-

маловажно было — в чьих именно, поскольку редактор вовсе не рвался ее читать. Но я все эти страсти наблюдал как из партера — мой ангел-хранитель устравал все за меня, хоть мне и было предписано раз в месяц аккуратно представлять пред очами заведующей редакцией прозы. Но, кажется, даже у такого тактика и стратега, каким был Западов, изредка бывали сбои. И вот заведующая Вилкова, дама лет под шестьдесят, кривоглазая, как сватья Бабариха, всегда принимавшая меня с шуточками, иногда довольно похабного сорта, однажды встретила серьезно. Она внимательно меня оглядела и, кажется, осталась довольна:

— Слушай, голубчик, спустись-ка на второй этаж, иди налево, найди кабинет главного редактора издательства Карповой. Постучись в дверь, войди и просто стой. Ничего не делай и не говори. Стой. Если спросит, как тебя зовут, — скажи. И все.

Я, подивившись, сделал, как было велено: постучал, вошел и встал. От стола подняла на меня глаза женщина вилковских лет, похожая на заведующую отделом кадров. Она довольно долго меня разглядывала, потом молвила:

– Вы Климонтович?

Я согласился.

— Можете идти, — сказала она очень мягко, что до крайности не вязалось с ее наружностью.

Я пошел. Когда я поднялся к Вилковой — та сияла.

— Умница, все отлично, она уже звонила, дело сделано...

У этого эпизода было не менее комичное продолжение: когда книга наконец-то вышла, с этой самой Карповой мы столкнулись на издательской лестнице.

— Хорошая получилась книга, — заметила она, — поздравляю. — И добавила: — Вот только портрет неудачный...

Это уж потом, короче узнав нравы советских издательств и советских временных изданий, именующихся и до сих пор толстыми журналами, я понял, как мне повезло, что обе дамы были уже в весьма солидном возрасте: будь они хоть десятью годами моложе, дело могло бы принять не столь платонический оборот...

И вот наконец дошло до знакомства с моим будущим редактором. Звался он Игорь Х. Это был спитой до прозрачной синевы, до своего рода даже обаяния, вечно простуженный, кашлявший от непрерывного «Беломора», затрапезно одетый человек, не похожий по типу ни на один из мне известных. Это уж только потом я понял, что так и выглядит истинный, типичный, средний *советский писатель*; я уж упоминал, что само членство в Союзе непосвященному казалось очень высоким положением на общественной лестнице; но надо ли говорить, что были члены и члены, и в целом Союз повторял в миниатюре все общественное советское устройство: здесь было свое политбюро и свои парии, и, конечно, был самый толстый слой — середняков, в среде писателей являвшийся примерно тем же, чем непомерно огромное сословие так называемых ИТР в самом советском обществе. Так вот, этот самый Игорь Х. был страшно похож на стареющего — за сорок — младшего научного сотрудника заштатного НИИ, которому уже никогда не защитить диссертацию.

Сколько ж мы с ним выпили, пока рукопись вяло двигалась в сторону типографии! Дело даже не в том, что Игорь был записной пьяница, и не в том, что и я, в свою очередь, с удовольствием попивал водочку в *пестром зале* Писательского дома на легитимных основаниях, — это раньше меня отсюда нещадно турил администратор Шапиро, гроза окололитературной шпаны, нынче же я восседал со *своим редактором* в полном своем праве. Просто-напросто других дел у нас с ним не было: Игорь сразу же объявил, что не поправит в моей рукописи ни знака, я даже не знаю — читал ли он ее вообще; это был

отчасти его классовый протест против того, что я в моем сомнительном возрасте печатался явно по блату, а не проходил тернистого пути, каким влачился некогда он сам и многие-многие другие его друзья и коллеги. Но при том, что в его глазах я был, разумеется, выскочка, кем-то вроде секретарского сынка, относился он ко мне вполне добродушно... Сначала я его угощал. Потом он меня. Но мои резервы были весьма скудны — я трудился младшим литсотрудником в молодежном *тонком* журнале «Юный техник», его — многим лучше: у него не работала жена, были две дочери на выданье, а получал он, как советский инженер средней руки. И вот, помнится, сидели мы, сидели, все пропито, и он сказал: «Ладно, поехали, сейчас добудем денег». Взяли такси, меня не удивило, что направились мы в сторону «Аэропорта» — там и сейчас расположено *розовое гетто*, как называли московские острофразы писательские аэропортовские кооперативы, так выразительно описанные Войновичем, — я подумал, что, наверное, Игорь решил разжиться у кого-нибудь из своих имущих авторов. Но, когда мы оказались в литфондовой поликлинике, я был заинтригован. Мы уселись перед кабинетом главного врача — того не было на месте, и нас попросили подождать. Игорь был молчалив и сосредоточен. И вот главврач явился. Это был высокий красавец еврей с великолепной седой гривой, донельзя холеный, с золотыми перстнями на ухоженных пальцах и ногтями в маникюре. Завидев Игоря, он слегка двинул густыми бровями и сделал жест: мол, пожалуйста. Игорь встал, и не могло быть более вопиющего контраста — между стоптанными, явно не разлапанными Игоревыми башмаками и лакированными штиблетами главного врача. Они исчезли в кабинете, и уже через минуту Игорь вышел, кивнул мне, мы быстро засквозили к выходу. На улице он шепнул: «*Есть сotchка*». Забавно, он *соченку* называл *сotchкой*, не путая ее, конечно, с единицей земельного измерения, но по алкогольной привычке... Пока мы добирались обратно в ЦДЛ, Игорь объяснил, что за этого самого врача пишет роман из жизни тружеников медицины для журнала Вадима Кожевникова «Знамя». На мой осторожный вопрос, а знает ли об этом Кожевников, он с удивлением сказал: ну так он же мне и сосватал этот заказ. И чтоб я, молокосос, хоть немного был в курсе дел на кухне отечественной словесности, пояснил: найм *негров* практикуется сплошь и рядом; иногда пишут и за секретарей, они люди занятые, времени у них — лишь проглядеть да подправить; но бывают и иные случаи: скажем, когда директор издательства Лесючевский выбил вот этот самый особняк на Воровского, дом был в ужасном состоянии, Лесючевский вызвал своего главного инженера и сказал: особняк должен быть готов тогда-то, но денег нет, делай что хочешь, со своей стороны предлагаю — напиши роман, я издам... Как видим, задолго до Сорокина в России был изжит архаический взгляд на словесность как на область высокого парения индивидуального духа...

Но вернемся к Западovu. Мало-помалу я стал завсегдаем у них в доме — на Кутузовском или на переделкинских дачах, которые они каждую зиму снимали то у одной, то у другой *вдовы*, — вдов тогда до смерти с дач не выселяли, не как в наше демократическое время. И, надо сказать, я поднабрался всяческого литературного хлама, окунувшись в своего рода писательский фольклор. Дело в том, что Западov со своей женой познакомился на филологическом факультете Ленинградского университета где-то в начале 30-х. Юная Гаяне была родом из Кисловодска, и помню ее забавный рассказ, как к ним в гимназию пришел выступать Хлебников; но легкомысленным девицам было не до Председателя Земного Шара, они все шушукались и хихикали, пока наконец Велимир не расплакался... Ее рано выдали замуж за богатого армянина, который не нашел ничего лучше, чем отправить молодую жену учиться — причем куда-нибудь подальше; причиной тому, вероятно, была ее бесплодность — у нее и с Западovым детей не было... Соединившись, моло-

дые супруги оказались в гуще тогдашней пишущей ленинградской молодежи, в компании Ольги Берггольц и Бориса Корнилова, Павла Васильева и Бог-весть кого еще. Приведу только один из множества услышанных мной анекдотов — лишь потому, что в нем кое-что о времени. На какой-то прием был приглашен Павел Васильев, тогда уж прославившийся поэмой о Черлаке. Поэт скромно стоял у парадной лестницы, мимо шли наверх в залу важные гости. И вот какой-то американец, приняв Васильева за швейцара, сунул ему в руку доллар. Когда американцу объяснили его ошибку, мол, это один из наших *самых* поэтов, тот, разумеется, пришел в ужас, рвался извиниться, но Васильева и след простыл. Американец никак не желал утихомириться и страшно волновался за чувства оскорбленного им пиита. Тогда кто-то взялся Васильева разыскать; и вскоре вернул его на прием, найдя в ближайшем торгсине, где поэт на заработанный доллар уже покупал напитки... Что ж, в подобной ситуации многие поступили бы так же, хоть мы с Салимоном, не правда ли, Володя?..

Однако историй покруче этой набрался я у Тамары Владимировны Ивановой, у которой Западными снималась дача два зимних сезона подряд. Бывшая до Ивановой женой Бабеля, Тамара Владимировна была мастерица из мастериц литературных историй — почище Жени Рейна. Особенно мне запомнилась история из времен эвакуации: однажды в Алма-Ате, кажется, вместе выступали Анна Андреевна Ахматова и поэт Луговской, который, несмотря на свою *курсантскую*, что ли, *венгерку*, на фронт никак не хотел. Натурально, они сидят в президиуме, Луговской читает первым; был он, как водится, вполпьяна, что никак не мешает, мы знаем, вдохновению; отчитав, он откланялся, но отправился не на свое место в президиуме, а в глубь сцены; Ахматова уж было приготовилась выйти к рампе, как заметила, что весь зал, замерев, смотрит куда-то за ее спину; обернувшись, она обнаружила, что Луговской преспокойненько тут же, на сцене, мочится в кадку с фикусом... Другая история уж из наших дней: однажды ночью на ивановскую дачу прибежал Евгений Евтушенко в ужасном виде — рука его была глубоко порезана, он истекал кровью. Хозяйка, переполошившись, решила, что на *Женю* напали разбойники! «Тамара Владимировна, — возопил тот, — на меня Галя бросилась с ножом!» «Бог мой, почему?» — воскликнула хозяйка. «Она говорит, что это из-за меня был тридцать седьмой год, а ведь мне тогда не было и четырех лет!» Поясню: Галя была тогда второй, после Ахмадулиной, женой Евтушенко, уведенной им у Луконина; кстати, именно ей посвящено вознесенское «Бьют женщину» — видно, хмельной Луконин любил метельить свою половину...

У Западных почти не бывало людей. Так, пригласит Александр Васильевич свою смазливую аспирантку к обеду, и войдет в репертуар: «Ганя, а где же наши серебряные щипчики для сахара?» «Сашенька, — подыгрывает жена, — у нас отродясь таких не было». «Ай-яй-яй, — укоризненно качает тот головой, — вот когда я жил с графиней Н. Н., та никогда не носила серебро в ломбард...»

Однажды, помню, во время обеда зазвонил телефон и старушка попросила меня взять в прихожей трубку. Звонил какой-то мужчина и глухим, низким голосом попросил *Гаяне*; Запад до старости — пока его из больницы после инфаркта не умыкнула-таки к себе какая-то его тоже уже пожилая дама — из бывших аспиранток, украв у законной жены, — ревновал свою половину, но я не знал этого и ляпнул, что хозяйку требует к телефону какой-то мужской голос; Запад насторожился, но, прислушавшись, плюнул и расхохотался: да это ж Фаина! Звонила Фаина Раневская... И чтоб уж закончить с байками, расскажу, откуда Раневская хорошо знала Гаяне Христофоровну.

До войны, с десятков лет живя вместе, Западны оставались не *расписанными*: даже если ее армянин и дал Гаяне к тому времени развод, в среде интеллигенции тогда не придавали ни малейшего значения таким формальностям. В

41-м Александр Васильевич ушел на фронт, а Гаяне оказалась предоставлена самой себе. Еще до блокады она подалась в Москву и вскоре осела в гостеприимном доме Ардовых. Как уж это случилось — Бог весть, но исполняла она в доме роль гувернантки при пасынке Ардова, юном Алеше Баталове, не отличавшемся в те годы покладистостью нрава. И, таким образом, знавала множество ардовских гостей — и Ахматову, и Раневскую, и многих других... Однажды Западовы взяли меня с собою в гости к Ардовым на Ордынку. Старик Ардов был уже совсем плох, но держался за столом молодцом, пока тут же и не заснул. Но все эти двадцать минут он непрерывно развлекал гостей. Мне он прочел:

Что ты дуешь в трубу, молодой человек?
Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек.

И неверной рукой надписал только что вышедшую книжечку из «Библиотечки «Крокодила». При этом сказал: «Сегодня мой автограф стоит в литмузее три рубля, когда умру — будет стоить пять». Он умер через две недели, книжечка же так и стоит у меня на полке — на черный день... Помню и еще одну его остроту, каковая позволяет установить время этого визита; заговорили о Солженицыне, который тогда все писал письма съездам и вождям, и Ардов заметил, пожав плечами: «Выбрал бы, что ли, кем командовать — патриархом или Генеральным секретарем».

Ну да этот литературный треп можно продолжать бесконечно, хоть на мой вкус в нем есть немалый смысл: текст прочитать может каждый, но такой штрих, как слезы Хлебникова перед кавказскими гимназистками, — это, извините, непременный атрибут не просто авторства, но мифа. Да и говорит многое о нравах. Как, скажем, еще одна байка Гаяне Христофоровны — о Смелякове. Он занимал в Переделкине скромную дачку прямо позади ивановской. И вот старуха Западова сидит на лавочке, мимо идет пьяный Смеляков, видит ее, кладет руку на плечо и молвит: «Пойдем к тебе...» Ладно, будет, вернемся в «Советский писатель».

Едва моя первая книжка вышла, как дерзновенный Западов сказал, что нужно заключать договор на следующую. При этом на книжку были рецензии, но отнюдь не лестные. Самая мягкая в «Литературке» звучала примерно так: «Неясно, зачем было возводить столь изящное здание, коль никаких общественных проблем автор не ставит и жить в этом здании нельзя». И опять-таки трудно сегодня передать, сколь невероятным было такое предложение — даже в том случае, если б я получил премию Ленинского комсомола; издательство вообще не заключало договоров по заявкам, ну разве что с Расулом Гамзатовым.

Мне было, повторю, двадцать шесть, и никакого литературного опыта у меня не было. Из будущего романа «Цветы дальних мест» у меня была написана, дай Бог, первая глава, которую я к тому же в сотый раз переделывал, никак не умея попасть в нужный тон. Но чудо случилось, и вот по трехстраничной заявке со мной заключают договор и платят аванс.

В юности к чудесам привыкают быстро. И, коли они с вами происходят не раз, вы начинаете легкомысленно полагать, что так будет всегда. Однако расплата подстерегает счастливицков за ближним углом, и очень скоро мне предстояло в этом убедиться. Тогда я еще не был бит, но крайне самонадеян, поэтому даже не очень-то и удивился, отнесясь к очередному призу судьбы как к должному: сгреб свои денежки и отправился на снятую мною на гонорар от первой книги дачу сочинять. Тем более что вокруг первой книжки возникли известные ажиотаж. Меня стали вызывать на какие-то *совещания молодых* в загородном пансионате с коштом и финской баней, пригласили на какое-то торжественное заседание в ЦДЛ, где авторов первых книг представляли писательской общественности их рекомандатели в члены Союза, короче, я *попал в обойму* — достаточно сказать, что я оказался вовсе не по заслугам и не по чину в одной компании с Тимой Зульфикаровым, Анатолием Кимом и

Прохановым, писавшим тогда нечто лирическое о том, как он спал со своей редакторшей,— распространенный мотив советской прозы, встречавшийся даже у такого серьезного писателя, каким был Константин Воробьев («Вот придет великан»),— все старше меня лет на десять—пятнадцать. Правда, я был достаточно благоразумен, чтобы относиться ко всему этому с юмором и легкой брезгливостью. Вот и Фазиль Искандер, когда его попросили выступить и представить меня как его креатуру (Фазиль написал мне рекомендацию в Союз), отмахнулся, что, мол, занят, а мне пожал руку и сказал кратко: «*Иди пиши*». К тому ж вся эта дребедень, столь далекая от письменного стола, отчаянно припахивала партийной фальшью. Помню, меня и других соискателей членства в Союзе комиссия по приему пригласила на собеседование в Московскую организацию. Там сидели невозможные функционерские рожи. Они по кругу спрашивали нас о *творческих планах*. Когда дошла речь до меня, я коротко сострил, что, мол, планов много, но мало денег. Это была невозможная бестактность. Тут же поднялся член комиссии критик Блинов — я запомнил фамилию, потому что и морда у него была блином, если только бывают блины раскаленно красного цвета. Он был в такой ярости, что захлебывался: *да он... да я... да мы...* И, наконец, выдохнул: «*Да я в его возрасте еще гусей пас*». И скорее всего это была правда... Кстати, на этом же самом заседании случился такой казус: неожиданно в комнате появился Борис Можаяев. И стал говорить в том духе, что пора прекратить эту показуху и балаган, что не надо сбивать молодых с толку; вот, скажем, чему может научить такой главный активист *по работе с молодыми*, как Олег Попцов? Поясню, Попцов был главным редактором журнала «Сельская молодежь» и пек отвратительно толстые бездарные романы про комсомольцев, которые кирпичами публиковал в издательстве «Московский рабочий». Потом он сделался ярым демократом, но тогда именно ему была поручена идеологическая — а какая другая могла быть? — *работа с молодыми*. Попцов между тем не был членом Комиссии и отсутствовал. Ну Можаяев высказался, члены вежливо промолчали, как если бы перед ними был старый маразматик, оторвавшийся от жизни, которого пришлось выслушать из вежливости,— и заседание закрылось. А через часа два, в сумерках, когда после посещения буфета я ловил такси на стоянке у ЦДЛ, на улице я застал такую картину: маленький Попцов держал за грудки довольно крупного мужика Можаяева и что-то страстно, с пеной у рта, верещал; вид у Можаяева был испуганный, рыжая борода вспенилась, он слабо извинялся... Вот хватка была у комсомольцев: Попцову быстренько на Можаяева наступали, он не поленился примчаться, чтобы разобраться с обидчиком на месте...

Но дальше мои дела пошли не так гладко. Роман я написал и сдал в срок, взяв, правда, вполне официально месячную пролонгацию. И время этого писания мне вспоминается как ужасное и восхитительное. Самым невозможным образом я был тогда молодым гулякой и прилежным сочинителем одновременно. Я писал по чужим дачам — о *домах творчества* тогда и мечтать было нельзя,— в квартире родителей, даже в больнице, куда меня, абсолютно здорового, поместил мой тогдашний зять-невропатолог; но и там, в одноместном *изоляторе*, меня навещали дамы, лился коньяк, сменялись медсестры, а стук пишущей машинки заглушали стоны умиравшей за тонкой стеной старухи: «*Таня, Таня...*»

Когда я представил готовый роман Западову, он по прочтении, как некогда, затребовал меня на дачу. И, как некогда, был взволнован. Было начало марта, Западов вызвал меня на прогулку. Помню, мы текли со стариком вместе с вешними ручьями мимо пастернаковской дачи, на которой тогда еще жил знаменитый на весь поселок чау-чау, надолго переживший хозяина,— Западов все молчал, будто раздумывал, поделиться ли со мною сокровенным. Потом сказал коротко: вы стали писателем...

В конце весны 1979 года я получил две рецензии на этот самый роман. Некогда хваливший меня Жуков, сидевший в издательстве уже на месте Карповой, писал, что роман с такими *идеологически-эстетическими установками* напечатан быть никак не может. Но главный сюрприз был впереди: в рецензии моего покровителя Западова было написано что-то в этом же роде, быть может, чуть мягче. Тогда же, помнится, он еще раз призвал меня и объяснил, что вышло постановление ЦК «О работе с молодыми», идеологические установки очень ужесточились, и даже показал мне текст какого-то выступления Маркова, тогдашнего писательского папы римского, где Западовым были отчеркнуты соответствующие места, призывающие старших товарищей к бдительности к *настроениям колеблющейся молодежи*. «Так что сами понимаете», — разводил руками Западов.

Но я не понимал. Я был покороблен и уязвлен — ведь он только что восхитился романом. Я счел эту рецензию малодушным предательством. Я изъял из своего *дела* в Союзе западовскую рекомендацию и спустил в его почтовый ящик. Я перестал у него бывать. В то же самое время в «Новом мире» мне показали рецензию на мой роман бесстрашной и мудрой Инны Соловьевой, и этот текст утишил бы и не такие раны. Чтобы дать понять, какова была эта рецензия, приведу лишь возмущенный отклик тогдашнего редактора журнала Наровчатова: «Я было подумал, читая рецензию Соловьевой, что перед нами новый Фолкнер». К слову, Наровчатов пил и сам ничего не читал: моя редакторша, милейшая Наталья Долотова подсунула ему рукопись читать на время *субботника*, когда прочим сотрудникам редакции вменялось производить уборку и расчищать завалы самотечных рукописей. В отзыве Наровчатова был еще и забавный скулеш: «Бог мой, что ж мы будем делать с такими-то описаниями национальных меньшинств?»

Как бы то ни было, рецензия Инны Натановны была призом, искупающим многое, если не все. Более того, как некогда Фазиль Искандер, а потом Владимир Чивилихин, в разные годы читавшие частным образом мои опусы, Соловьева позвонила мне домой и пригласила в гости — знакомиться. Мы с ней и с ее подругой Верой Шитовой, можно сказать, подружились, и в первый же вечер Инна Натановна всучила мне, несмотря на мое сопротивление, жирную нежную селедку, полученную ею в писательском *заказе*, — я понял и символику этого жеста, намекавшего, кажется, что и я сообразно качеству написанного имею уже право на свою скромную сочинительскую пайку... Помню, когда я обо всем рассказал Жене Харитонову, тот только ахнул: нет, определенно тебя любит Бог, раз столь постоянно не оставляет своей милостью.

Соловьева с радостью черкнула мне новую рекомендацию, которой я и подменил западовскую. Другими поручителями были, как сказано, Фазиль Искандер и критик Лев Аннинский. И дело мое действительно двигалось к прохождению приемной комиссии писательской организации. Но — меня понесло. Придравшись к тому, что издательство на месяц — сравнительно со сроками, указанными в договоре, — просрочило предъявление мне рецензий, я подал на «Советский писатель» в суд. Помню, меня встретил на улице Аннинский и, держась за голову, простонал: «*Кто же судится с «Советским писателем»!*» Какой-то чиновник в приемной комиссии говорил в ужасе: «Вам же полгода оставалось до приема, хоть потерпели бы». Вилкова страдальчески морщилась: «*Да ведь и генералы не ропщут, когда рукопись возвращают на доработку...*» Но я твердо решил, что больше в эту игру не играю.

Это не был спонтанный капризный жест обиженного юнца. Во-первых, поступок Западова как-то сразу высветил, в какое болото меня затянуло. Во-вторых, все мое воспитание и окружение тех лет — а это был, так сказать, околометропольский круг, — подсказывало, что приличному человеку в Союзе писателей никак не место. Юрий Айхенвальд саркастически говорил родителям: «Видел Колю на улице, выправка совершенно писательская, *посоха не хвата-*

ет». Короче, постыдный успех первой никуда не годной книжки нужно было испускать. И, главное, я не собирался лакировать роман, не собирался изменять в нем ни строки — во всяком случае, под диктовку жуковых. И, конечно же, свою роль в этом решении сыграла и новомирская восторженная рецензия Соловьевой... Суд я выиграл. Адвокат издательства в коридоре шептал, что две тысячи, что я отсужу, скоро иссякнут, а мне жить и жить; в зале же заседаний он голосом Плевако вопрошал судей: уж не хотят ли они, чтобы из печати выходили *антисоветские сочинения*? Но судьи лишь хмыкали, и я выиграл. И вот тут, перед выплатой причитающегося по исполнительному листу гонорара, меня вызвал к себе новый директор Еременко, спущенный после смерти Лесючевского в издательство из ЦК. Я уж вдруг решил, что победил по всем статьям и *они* согласны пойти на попятную. Войдя в знакомый кабинет, я увидел за столом лысого нестарого человека, и не подумавшего встать навстречу. Мне сесть он тоже не предложил. С минуту он разглядывал меня, потом произнес с невероятной ненавистью: «Хотел только взглянуть на вас, у меня сын такого же возраста, идите...» Лет через десять уже в обновленном Союзе Саша Иванченко, бывший тогда одним из секретарей и получивший в руки мое *дело*, подарил мне на память донос Еременко, направленный им в Союз: *и такого-то человека вы собирались принимать!*..

Началась долгая эпопея с «Новым миром». По иронии судьбы вскоре заведующим отделом прозы журнала оказался все тот же Жуков, и роман мне вернули. Потом позвонила Долотова и сообщила, что Жуков ушел, а на его месте — милая женщина по имени Маргарита. Роман вернулся в редакцию. Это была долгая, изнурительная борьба. Я делал *журнальный* вариант, его однажды даже набрали, потом рассыпали набор, потом опять подписывали в печать... Годы доплыли, как облака, до 87-го, и на месте *заведующего прозой* неожиданно оказался Вадим Борисов, человек нашего круга, автор «Из-под глыб», друг моего друга Володи Кормера. Казалось, теперь-то роман выйдет — Вадим мне это клятвенно обещал. Но году в 88-м накатилось *красное колесо* и забило весь журнальный объем на несколько лет вперед... Роман вышел в «Волге» в 90-м и тогда же — в родном «Советском писателе». Да и сам я к тому времени стал *советским писателем*, ибо на корочках моих значилось *Союз писателей СССР*. При желании в том можно было бы увидеть повод для торжества. Коли не знать, конечно, что пройдет совсем немного времени, и не станет ни самого Союза, ни «Советского писателя», ни советских писателей, ни даже *нового мира*, потому что его место займет мир поновей...

Жалею ли я о том, что не доправил книгу, не довел до их ума, не протащил с ней тихой сапой в издательский план? При определенном смирении все это было возможно. Что неблагодарно судился с *кормильцем*? Ведь моя жизнь сочинителя сложилась бы тогда совсем по-другому... Нет, конечно, не жалею. Ведь в этом случае я оказался бы совсем в другой компании и среди других людей, и не было бы у меня товарищей, с которыми мы потом съели пуд литературной соли. Жалею я об одном: выйди роман вовремя — он был бы *прочитан*. Безводная опасная и прекрасная пустыня, засыпанная пустой стеклотарой, по которой мечутся глупые и растерянные люди, уповая набрести на неведомый оазис... Впрочем, эта метафора и по сей день актуальна.

«Метрополь» и подметрополье

Исконное свойство русских заговоров: при самой тщательной конспирации публика знает о них заранее и с нетерпением ждет результатов. Исконное свойство русских властей: тоже будучи в курсе дела, они никогда эти заговоры не пресекают вовремя... О том, что Василий Аксенов собирает неподцензурный какой-то сборник, я узнал за год примерно до того, как произнесено было вслух само имя: «Метрополь». Причем узнал, как ни странно, из уст общих с Аксеновым

французских знакомых — как видно, уже тогда стратегические *утечки* носили интернациональный характер. Позже выяснилось, что мотором дела были два молодых по тем временам, почти не печатающихся сочинителя, Виктор Ерофеев и Евгений Попов, а Аксенов служил как бы заманчивой вывеской всей лавочки. Здесь нет загадки, психологи знают, что во взрослых группах наиболее инициативны всегда дети, именно они заставляют родителей оторвать задницу от кресла перед телевизором и тащиться в кино.

Позже со слов Жени Попова для меня нарисовалась такая картина. После того как он, еще будучи жителем Красноярска, города К. на реке Е., как обозначал в многочисленных рассказах свою *малую родину*, оглушительно дебютировал в 76-м подборкой рассказов в «Новом мире», которой было предпослано предисловие Шукшина, Женя попал в Москву на *Всесоюзное совещание молодых писателей*. Такого рода мероприятия проводились под эгидой комсомола и носили характер кромешной показухи. *Совещание* происходило в писательском Переделкине, то есть по первому разряду, и я отсутствовал на нем лишь по той причине, что уже начал склочничать с «Советским писателем». Там-то Ерофеев и Попов познакомились.

Они ровесники, и в этом было единственное между ними сходство. В те годы это была презабавная парочка, слепленная как будто по законам клоунады циркового ревью — из разительного контраста. Ерофеев, жуир, умница, говоривший на двух языках, делавший блестящую академическую филологическую карьеру, юноша, безусловно, образованный и светский, подолгу живший с семьей за границей, принадлежавший кругу самой блестящей в тогдашнем СССР, МИДовской, номенклатуры, женатый к тому же на дочери первого советника польского посольства, и Попов, геолог по образованию, юность проведенный в московском студенческом общежитии с мышами и тараканами, потом в сибирских партиях, где спал на земле с эвенкийками и пил неразбавленный спирт, сын офицера внутренних войск, основное занятие какового после увольнения в запас была пьяная игра на гармошке, — все это почерпнуто из его же автобиографических сочинений, — выросший на задворках Красноярска, общавшийся до того на темы художества лишь в кругу дремучей провинциальной спивающейся богемы; в те годы, когда отрок Ерофеев осваивал французский, этикет и манеры, Попов ходил в Дом культуры в красноярском пригороде, в кружок самодеятельности, где учился игре на музыкальном инструменте под названием *домра № 5*. Ерофеев был выращен на хороших продуктах из «Березки» и на мясе с Черемушкинского рынка, Попова с отрочества посылали стоять в очереди, чтобы по талонам получить муку с жуками и постное масло первой очистки. Но в Попове был всеми вокруг ощущаемый мощный природный литературный дар, необъяснимое, как всякий знак Божий, виртуозное владение словом, абсолютный слух и ярко-индивидуальная интонация, и стоит ли говорить, что многие и весьма славные писатели так до смерти и не нашли *своего* языка и *своего* стиля; Попову же как будто ангел все это положил под елку к Рождеству. Чего в нем не было и быть не могло, так это внешнего блеска, тогда как в Ерофееве, напротив, лоск оставлял в тени все прочее: трудно спорить с мировой славой, которая выпала на его долю уже через полтора десятка лет, впрочем, это вопрос умелого менеджмента, а Ерофеев сам для себя отличнейший литературный агент, скажу лишь, что, давно зная многие его беллетристические описи, прочитав «Русскую красавицу» еще в рукописи, я был приятно удивлен, как хорошо написан его очерк о путешествии по Гангу, который попался мне в конце 90-х в какой-то газете... Быть может, поэтому внутри России фигура Ерофеева в литературном отношении остается маргинальной: его беллетристику никогда не печатал ни один толстый русский журнал, что представляется, конечно, несправедливым. Не знаю, горюет ли по этому поводу сам Витя; скорее с ухмылочкой повторяет: что ж, *для камердинера нет великого человека*... Добавлю еще, что у Попова к тридцати накопил-

ся довольно экзотический жизненный опыт, включая сюда специфический словарь, тогда как Ерофеев оставался юношей сугубо *литературным*. Так вот, встретившись и быстро сблизившись по принципу, надо думать, взаимной дополнительности, молодые люди, на комсомольские денежки гуляющие в Переделкине, занялись не чем иным, как плетением сговора, как бы половчее этим самым Попцовым-Амлинским дать пинка под зад. Забегая вперед, скажу, что «Метрополь» настолько сблизил их судьбы и задал столь близкие литературные траектории, что в какой-то момент эта пара как бы слилась в одно, в литературных кругах так и говорили: *Поповерофеев* или *Ерофеевпопов*, нераздельно...

Характерная деталь: раздобыв аксеновский телефон у тех же французов — мы еще не были знакомы тогда, — я набрал номер с целью предложить свои сочинения для сборника; женский голос — должно быть, это была Майя Кармен, тогда еще невенчанная жена Василия Павловича, — ответил мне, что он *за границей*; ни с кем больше из организаторов я не был тогда знаком, так что в метропольский поезд сесть опоздал. Год был что-нибудь 78-й — год гибели Тоши Якобсона в Иерусалиме, — Аксенов был еще далеко не эмигрантом, но благополучным членом Союза советских писателей, однако выезжал всегда трудно; в данном случае, кажется, за него поручился отец Ерофеева, бывший тогда полномочным послом СССР на переговорах в Женеве. Как же тут все перепутано, какой ералаш: Ерофеев-старший — матерый номенклатурщик МИДа; сынок-литературовед, прославившийся еще в аспирантуре филфака первой в стране статьей о маркизе де Саде, рвется стать именитым беллетристом и сочиняет крошечную порнуху, на первых порах чудовищно графоманскую; наконец, богатый и прославленный советский писатель, основатель *молодежной прозы*, сын репрессированного в 37-м партийца и многолетней невольницы колымских лагерей Евгении Гинзбург с ее мемуаром «Крутой маршрут», куски которого зачитывали как раз тогда по антисоветской «Свободе». Ерофеев-старший борется с американцами за разоружение в Швейцарии; Ерофеев-младший на пару с сыном сибирского офицера шустрит, собирает не скажу подпольный, во всяком случае, властями не санкционированный альманах; Василий Аксенов в обмен на покровительство папаши всячески молодому графоману протезирует и даже дарит свое имя на обложку этого самого самостийного изделия, в то же время гуляя по Парижу под честное слово дипломата, тогда как обо всем предприятии только ленивому и нелюбопытному в Москве не известно. Повторюсь: этой бесовщиной полна была тогдашняя московская жизнь, душная, одновременно романтическая и циничная, маскарадная, карнавальная, такая-сякая, какой не было нигде в мире и никогда не будет...

Еще штрих к описанию парадоксальной атмосферы тех лет, и это тоже кое-что объяснит во всей метропольской эпопее: Москва — улетала. То есть московская художественная и не очень интеллигенция если не подушно сидела на чемоданах, то поголовно — вне зависимости от указанной в паспорте национальности — чесала в затылках: *ехать ли?* Не надо думать, что большинство размышляло об этом всерьез, — реально доходили до ОВИРа все-таки немногие; просто Москва впала в мечтательность и вожделенно смотрела *за бугор*, как мужья, отягощенные постылыми женами и великовозрастными балбесами детьми, заглядываются на молоденьких женщин, лелея *тайный план спасения*, — важна была сама *возможность* побега. Люди же с реальными вызовами на руках вообще составляли некое братство *отъезжантов*, составленное многими семьями-компаниями. В одной такой «семье» проживал тогда и я, давно отойдя от круга подпольной богемы; я был уже, как вы знаете, автором книги прозы, напечатанной «Советским писателем», благополучным членом Комитета литераторов при Литфонде, то есть не *ту-*

неядцем, и мог не служить с полным законным правом, конфликтовал с издателями, флиртовал с «Новым миром» и, конечно же, сочувствовал отъезду и в душе тоже ехал. У меня, не имеющего в жилах ни капли еврейской крови, даже был на руках вызов, кажется, из Хайфы — от мифической тетушки; я через пень-колоду читал простенькие английские книжонки, всерьез прикидывал свои шансы в Америке, но все это было сплошное прекраснотушие, честолюбивая потребность быть признанным именно в этом кругу, *своем* для меня, в котором я и показать совписовскую юношески-сопливую книжонку стеснялся...

Чаще всего компания собиралась в доме Азария Мессерера, двоюродного брата художника Бориса Мессерера. Тоже деталь: Азарик был переводчиком и много лет работал на англоязычном иновещании, что считалось отличной карьерой и требовало безупречной анкеты. Жена его, в девичестве Маслова, была по прямой линии потомком знаменитого меньшевика, с которым полемизировал Ленин, — впрочем, кажется, она и не меняла фамилии, — и в ней тоже не было ни грамма еврейской крови. У них было двое прелестных детей, прекрасная по тем временам кооперативная квартира на Юго-Западе, считавшаяся престижной работа — жена преподавала в языковом вузе, но отъездная волна подхватила и закружила их, и в том году они уже были *отказниками* со стажем, дети в школу не ходили, и жили они репетиторством и посылками ХИАСа — американской еврейской организации, исправно заваливавшей здешних потенциальных граждан свободного мира жуткими дамскими сапогами искусственной кожи, какими-то кацавейками на рыбьем меху да вязаными шапочками, в каких негры-бомжи копаются в нью-йоркских помойках; весь этот хлам, впрочем, легко и недешево в Москве можно было продать с рук...

Компания была пестрая. Скажем, примыкал к ней некий книжный график и человек воздуха, тоже никогда не бедствовавший Ося Ч. — его грезой было сообщить миру нечто важное о школе российского шпионажа, поскольку военная разведка была его идеей фикс (его отец был генералом КГБ), а также, как Ося мне поведал однажды, он *мечтал встретить старость на веранде собственной виллы с видом на океан*, — и это хорошая иллюстрация тогдашних иллюзий: он и поныне живет в крохотной квартире в Квинсе площадью на треть меньше его бывшей московской с двумя проходными комнатами, у Ваганьковского кладбища. Здесь же ошивался один вполне удачливый советский журналист по забытому мною имени, собиравшийся в США сделаться романистом и, конечно же, прославиться, — он сгинул в каком-то провинциальном колледже Среднего Запада. Другой, отлично устроенный в комсомольском издании, мечтал, быть может, как следует размахнуться на поприще художественного перевода и нынче подвизается на «Голосе Америки» в какой-то вспомогательной роли, днями сидя в стеклянной будке под взором многоопытной начальницы — рядом с тремя такими же бедолагами. Четвертый, как раз переводчик Интуриста и мелкий фарцовщик, грезил, разумеется, о собственном деле, и никогда в Москве не служившая его жена-филолог, освоив программирование, до сих пор в Америке зарабатывает втрое больше, а он лишь поменял Интурист на Финэйрлайн и, пользуясь случаем, по-прежнему перебрасывает через океан какие-то шмотки; забавная деталь — кто-то из его американских любовниц смутил его еще в Москве перспективой заделаться консультантом по России в Голливуде, и Вася — так он назывался — мечту эту лелеял и довел в целостности за океан. По коему поводу хорошо мне написал из США тот же Ося: «Это как если бы откинувшийся зек пришел баллотироваться в американскую Академию наук». Племянник коллекционера грека К., по месту работы — саксофонист в цирковом оркестре, тоже ждущий еврейской, разумеется, визы, быть может, надеялся что-то урвать от наследства своего знаменитого и богатого дядюшки, к тому времени уже проживавшего в Греции, а возможно, ехал сочинять симфонии. К

слову скажу, что и Азарий Мессерер, разошедшийся по прибытии с женой Масловой, счастливо проживает в Бруклине и преподает русский, что все-таки не столь престижно, как вещать из Москвы на весь англоязычный мир. Наконец, бывал здесь и филолог Б. Г., и он оказался единственным из всей этой компании, чьи намерения не обернулись миражом. Захаживал в этот дом и Юз Алешковский, сиживал за этим столом Женя Рейн, и именно эти имена вкупе с Ахмадулиной и Мессерером и возвращают нас на метропольскую тропу.

Считается, что само имя — «Метрополь» — пришло в голову Вите Ерофееву. Что идея собрать альманах тоже принадлежит ему, а не Аксену. Не знаю. Судя по роману последнего «Скажи, изюм», в котором вся история этого предприятия, хоть и прозрачно завуалированная, рассказана весьма тщательно и подробно, это было не совсем так. Точнее, совсем не так, но это уж, как вы понимаете, дело самолюбий и приоритетов, и не мне здесь быть арбитром. На поверхность «Метрополь» вышел в 1979, кажется, году. Сценарий был придуман такой: альманах изготавливается в двенадцати экземплярах в виде готового к полиграфическому производству расклеенного макета; первый экземпляр по дипломатическим каналам уезжает на Запад, в Анн Арбор, где его готовился выпустить «Ардис», прославившийся в России изданием русскоязычных романов Набокова, другие же посылаются в ВААП, в ЦК КПСС, в Союз писателей с предложением альманах опубликовать. Этот жест означал — *мы играем в открытую*, но лукавство это быстро раскрылось и потом дорого обошлось метропольцам: КГБ справедливо утверждал, что вся игра заранее была построена на обмане. Но метропольцы и не могли в тогдашних условиях не подстраховаться, поскольку рисковали потерять изделие, в которое было вложено немало труда.

Я впервые увидел «Метрополь» в готовом виде в руках художника Толи Брусиловского (кстати, чуть раньше из его же рук — он, как и Лимонов, харьковчанин — я получил рукопись «Это я, Эдичка», переданную в Москву задолго до публикации, и в ней стояли подлинные имена персонажей, которые деликатный автор перечеркнул простым карандашом так, что они прекрасно читались, и надписал сверху псевдонимы), с ним меня парой лет раньше познакомил тот же Ося Ч. Толя поместил в альманахе свои игривые картинки со стихотворными подписями Генриха Сапгира, а макет придумал и выполнил Борис Мессерер.

Хорошо помню, что было это на открытии очередной выставки на легендарной Малой Грузинской, в Комитете графиков, как это тогда называлось. Там был небольшой бар; отодвинув грязные кофейные чашки и блюдца из-под чьих-то пирожных, Брусиловский, нимало не таясь, водрузил на стол большую папку, в каких художники носят графические листы. В папке были наклеенные на ватманскую бумагу по четыре на странице машинописные листочки. На обложке красовался знаменитый мессереровский граммофон с «ахмадулинским» изгибом шеи.

Содержание альманаха напоминало окрошку: были и слегка подтухший квас, и крутые яйца, и свежие огурцы. Участниками стали, кроме названных, Андрей Битов, Фазиль Искандер, Андрей Вознесенский, Семен Липкин и Инна Лиснянская, а также Высоцкий, Марк Розовский и еще полтора десятка человек совершенно разных возрастов, положений, направлений профессий — от питерского истопника, прозаика-неофита, до известного специалиста по литературе итальянского Возрождения. Короче, *кто не побоялся*. По воле случая позже у меня в маленькой квартирке в Бибиреве — *от греха* — хранился метропольский архив, так что мне прекрасно известно — хотя бы из чернового варианта оглавления, — кто еще предполагался составителями в качестве авторов. Могу сказать лишь, что это были ныне известные драматурги, в последний момент вышедшие из игры, не желая, думаю, ставить под

удар уже идущие пьесы или намечающиеся постановки. Знаменитый бард тоже, подумав, отказался, как и известная сочинительница дамской прозы. Не имевший ни одной книги тогда, к сорока с лишним, Женя Рейн, которого Иосиф Бродский до смерти дружески-преданно называл своим *учителем*, вполне мог рассчитывать, что и не будет их иметь, — в это время рукопись его первого сборника «Мосты» циркулировала где-то в издательских дебрях того же «Советского писателя», и тоже перешел в разряд сочувствующих. Один лишь Евгений Евтушенко, насколько мне известно, напротив, сильно обиделся, что его не пригласили и в замысел не посвятили. Кстати, возможно, это и было тактической ошибкой, но и опасения составителей мне ясны: *поэт в России больше, чем поэт*, а значит, неминуемо потянул бы одеяло на себя.

Впрочем, был и еще один мотив у людей, уклонившихся от участия в затее, и он потом охотно муссировался номенклатурой писательского Союза и КГБ. Смысл был вот в чем: мол, вы, товарищ, попались на удочку Василия Аксенова, который и затеял все это, задумав уезжать и решив сделать себе рекламу на Западе, а вас просто использовал. Это, конечно, чушь — все делалось на свой страх и риск, и Василий Павлович рисковал никак не меньше остальных, а главное — неизмеримо большим, чем почти все другие, которым в большинстве на тот момент терять было нечего.

Но, разумеется, каждый из участников предприятия преследовал, помимо решения идеалистической задачи борьбы с цензурой *за нашу и вашу свободу*, свой интерес в попытке отвоевать себе место под солнцем. Понятно, что начинающим льстило соседство с маститыми; ясно, что многие из участников лелеяли мечту, говоря словами Ежи Леца, *быть замеченными по ту сторону баррикад*, для чего *нужно высунуться с этой*. Допускаю также, что кого-то из организаторов дела грела иллюзия, что затея *проскочит*, чиновники и полковники от словесности в штатском придут к ним на поклон, убоявшись громких имен и резонанса на Западе, и в литературе начнется, так сказать, *перестройка*, однако это, ясное дело, было в те годы чистым фантазерством. Но так или иначе всех участников объединяло общее возбуждающее чувство побега, преступления черты, нарушения правил литературного советского прозябания, сделавшихся к 80-му году тесными даже для вполне проворных отнюдь не либеральных литераторов: столь бюрократическим стал Союз, столь сервильными его начальники — даже в КГБ удивлялись, как виртуозно и с каким смаком *пишут* друг на друга братья-письменники.

Содержание сборника было очень неровным. Многие авторы отделались какими-то невинными огрызками стихов, когда-то выброшенных цензурой из их книг, — как Вознесенский, сунувший составителям какое-то смутное четверостишие про двуглавого орла и быстренько умогавший на Запад по приглашению какого-то университета: у него, кажется, потом никаких неприятностей не вышло вовсе. Алешковский и Высоцкий дали для публикации тексты, давно разошедшиеся в виде песен на сотнях тысяч магнитных пленок. Сам Аксенов поместил явно из баловства написанный давнишний скетч, извращенность которого была разве что в прихотливости формы: политически он был невинен, как журнал «Домоводство». Искандер напечатал полный вариант новеллы, уже публиковавшейся «Дружбой народов», — новеллы, правда, блестящей, а также появившийся уже при Горбачеве в «Огоньке» и потом экранизированный очаровательный рассказ «Маленький гигант большого секса». Безусловно, самая яркая подборка рассказов была у Жени Попова, а самая скандальная — у Вик. Ерофеева, как он подписывался во избежание путаницы с Венедиктом (кстати, она-то, это злосчастная подборка Ерофеева, надо полагать, и позволила позже обвинять альманах не только в «порнографии духа», но и в самой обычной порнографии, ибо все прочие тексты были почти стерильны). Была в альманахе и маленькая литературная сенсация — прелестная

проза Ахмадулиной, специально на этот случай сочиненная: «Много собак и собака». В целом же альманах был абсолютно невинен по содержанию, и раздражение властей вызвали не столько тексты как таковые, сколько сам прецедент коллективного выступления писателей либеральной ориентации без начальственной директивы.

Дальнейшие события развивались вполне предсказуемо. Когда альманах был готов, а один экземпляр надежно *заправлен*, как мы тогда говорили, назначена была, как сказали бы нынче, *презентация*. Для нее была выбрана неприметная *стекляшка* неподалеку от метро «Аэропорт», а в гости было приглашено немало разнообразного народа.

Здесь кстати один симпатичный устный рассказ Василия Павловича — из времен, когда он был уже автором прославленной «Затоваренной бочкотары» и самым молодым членом редколлегии журнала «Юность», которым тогда руководил Валентин Катаев. Евтушенко и Аксенов хотели создать собственный журнал, называться он должен был, кажется, «Мастерская». Они ходили по инстанциям и в ЦК на каком-то этапе от кого-то из секретарей получили приблизительно положительный ответ — на том все и кончилось, впрочем. Катаев поздравил их и пригласил в «Метрополь», и не здесь ли исток названия через полтора десятка лет позже организованного альманаха. Оба молодых писателя были сражены заказом: мэтр потребовал свежих калачей, красной и черной икры и ледяного шампанского-брюта. Василий Павлович, усвоив этот урок настоящего барского шика, на деле — вполне купеческого, собирался нечто подобное устроить и на «метропольской» вечеринке. Увы, пришли лишь западные корреспонденты, сами метропольцы и туча людишек в штатском, тогда как все, будто сговорившись, прочие гости решили, по-видимому, не *светиться* и не *явиться от греха*. Здесь важна одна психологическая черточка: это было уже шаткое время какого-то надсадного эгоизма и подозрительности, никто не хотел играть в *чужую игру*, в которой — чем черт не шутит — *эти* вдруг выиграют, а с *нами* тогда уж наверняка не поделятся. Но на первом месте стоял все-таки страх... В самом же кафе на этот день было объявлено, так сказать, осадное положение, на вывешенной табличке значилось *санитарный час*, свет погашен, заведение как вымерло, а на двери висел замок, хоть и был работниками *общепита* заранее взят аванс. Это послужило первым сигналом, что власти наконец очухались и сейчас-то все самое интересное и начнется.

Помимо Аксенова в «Скажи, изюм» об истории «Метрополя» вольно или невольно рассказал Витя Ерофеев в романе «Русская красавица». Судьба его героини-кокетки точно воспроизводит схему событий вокруг «Метрополя», так что автору недалеко было ходить за фабулой. Завязка романа в том, что героиня-манекенщица принимается спать с каким-то номенклатурным работником высокого полета; во время коитуса того хватил удар. Девушкой заинтересовались *органы*, ее выгоняют из Дома моделей и устраивают показательное собрание. Через знакомых она организывает письмо протеста от западных коллег-моделей из «Пентхауза» — это уже явная сатира на Аксенова, — письмо не помогает. Тогда она становится на путь диссидентства и мечтает *свалить* на Запад. У Ерофеева, правда, дальше все уходит в мистику, и героиня продолжает жить половой жизнью с покойным любовником, который в качестве призрака являет необыкновенные мужские возможности, но в целом схема точна. Метропольцев КГБ, сделав предварительную черную работу, стал *разрабатывать* по одному, но не стал раскручивать коллективного скандала, отдав это дело на откуп Союзу писателей. И вот всю компанию вызвали на ковер; руководил карательным сборищем печально прославившийся этим и многим другим, сделавший позже не иначе как в виде гонорара академическую карьеру нынешний директор ИМЛИ Феликс Кузнецов, — кстати, его сотрудником и после истории с «Метрополем» многие годы как ни в чем не бывало

продолжал числиться Ерофеев, — и о нем, Кузнецове, обрисованном яркими красками под говорящим именем Фотий Фёклович Клизмецов, в романе Аксенова сказано немало проникновенных слов; в многотиражке Союза писателей появился отчет об этом погромном собрании, названный «Порнография духа». Как позже и было изображено в «Красавице», западные коллеги — Ерофееву не надо было ничего придумывать — написали письмо в защиту гонимых (среди *подписантов* были и Норман Мейлер, и Джон Апдайк), а Алешковский и Аксенов уже ждали выездных виз. Заметим к слову, что на этом пресловутом собрании *засветились* тогда и некоторые писатели с репутацией либералов, о чем, надо думать, уже через пять лет горько сожалели. Их имена любой любопытствующий может найти в подшивке «Московского литератора» за 1980 год. Впрочем, это давно стало традицией в советской, да и прежде в русской словесности, пусть с обратным знаком, — увлечься со страху ли, от либерального ли пафоса коллективным гоним, броситься на жертву стаей, а потом, очнувшись, поодиночке казнить и каяться. Типичные примеры таких историй — в XIX веке Лесков, жертва *либеральной жандармерии*, как он сам говаривал, в веке XX — Пастернак. Здесь к месту припомнить забавный случай, который даже меня, воспитанного в сугубо либеральном духе, несколько покорибил. Тем более что произошел он в редакции «Нового мира», на который я тогда еще возлагал надежды. Только что вышел номер журнала с катаевской очень хорошей повестью «Уже написан Вертер», и, оказавшись в кабинете наедине с одной из самых прогрессивных редакторш журнала, я поздравил ее со столь удачной публикацией, полагая наивно, что делаю комплимент. Каково же было мое смущение, когда дама внятно отчеканила: «А я знаю людей, Коля, которые тем, кто хвалит эту гадость, руки не подают...» Лишь позже выяснилось то обстоятельство, что хитрая лиса Катаев, отлично зная, что такое *оскал русского либерализма*, организовал дело так: повесть была спущена Наровчатову *сверху*; а подверглась она либеральным репрессиям, судя по всему, по той причине, что, изображая застенки одесского ЧК 1919 года, автор не счел необходимым скрывать, что чекисты в Одессе тех лет были сплошь евреи; причем помочь делу никак не могло и то обстоятельство, что пытали и убивали они отнюдь не только белых офицеров, но и своих же соплеменников-буржуев...

Было бы преувеличением сказать, что вся эта история с «Метрополем» произвела в стране фурор и потрясения. Во-первых, читали альманах единицы, и никаких литературного характера открытий не сделали, так что он не пошел по рукам и не стал явлением в самиздате. Во-вторых, тот факт, что в альманахе принимали участие многие весьма благополучные авторы, вызывал подозрение, что сделали они это исключительно в целях саморекламы. Поспешный незаметный отъезд сначала Алешковского, а потом — чуть более громкий — Аксенова был главным аргументом для людей, подобным образом высказывавшихся. Но главное, как казалось сторонним наблюдателям, никто из участников чувствительно не пострадал, отделавшись легким испугом, а у некоторых через год-два вышли книги, что лишний раз указывало на известную декоративность всего предприятия (особенно если сравнивать это дело с тогда же разворачивавшимися мучительными отъездными эпопеями Владимова и Войновича, не говоря уж о трагической судьбе зека Бородина). Короче, в глазах многих вся эта история была лишена ореола подвижничества и привкуса героического страдания, а значит, по нашим русским меркам — внутренней логики и законченности. Что-то неуловимо суетное и лицедейское чудилось в этом несколько травестийном приключении в общем-то благополучных по советским меркам персон, и многих этот запах раздражал. Впрочем, что ж говорить, коли непосредственный активист предприятия, умный и едкий Ерофеев, вывел собирательный образ метропольцев в виде натуральной советской шлюхи. Да и Аксенов в «Скажи, изюм» особенно своих недавних товарищей не пожалел...

Ну да все это область взаимоотношений эгоцентричных талантливых людей и поле для творческих домыслов. Если ж взглянуть на дело отстраненнее и серьезнее, то нужно сказать, что в принципе смешно требовать от артистов революционной жертвенности. Но при этом следует отметить, что субъективно каждый метрополец все-таки многом рисковал. Марк Розовский, скажем, получил бы свой театр несколькими годами раньше. Рассыпали в Красноярске набор первой книги Жени Попова. Юз, сидя на чемоданах, отказавшись от своего положения преуспевающего детского писателя, при том, что матерный «Николай Николаевич» уже десяток лет как анонимно ходил по рукам, деля подпольную известность с «Москва — Петушки», а Юзово авторство песни «Товарищ, Сталин» было общеизвестно, очень даже мог волноваться, что не удастся ему вырваться на Запад и напечатать свои взрывоопасные книги, которых было написано уже четыре. К слову, когда он увольнялся из Союза, мы столкнулись с ним на лестнице ЦДЛ: «Что ж, иди, место освободилось», — саркастически бросил он мне, уже судившемуся тогда с «Советским писателем»... У меня и сейчас стоит перед глазами такая сцена: при прощании в Шереметьеве у него в багаже нашли лишнюю бутылку, и он выпил водку тут же из горлышка; когда, пройдя таможенно и паспортный контроль, он был готов уже скрыться по ту сторону неприступных тогда советских рубежей, Юз обернулся к провожающим и завопил во всю глотку: *«Не убирайте Ленина с денег»*, — цитата, кажется, из Евтушенко. Что ж, Юз уже был на свободе, к тому ж пьян, и ему было невдомек, что по отношению к нам, остававшимся по эту сторону железного занавеса, это была не самая тактичная шутка...

Чтобы закончить список послеметропольских потерь, добавлю еще, что Андрея Битова не печатали потом почти десять лет, подборка новых стихов Беллы могла быть напечатана только в «Литературной Грузии», никак не в Москве, папашу Ерофеева отозвали из Женевы... Да что говорить, каждый участник твердо знал, что жизни себе не облегчит. Но, как говаривал Женя Попов во времена уже следующей истории, с «Каталогом»: *«Что ж теперь, обосраться и не жить?..»*

Я попал в метропольский круг аккурат после разгрома всего предприятия. И оказался чуть не единственным профессиональным литератором, кто открыто сочувствовал метропольцам. Прикидываю и так и эдак, кто познакомил меня с Поповым, и не могу сообразить. Во всяком случае, у меня есть большая групповая фотография, сделанная на прощальной вечеринке по поводу отъезда Юза. На ней узнаваемы Битов, Гачев, Тростников, тот же Азарий Мессерер, множество других лиц, среди которых и ваш покорный слуга, и сидим мы рядом с Поповым. Это — конец 1979 года.

Мы быстро сблизились. Попов давно уж поменял свою красноярскую квартиру, оставшуюся после смерти родителей, на отдельное помещение барачного типа в жутком рабочем поселке на краю подмосковного Дмитрова. Там нужно было топить печь углем, квасить капусту, пить запоем, навсегда забыть фамилию писателя Платонова и как звали Хемингуэя. Там какая-то особая тюремная тоска была растворена в пахнущем угольной гарью воздухе... Так вот, чтобы избавить Попова от необходимости жить в этой самой ссылке, Василий Аксенов послал его у себя на даче в Красной Пахре. Точнее, это была дача Майи, еще точнее — ее покойного мужа документалиста Кармена, а Попов жил не в самом доме, но в сторожке, которая, впрочем, смотрелась дворцом, коли сравнивать с дмитровским барачком. Кстати, именно здесь Попов впервые познакомился с неким Георгием Ивановичем — тот в метропольские годы работал в КГБ обыкновенным *топтуном*, осуществлял *наружку*, то есть ходил, стуча зубами от холода — дубленок в КГБ не выдавали, — за Поповым и Аксеновым по пятам по всему заснеженному дачному поселку. Этот самый Георгий Иванович потом то и дело попадался нам на пути: он стал делать карьеру, по делу о «Каталоге» допрашивал меня неоднократно в Московском ГБ уже в должности, полагаю, курато-

ра неблагонадежных литераторов; позже, с победой ельцинской демократии, вообще взлетел до высот заоблачных, руководил пресс-центром МВД, то и дело вещал с телеэкрана, добрался до поста пресс-секретаря главы правительства и прокололся на чеченцах, доложив Ельцину о каких-то несусветных укрепленных подвалах в мирном селе Первомайском, что Ельцин и повторил в телекамеры всего мира, страшно облажавшись. Тогда этот самый Георгий Иванович, который на деле оказался Александром, скажем, Петровичем, был уже генералом. Вот и скажите потом, что писатели занимаются пустым делом, коли на них можно сделать в КГБ столь блестящую карьеру.

Как-то Попов позвонил и пригласил меня навестить его в этой самой Пахре. Это была весна 80-го. В его убежище я застал еще двоих молодцов, и каждый из них был столь колоритен, что воспользуюсь случаем и расскажу о них поподробнее.

Юру Кублановского я знал давно, хоть и шапочно. Весною 76-го, едва заключив договор с издательством на первую книгу и получив аванс, я рванул в Крым. Этот коктейбельский апрель описан у меня в романе «Дорога в Рим», в главе «Потемки нью-йоркской ихтиологии», но многие персонажи не нашли там места. Скажем, внучка Алексея Толстого художница Катя, старшая сестра писательницы Тани Толстой. Или внук художника, пианист и культуртрегер, Максим Кончаловский. И Кублановский тоже.

Тогда это был вдохновенный юноша лет под тридцать, при нем неотлучно находилась милейшая с чистым взором барышня, смотревшая ему в рот, и том из собрания сочинений Василия Розанова в издании «Посева» — с «Опавшими листьями»: впервые Розанова, таким образом, я читал из Юриных рук. Кублановский, человек тоже по-своему карнавальный, отлично вписывался в ту эпоху. Он был родом из Рыбинска; его отец, заслуженный артист РСФСР, был ведущим актером местного драматического театра, играл — даром что еврей — Ленина, ввиду чего на первомайских демонстрациях ему доверяли нести красное знамя впереди колонны трудящихся. Юра папой, кажется, не очень гордился; едва получив аттестат, рванул в Москву, где и увяз. Он, учась в университете на историческом, кажется, факультете и вовсю сочиняя, само собой разумеется, стихи, по касательной прошел мимо смогистов, носил свои вирши Вознесенскому, как тот сам некогда Пастернаку; Оля Свиблова, бывшая жена поэта Алексея Парщикова, рассказывала, что однажды Вознесенский попросил Олю и Алешу, работавших тогда дворниками, — в нашем литературном поколении профессии лифтеров, сторожей, смотрителей бойлерных, даже дежурных у бегущей строки на здании «Известий» на Пушкинской были очень популярными, хоть меня Бог от этих забав избавил, — попросил пристроить и безработного Кублановского. Оля вспоминала, что Юра произвел на них огромное впечатление своей крайней заносчивостью: он начисто отверг возможность дворницкой работы при обычном жеке, чем Оля с Алешей и занимались, и заявил, что разгребать снег будет не ниже, чем на даче маршала Гречко — тогдашнего министра обороны. Впрочем, он был согласен и на Громыко.

В Москве Юра своего дома никогда не имел. Впрочем, будучи настоящим бродягой и перекати-полем, он то работал экскурсоводом в Муранове и Шахматове, провел несколько сезонов на Соловках, пока не осел в столице прочно, женившись на девушке из Апрелевки, поселка по Киевской железной дороге, и устроившись церковным сторожем на Антиохийское подворье. Это как раз был период «Метрополя», в котором принимал участие и Кублановский. Но Юра за светился в органах отнюдь не только и не столько этим; помимо светской, он писал и духовную лирику и исправно печатался за рубежом — в максимовском «Континенте», в энтээсовских «Гранях», в эмигрантском журнале Союза христианской молодежи. И после «Метрополя» КГБ объявил на него — поскольку послать повестку ему было некуда — настоящую охоту. Был на этой почве анекдотический эпизод: на квартиру его жены в Апрелевке, где жили и ее родители,

и ее брат, все — работники Апрелевского завода грампластинок, нагрянули с обыском. Домашние были в ужасе и уже было принялись вязать тюремные узелки; и каково же было их облегчение, когда обыскивающие пренебрежительно свалили в кучу уворованные с завода семьей виниловые диски, но торжествующе извлекли из-под Юриного матраса какую-то невзрачную брошюрку издательства «Посев», какого-то «Доктора Живаго» да несколько потертых на сгибах номеров газеты «Русская мысль»... Юру-таки КГБ выследил и буквально насильно — без преувеличения, Кублановский уезжать не хотел — выставил из страны по израильской визе, самим КГБ предупредительно оформленной. Самое большое свершение времен эмиграции было для Юры то, что он вступил в переписку с Солженицыным, которому однажды послал подборку своих религиозных стихов в Вермонт и получил от Нобелевского лауреата благожелательный заинтересованный ответ. На прочих поприщах успеха он не снискал: поссорился для начала с княгиней Шаховской, недолго работая у нее в «Русской мысли» в Париже, был изгнан с радиостанции «Свобода». Недаром не хотел ехать, его вольной душе российского поэта-бродяги регулярный Запад был, конечно же, противопоказан. В конце 80-х он вернулся в Россию одним из первых — даже Мамлеев, кажется, приехал позже. И тут Юре несказанно пофартило: в ресторане ЦДЛ он встретил знакомую по прежней российской жизни даму, которая стала его несезонной женой, — красавицу блондинку с несколько экзальтированной натурой. Не могу удержаться, чтоб и здесь не полюбоваться очередным завитком судьбы: Катя Маркова была дочерью известного советского крестьянского поэта, и ее еще не успели после смерти отца раскулачить и выселить с шикарной переделкинской дачи, на которой она выросла. Юра быстренько вступил в Союз и в Литфонд, быстренько женился на Кате и — чудо, приз Бога за верность себе, гонорар за много лет бездомности, честного поэтического отвращения ко всяческой оседлости, награда за бескомпромиссность почти вийоновского служения — поселился на вполне легитимных основаниях в Переделкине. Мало того, их дача поставлена так, что задрами участок соприкасается и с пастернаковским, и с вознесенским, — и кто посмеет утверждать, что и в этом нет высокого символического смысла. У нас с Юрой однажды вышла размолвка; он как-то заглянул ко мне в Дом творчества, где я снимал номер, и, посмеиваясь, рассказал, что утром, часов в восемь, ему позвонил Александр Исаевич; до четырех ночи они с Катей принимали гостей, перепились — Юра, собственно, и пришел опохмелиться, — и тут их спозаранку будит телефон; еще осовелый Юра берет трубку и слышит знакомый голос: «Прошу прощения, что беспокою, вы, наверное, уже работаете...» Вскоре в одном глянцево-м журнале мне заказали статью про Солженицына, и я к слову припел эту незатейливую историю — с целью проиллюстрировать солженицынский распорядок дня. Кублановский на меня было смертно обиделся, но по прошествии времени взглянул на дело с юмористической точки зрения, и мы помирились. Не правда ли, Юрочка?..

Второй посетитель попово-аксеновской сторожки был мне не знаком. Но едва он представился — Володя Кормер, — я радостно возопил: «Да я ведь только что прочел ваш роман!» Действительно, роман «Наследство» на тот момент был настоящим бестселлером московского литературного самиздата. Мне он достался в виде неудобочитаемых, переплетенных, как сейчас помню, в черный дерматин двух толстенных томов фотокопий с машинописи. И тем не менее я прочел роман одним духом, не отрываясь. Это и были советские «Бесы» — диккенсовской архитектоники классический разветвленный роман о жизни московских диссидентов, христианских компаний, стукачей, башушек, иностранных авантюристов и гетер московского андеграунда, — с почти детективной интригой, многочисленными отступлениями в дореволюционные и довоенные годы, с клубком судеб персонажей. Но самое поразительное было в том, что Володя, как потом выяснилось, прозы до «Наследства» не писал. Инженер-электронщик

по образованию, он многие годы работал в редакции журнала «Вопросы философии», и его кругом были отнюдь не богемцы-литераторы, а философы: Мамардашвили, Зиновьев, Сенокосов, Вадим Борисов, участник солженицынского публицистического сборника «Из-под глыб», советских «Вех», если угодно. Когда мы познакомились, Володе было под сорок, и он, воодушевленный несомненным успехом своего первого романа, вприпрыжку побежал резвиться с новыми знакомцами из литературной богемы, вырвавшись из плена высоколобой своей компании. Впрочем, неопитом в богеме он, конечно, не был — он был женат на скульпторше Лене Мунц, к тому же являлся родным племянником Николая Эрдмана... Забегая вперед, скажу, что следующий его роман «Крот истории» вышел ничуть не хуже и получил первую, тогда только учрежденную в Париже премию имени Даля.

Я влюбился в Володю с первого взгляда. Ему, в свою очередь, нравились мои писания, но, я думаю, пуще — моя тогдашняя молодая бесшабашность, предприимчивость и умение весело и легко прожигать жизнь, без кислых диссидентских мин и жалоб на режим и судьбу. Мне же, помимо его яркого дара, импонировали в нем порода, он был из остзейских баронов, его мягкий, прелестный юмор, офицерский кодекс чести, обаяние и ум, конечно, светившийся в его карих глазах. Он был с ног до головы *из бывших*, из той категории людей, которая не дожила до наших дней, — он сам-то чудом выжил, родившись в казахстанской ссылке, — из категории людей, к которой принадлежал и мой покойный брат Шурка Чихачев. К тому же он был мужественно красив, и, помню, как-то актриса Лиза Никищихина, завидев Кормера от столика, за которым мы его ждали, входящим в двери ресторана ВТО, вздохнула: «*От него будто на расстоянии пахнет дорогим одеколоном*», — в то время как от Володи никогда одеколоном не пахло...

Не знаю уж, сколько мы выпили вчетвером тогда в сторожке покойного Кармена, помню лишь, что это было вдохновенное легкое *непьяное* пьянство, сопряженное с важным трудом, — мы *знакомились*. К Попову прибыла тогда еще невеста Светлана Васильева, мы, трое гостей, раскланялись, вышли на Каширское шоссе, расставаться было никак невмочь, и Кублановский предложил: а что, братцы, махнем к Ахмадулиной в Переделкино. Тут же отловили такси и махнули...

В тот день я впервые увидел Беллу не на экране, не на фото, не по телевизору — вживую, за столом, рядом. *Это* постигало всех без исключения мужчин, разных возрастов и национальностей, неопитов и признанных гениев, дон-жуанов и гомосексуалистов, всех, видевших ее впервые: опьянение, восторг, сладкий ужас, — так она была хороша. От ее лица и глаз невозможно было оторваться, от ее манеры говорить, чуть припевая, от ее улыбки в буквальном смысле слова кружилась голова — я никогда больше воочию не встречал столь обворожительной женщины. Пусть ее несколько манерные стихи не всем нравятся, но все, кто знаком с ней, навсегда зарубили себе на носу, сколь бывает щедр Господь к своим любимцам, осыпая их всеми возможными дарами разом.

Я мало что помню о том вечере: мы тягуче пили *блади мэри* вчетвером, при свечах, под музыку Беллиного голоса, и ощущение колдовства — вот все, что я вынес. Этот вечер, впрочем, имел важные последствия: Кормер, Попов и я задумали сделать новый альманах, который потом получит название «Каталог». Помню первое наше *собрание*: я предпочитал тогда жить не в своей холостяцкой холодной квартире в далеком Бибиреве, а в коммуналке на Сретенском бульваре у моей подружки, дикторши Центрального телевидения. Комната была необычна: мало того что в знаменитом, построенном в предреволюционном стиле модерн доходном доме «Россия» — по соседству жили чета Григорович — Бесмертнова, а прямо над нами на чердаке располагалась мастерская Ильи Кабакова, — но с действующим камином. Тоже черта времени: трое заговорщиков развертывают план антисоветского литературного заговора, намечая, кого еще

привлечь к предприятию, — договорились, что будет нас семеро, — а дикторша телевидения, зачитывавшая на всю страну отчеты о партийных достижениях, подает им чай...

Но покончим с темой «Метрополя».

Повторю: *подметрополье*, более или менее либеральная молодая литературная публика, которая должна была бы замирать от восторга и отбивать ладоши, на все происшедшее реагировала вяло. Я провожал Василия Павловича в аэропорт, там было меньше десятка людей. И это не только от страха. Вся акция, повторюсь, виделась со стороны выгодным частным предприятием с заранее поделенными между десятком пайщиков дивидендами: советский либеральный менталитет такого не мог переварить... Сами участники в собственных глазах рисовались ли героями? Мне уже тогда, после школы Якобсона, после знакомства со многими действительно жертвенными диссидентскими натурами, вся метропольская эпопея казалась, конечно, только развлекательной прогулкой. Но неисповедима психология человека. Недавно я был приглашен на празднование двадцатилетнего юбилея «Метрополя» все в ту же мастерскую Мессерера, ничуть не изменившуюся за два десятка лет: те же пыльные граммофоны, тот же ахмадулинский портрет, тот же станок для офортов, тот же стол, за которым кто только не сиживал и за которым столько было выпито. Это был типичный вечер, когда бойцы *вспоминают минувшие дни*. Но меня смутил пафос воспоминаний. У этих немолодых людей — после всех-то исторических катаклизмов, что потрясли страну за прошедшие два десятилетия, — не в шутку дрожал голос, едва слезы не наворачивались, когда они говорили тосты, вспоминая далекие метропольские дни. Подпив, кто-то из дам задорно заголосил *давайте же позвоним Васе в Америку*, с эдаким комсомольско-шестидесятническим воодушевлением... Наблюдая за всем этим, я вдруг с грустью вспомнил финал романа Флобера «Воспитание чувств»: стареющий герой после всех своих парижских страстей живет в скучнейшей провинции; однажды он и его партнер по картам решаются поехать в соседний городок навестить публичный дом; заведение оказывается закрытым — как некогда стекляшка, где должна была состояться презентация альманаха, на *санитарный час*; герои вернулись домой несолоно хлебавши, но потом еще долго с восторгом *вспоминали это приключение*...

*Книга написана при поддержке «Альфа-банка»
и Московского литфонда.*



Пробелы

Стыд и страх — они всегда были со мной в дни моей молодости. Радостями, а иногда и счастьем я мог называть минуты (или часы) преодоления (забывания) стыда и страха. Может быть, поэтому я выбрал актерскую профессию — на сцене это проходило. Я сливался со своим персонажем, а себя видел его глазами. Или наоборот — анатомировал кого-нибудь похожего на себя с такой тщательностью, что как экспериментатор становился на время неуязвим для болезней и комплексов, над которыми проводил эксперимент.

Что-то надо было назвать нормой. Надо было обозначить ноль на шкале своей жизни.

Каждый учится умирать по-своему.

Ритуалы

Религии у меня не было. Бог, Творец, чудо Христова Воскресения — всё это тайно и смутно подступило годам к сорока. Загробную жизнь и реальность Страшного суда и по сей день воспринимаю лишь умственно, так сказать, поэтически. «Религия — опиум для народа» — это ведь правда. Опиум — в смысле лекарство, спасение от боли, целебный наркотик. Опиум необходим. Иначе как вынести простую истину нашей смертности, и ужас нашей истории, и тяготы ежедневности?

Конечно, наркотики есть разные. Как в аптеке — одним по бесплатным рецептам, другим за полную стоимость, а третьим еще и с наценкой за услугу. Одним — настоящие, очищенные, сильные — заморские. Другим — доморощенные, те, что называются словом «аналоги», вроде то, да не то.

Ритуал — великий наркотик. Последование: после этого надо делать это. Почему? Потому! Потому, что так будет правильно, так всегда делали. А когда будет это, надо делать то. Так все делали. Можно думать вперед, но не слишком. Хода на два, не более. Мелкими шажками входить в зону опасности, приближаться к неведомому и ужасному. Так уже было до тебя, и вот видишь... мир стоит, крутится лента повторяющихся событий: рожают (улыбки, пеленки, родственники, упреки, мало сна, водка), работают (начальство, обиды, коллеги, непонимание, привычка, водка), болеют (простыни, лекарства, деньги, проблемы, водка), теряют (документы, билеты, права, друзей, чувство меры, заначку водки, разум), расходятся (с собрания, в разные стороны, как в море корабли, от излишне выпитой водки, без печали, с печалью, навсегда), умирают (автобус, место, забытые лица, прости, поцелуй, со святыми упокой, ноги устали, блины, кутья, водка).

Кто полностью погружен в ритуал, тот имеет гарантированный маленький покой. Но это — если полностью. А вот любовь, нормальная плотская любовь, — это ведь уже нарушение ритуала. Потому что любовь, если это любовь,

у каждого своя, у каждого по-своему (или это только кажется?). А ритуал — это как все. По этой причине творчество, если это творчество, — нарушение ритуала, выход из толпы, единение, риск одиночества.

Мы едины

Замечательный наркотик — пьянство. В России оно одновременно и нарушение ритуала, и сам ритуал. В Штатах, во Франции только самые выдающиеся поэты могут позволить себе быть пьяницами. Остальные — писатели, стихотворцы, журналисты — вынуждены вкалывать и пьют лишь по мере возможности.

У нас пьют все лучшие, чтобы залить свое раздражение мерзостью устройства жизни. Лучшие из лучших не только пьют, но и пишут о пьянстве.

Однако пьют и средние, чтобы забыть о своей серединности и попробовать почувствовать себя лучшими.

Пьют и слабые, пьют и аутсайдеры, потому что труд их не слишком обременителен и не требует ни много времени, ни особой ясности ума.

Все наши АРТИСТЫ, в смысле «творцы», кто на деле, кто на словах противостоят тем, кого называют чиновниками. Чиновники — это власти, это начальники. Противостоят-то противостоят, но это не мешает выпивать вместе с начальниками за разговорами об этом самом противостоянии.

В то же время АРТИСТЫ искренне сочувствуют далеким, но вызывающим большую симпатию земледельцам, рыбакам, старикам, железнодорожникам, студентам, одиноким женщинам, пенсионерам... Не слишком часто, но иногда, чтобы поддержать их дух (а заодно слегка поддержать материально), АРТИСТЫ выпивают с ними и совместно ругают начальство. Потом они расстаются. АРТИСТЫ (литераторы, художники, актеры и т. д.) удаляются, довольные тем, что поддержали дух людей из народа. Но если случается оглянуться и взглянуться попристальнее, замечают, что и без них (АРТИСТОВ) очень крепко пьют почти поголовно — земледельцы, рыбаки, железнодорожники, студенты, старики, одинокие женщины и пенсионеры.

Надо признаться, что ВЛАСТИ (политики, начальники, директора, советники) — все, кого называют (да и сами они себя так называют) ЧИНОВНИКАМИ, оставшись без компании АРТИСТОВ, продолжают пить. И продолжают крепко, ибо положение (служебное и материальное) позволяет им пить напитки качественные и в количестве неограниченном.

Славные люди

Очень крепко пил мой отец. И весь круг его знакомых тоже пил. По большей части это были очень одаренные люди. В разные времена среди них были художники Вадим Рындин и Михаил Григорьев, писатели Сергей Ермолинский и Виктор Ардов, начальники искусств Николай Стрельцов и Борис Загурский, режиссеры, актеры театра, цирка, эстрады... Начало каждого застолья искрилось умом, юмором, интересными, небанальными поворотами мысли, обилием знаний — народ был просвещенный, образованный. Но с течением застолья, со временем... мысли завихрялись, начинались пьяные повторы. Роскошные начала растворялись в невнятных и бессмысленных продолжениях. С годами начала исчезли из нашего дома — начиналось все ГДЕ-ТО в ресторанах, в чужих домах, потому что мама перестала выносить это ежедневное гуляние. Компания являлась к нам под финал, и нам доставалось худшее — тяжелая развязка с повторами.

Мы жили втроем в одной комнате в большой коммунальной квартире. Отец занимал высокие посты — был режиссером крупного театра, художест-

венным руководителем Ленконцерта, начальником театрального отдела Управления культуры Ленинграда. Все это в последние годы его жизни: примерно от смерти Сталина (1953) до внезапной кончины в 1957-м. А до этого между художественным руководством Московским цирком, а заодно всей системой цирков СССР и упомянутой деятельностью уже в Ленинграде лежал почти пятилетний период безработицы, безденежья, изгойства. Отец был исключен из партии «за формализм в режиссуре цирка и ошибки в подборе кадров». Это было клеймо. Не сняв его, войти в нормальную жизнь было невозможно. А снять его могло только чудо.

Подсознание

ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЮРСКИЙ был необычайно талантливым человеком. Артист, видимо, был превосходный. На сцене я его не видел — не застал, но его показы актерам, умение рассказывать истории, анекдоты, его розыгрыши, его чтение (а он знал наизусть массу стихов, классической прозы и пьес), его юмор, живая мысль, которая всегда сверкала в его оценках и суждениях, — всему этому свидетель, и зритель, и слушатель. И это счастье моего детства.

Но было и другое. Смертная тоска отца, мучительное его внутреннее раздвоение. Искренняя вера в идеалы и осознание реальности как смеси фальши и насилия. И еще было обостренное чувство вины. И еще была... тайна.

Страшная ли тайна была? Да нет — происхождение. Мать — дворянка, отец — священник и богослов. За это уже коротко отсижено в тюрьме в 35-м и отбыта ссылка с семьей. И уже «прощен» — вернули, орденом наградили, даже почетное звание дали (тогда, в тридцатые, это было редкостью). И в партию приняли (1943), и до руководящих должностей допустили. Значит, квиты? Можно раскрыть тайну? Можно считать, что и нет больше никакой тайны? Можно уже и не бояться? Так? А вот почему-то не так. И не только подробности происхождения скрывались от меня, наследника, но даже и фамилия настоящая — Жихарев. Юрский — ведь актерский псевдоним, взятый еще в гимназические годы в подражание известным украинским театральным гастролерам. Многоцерковный яблочный городок Стародуб, откуда родом отец, стоит на границе брянских и малороссийских — черниговских — земель. Жихаревы — фамилия, распространенная в тех краях. Не высших степеней, но вполне благородная. Это отец отца, неведомый мне дед, штатская фотография которого стоит теперь на моем столе. А бабушка (тоже неведомая) и вовсе из Гудовичей — графский род. Давно умерли оба, и неизвестно, где их могилы. Разметало всю семью. И фамилии исчезли. Сестра Юрия Сергеевича, Вера, стала по мужу Кулышевой, муж, военный, погиб в Киеве в самые первые дни войны. Сама Вера мучительно боролась за жизнь, трудно и одиноко растила двух сыновей и тихо умерла от непосильной ноши.

Брат, Анатолий Сергеевич, — ученый-экономист. О нем единодушно говорили: «Талант, это большой талант!» Он умер в Ленинграде в блокаду от голода. Нет больше Жихаревых.

Граф и сэр

В конце 80-х вместе с моими кузенами Юрой и Гарри — сыновьями Веры Сергеевны — собрались мы наконец в заштатный ныне городок Стародуб «в поисках родовых корней», как высокопарно выражался Юра, старший из нас, историк по образованию и по призванию. Тронулись из Москвы на моем «жигуленке». Твердо порешили, что выедем на рассвете, но, как часто бывает, и не учли многого, и вставать рано поленились, и за завтраком заболтались. Коро-

че, к часу дня только миновали Московскую кольцевую. Полдня потеряли. К вечеру добрались до Брянска, там и заночевали. А наутро двинулись по довольно ухабистой дороге на Унечу и Стародуб. И не пожалели, что едем утром, а не в темный час. Какой-то иной привкус появился в пейзаже. Надо было всмотреться в него. И вслушаться, и внюхаться. «Золотой Рог» — имение А. К. Толстого. Остановились. Зашли. Бывшее богатое поместье, превратившееся в бедный музей, — типичная для России метаморфоза. Все, как положено: малая часть приведена в порядок, а на остальной — то ли ремонт, то ли просто разруха. Хранитель — подвижник, с трудом сводящий концы с концами. Обожает и обожествляет каждый экспонат, переполнен знаниями, а излить их некуда. Была бы эта жизнь святой, если б не протекала она в глуши, до которой давно уже никому нет дела.

А Алексей Константинович хорош. И внешне хорош — на любом портрете, в любом возрасте. А уж как перо-то хорошо! Теперь только задумываюсь с гордостью: ведь он отцу земляк. Отсюда, что ли, эта особая любовь? Ведь у отца в библиотеке при всем нашем бездомье и кочевой жизни всегда стоял большой однотомник А. К. Толстого (старое издание), и Козьма Прутков был. Именно на прутковском юморе я и воспитался, потому что отец был им пропитан. Еще и смысла не улавливая, я знал наизусть, с голоса, от многократных повторов и «Барона фон Грюнвальдуса», который, хоть вся земля перевернись, «все в той же позиции на камне сидит», и «Желанье быть испанцем» с дивным этим кличем:

Дайте мне Севилью,
Дайте мне гитару,
Дайте Инезилью,
Кастаньетов пару.

В те пятидесятые я, может быть, потому ПРОПУСТИЛ увлечение джазом и не присоединился к «стилягам», хотя сочувствовал их западническим настроениям, потому сторонился их, что, глядя на эти преувеличенные прически и костюмы, не мог не вспомнить «Желанье быть испанцем». Заложенная отцом насмешливость подавила желание присоединиться к общему потоку, в котором жило мое окружение. Знал я и скоморошью горечь «Истории Государства Российского» с удалым зачином:

Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед:
Земля у нас богата,
Порядка только нет.

Русский юмор — конечно, и в гиперболах Гоголя, и в сарказме Достоевского, и в отчаянном абсурде Салтыкова-Щедрина, и в чеховском зеркале, поставленном перед убожеством жизни. Но есть еще одна живая струя. Пародия под маской философии, или философия под маской пародии. Легкая, лишенная надрыва, ПРИТВОРЯЮЩАЯСЯ дуракавалянием забава умнейших людей, забава от избытка таланта. Да, это братья Жемчужниковы и А. К. Толстой (выдающийся драматург и выдающийся лирический поэт) создали своего «Козьму» — предтечу всего жанра «капустников», столь нынче популярного.

Был конец апреля, всё вокруг набухало и зацветало. Роскошный цвет, свет... роскошный запах. Роскошный звук ненарушенной сельской тишины. «Нет у нас ничего, — говорит хранитель. — Хотели издать хоть скромненький проспектик или набор открыток. В принципе есть решение, но средства пока не выделены. А вообще-то на майские две группы школьников должны привезти... Ну и случайные, вроде вас... Откуда народу взяться?» Он проводил нас до машины. Пожелали друг другу всего хорошего. Мы тронулись. Он помахал рукой вслед и вошел в распахнутые настежь покосившиеся ворота усадьбы.

Через десяток лет довелось мне с дочерью и тремя местными друзьями подъехать на машине к усадьбе Вальтера Скотта в южной — «бордерской» — Шотландии. Вечерело. Замок выглядел одновременно манящим и неприступным. Музейная его часть должна была уже вот-вот закрыться. Но мы звонили с дороги и предупредили, что едем, что слегка заблудились и запаздываем. нас ждали — в осеннее время (а был конец октября) здесь тоже посетители не толпой идут. Дом богат и ухожен — ни пылинки. Библиотека, оружейная комната, кабинет, малая гостиная, зал... Портреты, бюсты, картины... За витражными окнами темно-зеленый травяной ковер спускается к речке. Огромное травяное пространство, пересеченное невысокой деревянной оградой. Специальные хитрые турникеты, тоже деревянные, — люди (изошренные создания) по одному, каждый отдельно, пройти могут, а простодушные овцы, да еще толпой, — ни за что. Овцы разбрелись по всему широкому лугу, их группочки прямо-таки живописны на фоне ряда старых деревьев возле речки и заходящего солнца.

Хозяйка в замке — прапрапра... (не знаю сколько?) внучка Вальтера Скотта. Седая дама с породистой осанкой. Она встречает нас в музейном магазине. Она общительна и приветлива. Говорит, что хоть замок и далеко от города, но люди бывают, и немало. Вот завтра должны привезти две группы школьников. В магазине всё невероятно соблазнительно — и шали, и платки, карандаши, ручки, открытки, альбомы, женские накидки, мужские шотландские юбки, игральные карты, местная шерсть, местное варенье, местный мед — все с маркой замка и клеймом Вальтера Скотта. Мы покупаем и то, и это. Нам еще делают подарки. Прощаемся. Солнце село, а ехать еще далеко.

Вальтер Скотт для шотландцев — не только великий писатель, он еще олицетворение нации. Политик, общественный деятель, защитник традиций и законодатель мод. В Глазго на главной площади бронзовая фигура Вальтера Скотта в самом центре и на самой высокой колонне — выше всех других государственных мужей. Поэтому, думаю, может быть, государство помогает в содержании поместья или, может, они сами так толково дело ведут. Не знаю, в этом мне не разобраться. Но твердо знаю, что выглядит все монументально и достойно. Все живо. Никакого ощущения заброшенности, оторванности от мира. Еще знаю, что Пушкин читал Вальтера Скотта и упоминает его в «Онегине» как лекарство от скуки. Знаю, что каждый мальчишка в России читал Вальтера Скотта. Знаю, что русский царь Николай I советовал Пушкину «подправить» его «Бориса Годунова» на манер Вальтера Скотта.

Но ведь Пушкин, любя великого шотландца, все-таки «подправляет» не стал. Писал свое, по-своему и для своих. (Как Вальтер Скотт, кстати!) А вот теперь вопрос: читал ли каждый шотландский мальчишка Пушкина? Безоговорочно — нет! Читал ли каждый российский мальчишка А. К. Толстого? Безоговорочно — нет! Может ли один из ста (или из тысячи!) западных образованных людей (кроме узких специалистов) различить Алексея Константиновича Толстого и Льва Николаевича? Безоговорочно — нет!

А почему? Не тот уровень таланта? Не тот уровень перевода? Или его отсутствие? Не тот уровень авторитета страны? Недостаточная распространенность языка? Вот! Может быть, последнее — самое главное. Для нации, претендующей на величие, это одна из важных работ. Жаль, что за последнее десятилетие сфера влияния русского языка, интерес к нему не только не расширились, но сократились катастрофически. Целые группы стран и народов не притворно, а действительно позабыли слово «здравствуйте» и с трудом припоминают (и с удовольствием произносят!) слово «до свидания». Но это вопросы внешних сношений. Ладно, оставим их властям. А внутри-то, а сами-то мы, а наш выбор? Некрасов то ли мечтал, то ли предрекал будущим молодым: «Белинского и Гоголя с базара понесут». Почти 150 лет прошло. Понесли? Ну-ну!

Привели ли в порядок усадьбу «Золотой Рог»? Благопристойно ли там теперь? Если приватизировали, то удачно ли? Дух-то есть там? Или (как бывает) любой объект старины после приватизации и реставрации превращается либо в кафе, либо в постоянный двор? Не знаю. И напраслину возводить не хочу. Может, А. К. Толстому и повезло. Повторю: не знаю, сам грешен, за десять лет не нашел времени воротиться в эти места. В Шотландию нашел время съездить, а в Стародуб — не нашел. Правду сказать, в Шотландию-то ПРИГЛАШАЛИ, и настойчиво, затеяли там трое энтузиастов скромный фестивальчик памяти Пушкина, и сумели организовать, и даже некоторую поддержку властей получить. А в Стародуб от случая к случаю только ЗВАЛИ — дескать, будет время, заезжайте, места у нас хорошие. Не нашлось времени. И снова скажу: мой грех.

Вот какие мысли крутятся в голове, пока крутится пыль хвостом за нашими «Жигулями», десять лет назад свернувшими с основного тракта на Стародуб, и пока по-вечернему чавкают болота по сторонам шоссе, по которому ведет свое «вольво» шотландская женщина Анна Бенигсен. Как жаль, что отец за всю жизнь не побывал за границей! Наверняка пришли бы к нему те же вопросы. И, может быть, он нашел бы на них ответы. Он хорошо умел мыслить и формулировать.

А я вот ответов не нахожу.

На Страстной

Стародуб оказался похожим скорее на скопление садовых участков, чем на город. Яблоневый цвет почти полностью заслонил накренившиеся и покосившиеся деревянные домики. Впрочем, были и приличествующая районному центру пыльная площадь, и официальные здания на ней. В одно из таких зданий под красным флагом мы и вошли. И приняты были, надо признаться, с искренним радушием и даже с совершенно не заслуженной нами любовью. Я чувствовал себя Остапом Бендером в роли сына лейтенанта Шмидта. Как такового меня здесь и приняли. А когда я представил двух своих великовозрастных братьев, ситуация сформировалась окончательно. Вопрос с гостиницей (она же Дом колхозника) решился мгновенно. Цель нашего визита была понята и всячески одобрена. Сейчас многие ищут свои корни, было сказано нам, и в этой земле многие корни зарыты. Были названы фамилии революционера и изобретателя Кибальчича, был назван также Немирович-Данченко, но туманно, не настойчиво. По спискам коммунального хозяйства Жихаревых оказалось более двух десятков. Но большей частью это были пригородные жители, переехавшие сюда из других мест после войны. Двое-трое дали надежду. Мы сходили, познакомились, но надежды не оправдались.

Мы шли по маленькому городу мимо вросших в землю одноэтажных домиков, мимо разрушенных церквей. Юра и Гарри порой вскрикивали: «Вот, это же наш дом!.. Точно, а за углом школа... Точно... Или нет?.. Откуда же тут овраг? Оврага не было... Да нет — вот! Здесь! Сюда! Снесли, наверное...» Они искали следы своего детства и не находили их. А я, полный новичок в этих местах, покорно сворачивал, куда вели их воспоминания, вместе с ними утыкался в тупики и брел назад... В конечном счете все дороги вели к пыльной площади с Домом колхозника и официальными зданиями.

Шла Страстная неделя. Пасха в том году пришлась на 1 мая. Пожалуй, я тогда впервые в жизни обратил внимание на то, что идет Страстная неделя. Пасху, конечно, знали и отмечали регулярно — яйца красили, водку пили, куличами закусывали. Возмущались, что по телевидению именно на Пасху, в ночь, дают самые соблазнительные программы и фильмы — это чтобы отвлечь верую-

щих от церкви. Какая подлость, говорили мы, весь год запрещают, а тут — все можно! Подлость! Из протеста выключали телевизор и просто пили водку. Но сама Пасха, а тем более Страстная неделя — это нас не касалось. Мы были крепко попорченные. А здесь, в глухомани, как-то все упоминали — и уборщица в гостинице, и подавальщица в столовой, и даже райкомовские — вот, дескать, сегодня Страстная суббота, завтра Пасха.

Встал очень рано. Не спалось. Вышел на площадь. Флаги вывесили. Не много — несколько штук. Демонстраций никаких не намечается — перестройка! А может, их тут и не было никогда? Базара нет — пустые ряды. Мужик на телеге проехал. Грузовик пропылил. Скучно! Донеслось: вдалеке слабенко звякал колокол. Я пошел на звук. Мимо разрушенного, заросшего собора, через овражки, мимо еще нескольких церковных развалин. Сперва шел только на звук, а потом... Старухи, принаряженные, чистенькие, топают с узелками все в одном направлении. Ну и я туда же. Пришли к маленькой невидной церковке на окраине. Тесно. Дышим друг другу в затылок. А мне неловко — не знаю ведь, что за чем и что к чему. Хочу вслушаться: чего поют? А мне в спину тычут, свечи суют — к празднику! К Николе Угоднику! Спасителю! Передаю вперед и раздражаюсь — сосредоточиться не могу. Батюшка в стороне исповедует — это я понял. Только, вижу, устал батюшка. Я же его как коллегу воспринимаю — в историческом костюме, с бородой. И утренний спектакль — после вчерашнего вечернего. Хотят старухи что-то ему на ухо нашептать, а он торопит, держит покрывало наготове и покрикивает на очередь: «Называйте ваши имена! Называйте ваши имена! Громче говорите!» Устал батюшка, заметно. Хор поет дрожащими голосами. Слова непонятны. Но вот через многие повторы прослышалось: «Смертию смерть поправ... Смертию смерть порушив...» А остальное опять неразборчиво. Я вышел из церкви. День становился жарким. Подумал я не об отце, а о неведомом мне деде. Как он тут? Вот так же, в таком же одеянии исповедовал бабушек этих бабок? Или иначе это все было? Тогда как? Ничего я себе не мог представить.

Старуха под яблоней

Райком и райисполком совместно пригласили нас на пикник. Поляна в лесу была хороша, угощение было щедрое, выпивка обильная, взаимные приветствия со стаканами в руках произносились от души. Я сделал встречный жест и предложил выступить перед учениками местной школы. Говорил о корнях, о том, как красивы яблони в цвету, читал отрывки из Пушкина и Гоголя. Учительницы смотрели на Остапа Бендера с умилением и шептали ученикам: «Егышев, не вертись, ты посмотри, кто к нам приехал! Касимов, не вздумай болтать!» Ученики, воспитанные на других фильмах, сидели смиренно, смотрели с испугом и недоумением.

Были на кладбище. Как и жилые дома в городе, памятники на всех могилах покосились. Списки и прежние реестры утеряны. Кибальчичей нашли — целое гнездо старых надгробий. А Жихаревых — нет, не нашли. Завтра уже и уезжать. Дела, дела ждут, братья что-то совсем потеряли ориентиры, и я начал подумывать: уж не ошиблись ли мы вообще с нашими поисками, в тот ли Стародуб приехали, может, другой совсем город? Один из исполкомовских вдруг сказал: «Зайдите вот к кому, — и назвал имя какой-то старухи на какой-то улочке. — Она, знаете, такая театралка. Тут ведь когда-то был театр. Приезжали трупы из Унечи, из Чернигова... И сами играли... Поговорите, поговорите с этой старухой, она должна помнить».

Дом был, как другие, развалина. А деревья были хороши. За заборчиком виднелась скамейка под яблоней. На скамейке сидела очень старая женщина и

через увеличительное стекло читала книгу. Окликнули — не услышала. Я подошел ближе. Книга была по-немецки, очень старая. Увеличительное стекло было очень сильное. Женщина смотрела сквозь него одним глазом. Я снова назвал ее по имени-отчеству. Она подняла на меня взгляд. И без того выпуклые ее глаза расширились необыкновенно. Рот приоткрылся, задрожали губы, и хриплым голосом она выдохнула громко: «Юра!»

Говорили. Вечером я снова навестил ее с ненужными конфетами — диабет. Снова говорили. Все подтвердилось. Все было: гимназист Юра Жихарев, к которому была она весьма неравнодушна, местный любительский театр, премьеры каждый месяц, Юра — и главный актер, и режиссер тоже, да, да... Я, конечно, во все не похож на него — и ростом меньше, и вообще... Но в первую минуту ей показалось... Дальше воспоминания начинали идти по кругу. А семья? Где следы семьи? Где похоронены?

Знала! Всех знала. Но время было такое, сам знаешь... Я могу тебя на «ты» называть?.. Ну вот, а после войны вообще... Я раньше очень любила конфеты, а теперь нельзя... ничего нельзя... Зачем ты их принес? Неужели ничего поумнее не мог придумать?

Поезд дальше не идет

Утром мы уезжали. Торопились — в Москве надо быть засветло. Прощались наспех. Вдруг стали путаться имена и отчества — еще не уехали, а уже стали забывать. Но обнимались и целовались искренне, от души. До встречи!.. До встречи?.. Видно будет. Машут руками вслед.

Проехали вокзал. Хороший вокзал. Крепкий, красивый. Старый. Говорят, купец когда-то на карту поставил в клубе. Проиграю — построю железную колею в тридцать километров, от основной дороги до стоящего в стороне Стародуба. И проиграл. И построил колею. И хороший вокзал к ней. Опять же говорят, поняли другие купцы, что теперь надо дальше тянуть нитку рельсовую — на Чернигов, а оттуда уж... весь мир. Но вроде денег в тот момент не было. А там — революция. А там — разруха. А там — великие стройки, к которым Стародуб никакого отношения не имел. Так и остался тупик с красивым вокзалом. И даже поезд ходит. Редко.

На обратном пути гоню — опаздываем. Красный Рог проскочили мимо. Погудели. Но никого не видно. Ворота распахнуты, а людей не видать. Брянск... Сухиничи... А вот уж Подмосковье... Апрелевка... Внуково.

Вечером провожал братьев в Питер. Хорошо съездили. Только зачем? Ничего ж не нашли! А чего, собственно, искали? В себе, наверное, что-то искали. Родства друг с другом искали. Мы до этих дней так близко никогда не были. Да, честно сказать, и после так близко не были.

Три дня родства. Пробел.

Большие мельницы

Жихаревых больше нет. Эта тайна отца так и осталась тайной. Но оказалось, есть еще Юрские. Я узнал об этом через много лет после смерти отца. Оказалось, далеко-далеко есть у меня сестра, Галина Юрьевна, дочь Юрия Сергеевича от первого брака.

Я становился известным. В каком-то газетном интервью рассказал я об отце, о маме, об уюте нашей семьи, о способности отца любить и заботиться. И получаю письмо из Душанбе: дескать, да? Уютно? Хорошо заботился? А я как жила? А мать моя? А дочь моя? Почему нам не было уютно?

Вот так-то! Я ответил на письмо, но с Галиной мы так и не увиделись — она вскоре умерла. А племянницу Оксану и внучатого племянника я обрел.

Вот они, тайны отца. О других не знаю. Думаю, и не было их. Но такая уж это была натура, что и этих тайн хватило для сопровождавшего его всю жизнь ЧУВСТВА ВИНЫ. Вины за свои грехи (они есть у каждого. Даже у такого чистого человека, каким был Юрий Сергеевич), но не только за свои личные. Чувство вины от СТЫДА — за несправедливость, за невозможность помочь, исправить или за недостаточную помощь. Отец как личную вину переживал репрессии, коснувшиеся близких и дальних знакомых, любые антисемитские кампании или выпады, откровенную ложь лозунгов, двоедушие, ставшее нормой жизни. Черты донкихотства были не только в его внешности, но и в его натуре. Он кидался на помощь, однако враждебные мельницы были так высоки, что дотянуться до них было невозможно. Случалось, пытался, но его тут же сшибали с коня, и летел он вниз со всех ступенек и должностей. Оставалось размахивать руками, стоя в отдалении. От этого тоже было стыдно, было постоянное чувство вины. Отсюда вино. Отсюда водка — спасение потерянных поколений. Бездна попытка забыться и быть веселым, как в молодости в Стародубе (старуха сказала, что прежде всего был он необыкновенно веселым и заражал всех весельем), когда еще не знал, не видел, недопонимал того, что происходило.

Подсознание II

Отец носил оформленную бородку и усы. Каждый день подбривал. По утрам он бывал так хорош! Стихами, ролями, цитатами была набита его голова. И в похмельной легкости (или похмельной тяжести — не имеет значения) они рвались наружу, большими кусками, в голос, в великолепной интонировке его красивого низкого баритона. Гоголь, Пушкин, Достоевский, А. К. Толстой, Чехов, Горький, Бунин, Леонид Андреев — вперемежку с какими-то забавными куплетами, обрывками старых студенческих песен.

«Люблю красивые непонятные слова», — цитировал отец монолог горьковского Сатина. И сам любил, как это у него называлось, «говорить слова». Тут и поднималась со дна души смесь обрывков памяти и выплесков подсознания. Отец правил на ремне опасную бритву, намыливал щеки, колот щеку для растопки печки (да, да — это в городе Ленинграде, в центре, в 50-м году, и не было у нас еще центрального отопления) — делал простые бытовые работы и, как другие при этом напевают, он «говорил слова».

«Презумпция... Презумпция!!! (много раз) Презумпция!»

«А может быть, я и не человек?» «Вчера в клубе говорят: Шекспир, Волтер. А я не читал. А сделал вид, что читал. И другие тоже, как я». (Это из Чехова.)

«Чепуха! Реникса! О, если бы не существовать!» (Опять Чехов.)

«В департаменте... но лучше не называть, в каком департаменте». (Гоголь.)

«У приказных ворот собирался народ густо.
Говорил в простоте, что в его животе пусто».

(А. К. Толстой.)

«Человек — это не ты и не я, человек — это ты, я, Наполеон, Навуходоносор... Он уйдет... вот увидите, он уйдет». (Горький.)

«Наша жизнь коротка, всё уносит с собой,
Наша юность, друзья, пронесется стрелой.
Проведемте, друзья, эту ночь веселей,
Пусть студентов семья соберется тесней».

(Из Л. Андреева.)

«Мы все глядим в Наполеоны. Двуногих тварей миллионы
Для нас орудие одно. Нам чувство дико и смешно».

(Пушкин.)

Среди этих восклицаний и бормотаний услышал я впервые, абсолютно не сознавая, что это такое, отрывки, фразы, обороты псалмов, молитв, церковных возгласий. Для меня это и были «красивые непонятные слова». Смысл не доходил. Смысл был, но он оставался отцовской тайной.

«Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седе, но в законе Господнем воля его, и в законе Его поучится день и ночь». И опять: «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых...»

Потом отец одевался, выкуривал папироску, другую и говорил: «Зюка! (Так он звал меня.) Я сегодня поздно. Партсобрание. Ладно, я пошел в департамент. Ни пуха тебе...» И отправлялся. Шел. А я не связывал тогда «Блажен муж, иже НЕ иде...» с тем, что он-то ШЕЛ. Много лет потом только задним числом связал я одно с другим и узнал, что «Блажен муж...» — начало первого псалма Давида, открытие Псалтири.

8 июля

Я обожал отца и страдал за него. Мы жили не просто скромно, мы жили бедно. Но понимаю я это только сейчас. Тогда мне казалось — нормально. Более того — теперь я догадываюсь, что для отца все эти неудобства жизни и отсутствие денег в какой-то мере уравнивали его чувство глобальной вины перед теми, кому еще хуже.

Сколько помню, отец всегда был в долгах. В больших долгах. А брал он в долг особенным образом. Во-первых, находил обильные возвышенные и веселые слова тому, кто дал в долг. Во-вторых, делал ему подарок. А в-третьих, как он выражался, «фетировал» его, то есть приглашал еще несколько приятных обоим человек, и несколько дней кутили вместе в честь того, что сумма получена. И оставалась от «суммы» малая толика. Долг надо отдавать. Отдавал в срок — дворянская честь требует. Для этого снова умудрялся где-то взять в долг. И опять все сначала. Лет с четырнадцати он брал меня с собой на просмотры спектаклей. Знакомил с коллегами и очень серьезно представлял меня: «Мой сын, наследник всех моих долгов».

В повести Виктора Драгунского о цирке сороковых годов, которая называлась «Сегодня и ежедневно», лица все реальные, только фамилии выдуманы. Худрук цирка — высокий, худой, с бородкой и усами, похожий на Дон Кихота, носит в повести фамилию Долгов. Ну конечно!

Умер отец внезапно. В июне еще активно работал в Москве — был членом жюри Всемирного фестиваля молодежи и студентов (1957 год), а 8 июля в доме отдыха ВТО «Комарово» под Ленинградом скоропостижно скончался на руках у мамы и на глазах у меня. Похоронное многолюдство и искренняя любовь к нему многих, которую ощущаю я и теперь, через десятилетия, не смягчают потери. Он был маяком и опорой. Два проклятия приблизили его кончину — водка и долги.

Как все

Я возненавидел долги и пьянство. В долг не жил никогда, как бы трудно ни было. А пьянство... Этот наркотик — не мой, и его спасительные (сомнительные) радости — не мои. Хотя пил. Начинал. В университетские времена компаний не только не чурался, но был, пожалуй, душой общества. А в те времена непьющих компаний вовсе и не бывало. Выпить мог много и не пьянел. И потому ничего не опасался. До поры, до времени казалось мне, что я железный. Гордился — меру знаю, и мера моя высока. Но вот раз, а потом два по-

плыло перед глазами. Пол накренился. Пошла блевотина. И полная неподвижность на следующий день — головы не поднять. Я сумел сказать себе «стоп», но в компаниях остался. И теперь, сторонним уже глазом, разглядел эти с детства знакомые повторы фраз, это слюнявое кружение мысли на одном месте.

Кажется (может быть, только кажется?), в пятидесятые годы пьяные разговоры рождали еще откровенность — рискованную, даже опасную, но такую необходимую. Был смысл — сбросить панцирь, открыться! Но дальше — в шестидесятые, и еще дальше, и уж особенно в невероятно (неупотребимо) свободные перестроечные годы, когда и так все откровенно донельзя, когда мысль, рванувшись от эзоповых дальних намеков, аллюзий и тонкостей интонаций, превратилась в нечто топорное — все в лоб, все голо и плоско, — в эти времена пьяные разговоры стали просто невыносимы.

Водку я люблю, но теперь предпочитаю выпить в одиночку, где-нибудь в гостиничном номере после концерта. Принять дозу или даже полторы, закусить и, бывает, даже наговорить вслух всякой ерунды о прошедшем дне, об успехе или поражении. Но не утомлять никого этим пустословием и — главное! — не слышать чужих излияний.

Так уходишь в одиночество. Так обретаешь репутацию трезвенника и... некоторый холодок в отношениях — не пьет, как надо. Не свой. Зануда. Да, ребята... и вы не свои!

С большой буквы

Надо поддерживать — отношения, дружбу, контакты, традиции, форму, связи — всё ПОДДЕРЖИВАТЬ НАДО! А то упадет! Пропускать нельзя! Я пропускал. И многое пропустил.

Пропустил, например, Ее Величество Богему. Пишу с большой буквы, потому что Она сильна и властна почти божественно. Да и корень слова что-нибудь да значит. Не забудем, конечно, что корень слова ПОХОЖ на русский, а слово-то... слово ОТТУДА — французское. Но и мистика случайного сходства тоже весома.

БОГЕМА — БЕСПОРЯДОЧНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СЧИТАЮТ СЕБЯ И ОБЪЯВЛЯЮТ СЕБЯ ПОРЯДОЧНЫМИ.

Богема моего поколения, очевидно, связана прежде всего с пьянством на квартирах, с немногочисленными ресторанами и прежде всего с разговорами. Еще Богема тех времен обязательно связана с искусством. Чердаки художников, подвалы скульпторов, закулисье театров — ее любимые места кишения и размножения. Новая Богема балует себя наркотиками, ночными клубами, презентациями чего угодно кому угодно, дорогостоящими играми и заграницей. Искусство присутствует, но по касательной — это дизайн, мода и... звезды, однако исключительно в их скандальных проявлениях. Новую я совсем не знаю. Смотрю на нее издали. А прежнюю, еще и теперь не исчезнувшую окончательно, знал, касался и... пропустил.

Я читаю выходящие книги о том времени Василия Аксенова, Толи Наймана и удивляюсь. Это рассказы о людях, событиях и местах моей молодости. Все совпадает — по дням можно проверить, — мы были в одном месте и в одно время. Но только это не обо мне. Мне нравятся эти книги, мне интересно узнать новое о том старом, из которого я вышел. Мы почти рядом. Мало того, я с Аксеновым телефонно даже знаком был — хотел снять в кино его «Затоваренную бочкотару», заявку на Ленфильм подавал. Круг Наймана через Рейна, и Бродского, и Битова тоже мне был не чужой. Но я — не их, и они — не мои, и тут, надо признаться, одиночество. При том, что я их поклонник — читатель их и хвалитель. «Ожог» — одно из самых сильных впечатлений целого десятилетия. С

Беллой мы давно и нежно знакомы, мы были бы на «ты», кабы она не называла всех на «вы». С Борей Мессерером мы спектакль вместе сделали («Орнифль» в Моссовете), я у него в мастерской много часов провел. Эта мастерская — самый центральный центр всех исканий, борений, богемий... Я бывал, я любил их, а вот... не влился. Не влип.

Пробел.

Может, попытаться описать Богему с точки зрения частично причастного? С точки зрения отчасти увязшего? Это, быть может, независимая точка зрения? Да нет, это слишком! Это просто частная точка зрения. Но для истории — попробуем! В чисто научных целях.

Богема моих времен

Дома творческой интеллигенции, они же рестораны: Дом актера (угол Пушкинской площади и улицы Горького), Дом литераторов (Герцена), Дом кино (целых два — Воровского и Васильевская), Дом журналистов (угол Калинина и Суворовского бульвара), Дом композиторов (Неждановой), художников (без ресторана, но с презентациями — Крымский вал). Отчасти — Дом архитекторов (Щусева), Дом ученых (Кропоткинская). Есть еще свои постоянные углы в ресторанах «Арагви», «Центральный», «Москва», «Националь», но это уже не чистая Богема, а богема со спонсорами — они и тогда были. А как же!

Торговые работники, врачи-частники, теневики, цеховики, просто спекулянты, начальники средней руки с распухшими от взяток карманами, большие начальники, которых просто везде принимают бесплатно вместе с компанией, и само застолье есть взятка. Есть еще группа ресторанов, но тут уже fifty-fifty, не просто Богема и не богема со спонсорами, а смеси: личный блат, холява, разгул на три рубля, грузины из-за соседнего столика: «Можно вас попросить к нашей компании, товарищи артисты, наши девушки будут счастливы, панымаэш, посидеть с вами!» Это рестораны «Пекин», «Баку», «Минск», «София».

А в Ленинграде — Дом искусств, Дом архитекторов... и далее по списку. И рестораны «Восточный», «Кавказский», «Крыша» в гостинице «Европейская», позже — «Садко»... и далее по ограниченному, но немалому списку.

А в Риге... а в Таллине... а в Ташкенте...

Пили, гуляли, шумели по этим адресам разные веселые люди — больше, разумеется, разбойники разных мастей. Разбойники всегда сильно веселятся и поднимают кубки после удачных набегов. Но и творческая интеллигенция гуляла и шумела. И околотворческая. И околоинтеллигенция. И вовсенеинтеллигенция. Все вместе — БО-ГЕ-МА.

Булгаков, конечно, вспоминается — «Было дело в Грибоедове», чудные главы ресторанный жизни. Но то другие годы, другой запашок. А это — наши, недавние, родные.

Богема — стиль жизни. Богема — понятие круглосуточное. Где-то, конечно, работали, служили. Вернее, числились. Но часто-часто бюллетенили. Освобождение от работы выписывали — тоже богемные — знакомые доктора. А можно и без докторов. Можно прийти на службу, показаться, рассказать пару анекдотов, обаятельно пошутить с секретаршей начальника, насмешить самого начальника легким злословием и вольнодумством и... отлучиться «по общественным делам». День пошел!

Телефон! Телефон — оружие Богемы. Раскалить диск и трубку двумя десятками звонков:

«Люсенька, кто тебя сегодня ужинает?»

«Яша, когда у вас для пап и мам?»

«Гриша, позарез нужны “Мифы народов мира”... Любые деньги».

«Игорь, махнем на недельку в Ригу? Могу справить командировку, номер нам забронировать».

«Сеня, хороших конфет пару коробок можешь сделать?.. Ладно. Вечером у Бори. Я там расплачусь. Ага, для нее и для ее сменщицы. Ну с какой стати? Перестань, я тебе и так сколько должен... Ладно, разберемся... О чем ты говоришь? В двадцать три ноль ноль капуста с Ширвиндтом и Державиным... Конечно! Послезавтра... Считай, ты уже там. Для тебя можно и втроем. Нет, к Эскину не суйся, я сам тебе передам».

«Вика, не будь душой, возвращайся к нему. А я помогу. Но не за так. А вот завтра увидимся, я научу. Посидим... полежим... всё объясню...»

Обеденный перерыв

В два часа открываются рестораны Домов. Цены дневные — облегченные. Правда, и тарелочки маленькие и порции, не обременяющие желудок. Это время комплексных обедов — для своих служащих, для их знакомых, для завсегдатаев (очень чисто выбрит, после бритья применяет пудру, остро пахнет мужским одеколоном «Зодиак», с помощью ножа и вилки ест даже зеленый горошек, каждую горошину отдельно: «Я обедаю в Доме актера с одна тысяча девятьсот... Помню, когда в эту дверь входил Остужев. Это было в том бывшем помещении, когда еще не было Дома актера») и для счастливых провинциалов, имеющих сюда доступ. («У нас коллегия на день раньше кончилась, свободен, как птица. Тут рядом Елисейевский, я там и возьму колбаски, там и очередь всего на час, не больше, я заходил, глянул, там четыре кассы на колбасный работают, быстро идет, а ужинать опять сюда, мне обещали договориться, хотелось бы повидать Олега Даля, он, говорят, пьет жутко, хотелось бы взглянуть на него вблизи»). Очень сильно звякают простые ложки о простые тарелки.

Большинство посетителей в этот час — девушки и женщины: секретарши, помощницы, референты, инспекторы и просто женщины, всегда тут работающие, с незапамятных времен, но все забыли, в том числе и они сами, как называется их должность. Много курят, много пьют кофе. Вообще-то это не кофе, это раствор коричневого порошка в невскипевшей воде, но называется кофе.

Специальный стол за ширмочкой для секретарей Союза. Там сидит с секретарем некто неизвестный, особо приведенный. Там не котлетка, а отбивная. Не пюре, а жареная картошечка. Там уже и графинчик. Но чуть-чуть — двести граммов. Ну, от силы триста.

Еще не вечер. Скатерти не белые, а, скажем, светлые — на свисающих подолах кое-где легкие потеки позавчерашнего соуса. Крошки хлеба по всей поверхности столов — чутко, но присутствуют. Пепельница — одна на четверых, иногда на шестерых. Окурки горкой. В дверях тесной группочкой страждущие, ожидающие свободных мест: «Время же, обеденный перерыв же...» Но сидящие не спешат. Тянут и тянут с уходом: еще кофеечку, еще сигареточку.

«Шестнадцатого у нее юбилей. Надо обзвонить, и список поздравляющих надо. И концерт. Ой, не говори, подруга! Все на мне!»

«А когда у них просмотр? Если Володька не сделает мне четыре места, я его убью».

«Ой, я устала смертельно! Уеду в Рузу на конференцию кукольников. Пока они там ля-ля, я хоть отосплюсь там».

«Наташка доигралась — Сашка третью ночь не ночует дома. Сама виновата».

«А где же он ночует?»

«У меня. Только — никому!»

«Подруга, за кого ты меня принимаешь?»

Это не Богема с большой буквы. Это... богемия. Не в смысле территория в районе Чехии, называвшаяся так в средние века, а в смысле — окрестности настоящей Богемы. Скажете, похоже на обычные сплетни? Похоже. Мало того, это они и есть. Но не будем кривить рот: «Сплетни света (по Пушкину!) — важная часть жизни и одна из самых занимательных». Правда, в данном случае и свет не особо яркий, и богемия — повторюсь — окрестная.

Еще не вечер.

В четыре ресторан закрывается. Грустно и устало обедают официантки. Пара пьяниц толчется у буфета.

«Клава, ну, Клава! Сто пятьдесят — и все. Завтра в Останкино заплатят за сказку — сразу рассчитаюсь. Клава!»

«Можешь дать поесть по-человечески? Подождать можешь пять минут?»

«Да ешь, ешь, конечно! Но потом нальешь сто пятьдесят? У меня спектакль, а мне еще на радио заскочить надо».

Еще не вечер

В шесть место у дверей занимает швейцар в форме. Барьер закрыт. Вход только по мере возможности. И по пропускам. И по благу. Еще — по пять рублей в руку. А также по договоренности. Ну и, естественно, по нахалке.

Скатерти белые. Цены повысились. Состав официантов обновился — больше стало мужчин. За дело берутся мастера. Пошел народ. Не густо, но пошел.

Это все еще не Богема. Первые посетители вечерней смены — это просто те, кто опоздал в обед или не был допущен, и теперь они хотят жрать.

А вот квартет болтунов. Актеры. Спектакля сегодня нет, и у каждого в кармане по двадцать рублей, свободно конвертируемых в пищевые продукты. Пришли вволю потолковать, пока чисто и не шумно (это намерение такое, на самом деле они застрянут до самого закрытия, а потом, в дыме и гаме одалживая тут и там по трешке — пятерке, будут вымалывать у бессонной Клавы еще по сто и еще по сто и всё толковать, толковать). Но пока, в начале, сели чинно, заказали много и пошли качать рейтинги по гамбургскому счету.

«Как Николай Константинович играл, так хера кому-нибудь сыграть!»

«Борис никогда зря не снимет с роли. Значит, он сам нарывался».

«Да иди ты... Видел я...»

«Меня Юлий Юльевич утвердил на роль, в окружении Савинкова, там один предатель, отличная роль, двадцать четыре съемочных дня, и съемки: Ялта, Варна, Выборг — роскошь! Так наш уперся и не отпустил. Пошел на принцип».

«Ну, видел я его в этой муре... Ну клянись тебе, ничего особенного».

«А-а-а! Это другой колер, про Пантелеймона Александровича ничего не скажу, это Божьей милостью актер. Артище! Он может ничего не делать, может играть ужасно, может текст весь перезабыть, пьяный может быть, и ширинка расстегнута, и ни слова непонятно, что он говорит, но плохо он играть не может! Не может — и всё!»

Это разговоры первых двух часов долгого сидения. А во вторые два часа уже переходят на личности и слегка горячатся, порой даже с разбиванием рюмок от неосторожного движения.

«Ну типичная знаковая режиссура. Ты тут не виноват, это он тебя неправильно ведет. Ты ведь всё показываешь, ты же ничего не проживаешь».

«Я не проживаю? Да ты, бля, воображаешь, что ты сказал? Нет, Витя, ты, бля, слышал, что он говорит? Это я не проживаю? Да у нас Жан Луи Барро был на спектакле, он охерел от того, как я проживаю».

«А я говорю не про это. Я говорю про то, что не по школе! И ты не виноват. Ты свое ведешь правильно. Ты, может, один из всех там правильно существуешь. Но ты же не слышишь ни хера партнера».

«Я не слышу партнера?! Ну ты даешь! Ты когда смотрел? Ты шестнадцатого смотрел?»

«Я не помню».

«Нет, но ты смотрел шестнадцатого или двенадцатого?»

«Я не помню».

«Вот то-то и дело, что ни хера ты не помнишь. И кто тебе друг, а кто тебе враг, тоже не помнишь. Если ты смотрел двенадцатого, я не спорю, я был с большого бодуна и играл поверху, но за шестнадцатое я ручаюсь. У меня слезы знаешь где стояли?»

«Где? Ну где?»

«Да иди ты! Говорить с тобой! Люся, нам еще триста и два салатика восточных».

Она!!!

Это все еще не Богема. Богема не приходит после работы и не заказывает обед из трех блюд. Богема не сидит четыре часа за одним и тем же столиком. Богема не замыкается в компании тех, с кем пришел. Богема — это... Ах, да что говорить! Богема НИКОГДА НЕ НАЧИНАЕТ свой вечер! Чудесным образом ВЕЧЕР Богемы начался еще ДНЕМ. Богема всегда приходит из какого-то ДРУГОГО МЕСТА, где было «просто кошмарно», о чем со смехом можно вспомнить здесь, в новом месте. (Но нужно помнить, что это новое место — тоже не окончательное, оно промежуточное, ибо настоящая Богема не знает ни начала, ни конца.) Богема может позволить себе, не опасаясь, говорить громко, потому что говорит она на своем языке, понятном только ей самой, — отрывками слов и образов.

БОГЕМА ИДЕТ ПРЯМО ТУДА, за ширмочки, где днем был стол для секретариата. У нее там заказано, потому что «Кирилл Петрович еще днем звонил и Боря знает». Но может оказаться, стол все-таки занят, потому что бывает еще Михаил Иванович — начальство большее, чем Кирилл Петрович. Итак, за столом уже сидят. Возникает пауза. Но сидят за столом (почти всегда) восточные люди. Они вскакивают со своих мест, потому что узнали Богему и будут счастливы с ней познакомиться. Они теснятся, просят к своему столу и кличут Борю ко всему обилию добавить еще и еще столько. Богема присаживается, пригубляет (иногда до дна и неоднократно) и принимает комплименты.

Почти невероятен, но не исключен полностью другой вариант: за ширмочкой НЕ ВОСТОЧНЫЕ ЛЮДИ! Вы скажете: не может быть! Вы правы: не может, и, однако, отдельные случаи были в нарушение всех законов природы. За ширмочкой сидели НЕ ВОСТОЧНЫЕ ЛЮДИ, а наши, неизвестно откуда взявшиеся и кем приглашенные. Они не знали Богему ни в лицо, ни по имени. Они даже толком не знали, где они находятся. Они угрюмо выпивали, угрюмо закусывали, иногда даже угрюмо смеялись и не обращали на Богему ни малейшего внимания. Богема, приподняв брови, смотрит на Борю. Боря трусливо косит глазами на сидящих, немощно разводит руками, а потом украдкой указывает пальцем вверх: дескать, против этого не попрешь. Богема опускает брови, вздергивает подбородок и отходит к буфету. Там в стоячку, опять же пригубляя, а впоследствии осушая полностью, громко говорит на своем особом языке (на хорошем, надо признаться, языке!) о хамском начальстве, о сгнившей системе, неделикатности, тупости, глупости, всеобщем блядстве (что тоже, надо признаться, абсолютная правда).

Утренняя смена

Богема все больше хмелеет, но элегантность не изменяет ей. Даже более того, весь этот зал, все круто разгулявшиеся посетители — все эти полуудавшиеся актеры, полуспившиеся мужья разведенных с кем-то жен, сыновья владельцев государственных дач, зам. зав. отделами специальных журналов, сошедшие с круга бывшие знаменитые спортсмены — всё это так жалко выглядит рядом с Богемой, тоже пьяноватой, тоже полуудавшейся (ибо нет пророка в своем отечестве и нет в России людей, довольных своим положением), но уже удаляющейся... утекающей элегантной змейкой друг за другом и, «медленно пройдя меж пьяными», помахивая бутылками виски и бананами, купленными у Клавы в буфете («Jonny Walker» 0,75, всего за 18 рублей), направляющейся дальше, дальше... в мастерскую Коляна или Богомола пить кофе, сухое вино (виски пригодится на завтра), опять кофе, армянский коньяк, кубинский ром, опять кофе, поглядывать на не просохшее еще (или уже засохшее и знаменито известное) концептуальное полотно Коляна (или Богомола), а оттуда, перешептываясь с какими-то как из-под земли взявшимися типами со странными иностранными акцентами, под ручку с подозрительно трезвыми для этого времени весельчаками с глазами провокаторов, движется дальше по бессонной Москве, где водка в этот час не продается нигде, но достать ее можно везде, выскакивает из такси на Бородинском мосту и бежит стремглав к парапету Москвы-реки, блюет с высоты в замусоренную воду, а потом вздымает руки, проклиная этот город и свою несчастную в нем судьбу, понуро возвращается к машине, дверцы которой выжидательно открыты, видит внутри своих братьев и понимает вдруг (это как вспышка!), что роднее людей нет, не было и не будет, что мы соль земли, что вся Россия нас поймет и полюбит, а мы еще послужим ей, и, хлопнув дверцей, вылетает в ночное жужжание Садового кольца и далее, далее, не замечая прошедшей ночи и наступившего утра, ибо Богема не кончается никогда.

Впрямь

И я там был, не скажу — мед, но пиво пил и другие напитки тоже. И знаю, хорошо знаю, что такое пересидеть в компании пару лишних часов и наговорить пару тысяч лишних слов и послушаться в ответ уже не пару, а полсотни тысяч этих самых — лишних. Крутанул я и я в водовороте, но не принял он меня. То ли пощадил, то ли отверг. Выплюнул. И выкарабкался я на берег. Стою мокрый — народу никого. Пусто. Творцы, значит, в водовороте крутятся, а трудяги на своих трудовых постах. А тут — на середке — никого. Вот и выбирай. Решайся! А на ветру мокрый не стой — застудишься на фиг! И пошел я к трудягам.

Труд спас. Мне повезло. С первых шагов я оказался трудящимся — нужным — актером. Играл по двадцать пять, даже тридцать спектаклей в месяц. И роли были большие. И репетировал. Так что, при всем желании (а желание было!) не загуляешь. То есть, в смысле, всерьез, эдак по-настоящему, ну никак не загуляешь.

«Расслабься! — говорят и обнимают искренне дружески. — Расслабься! Отдохни! Чего ты такой застегнутый?»

Да мне и самому хочется расстегнуться и... позволить себе... Но что ж тут поделаешь?! Ребята, у вас свой режим, а у меня свой. Репетиция! Куда денешься? А я на репетицию без выученного текста не прихожу. По бумажке не могу, не получается.

«Какая репетиция, слушай? У меня тоже репетиция. Но до этой репетиции у меня еще в восемь утра самолет. Долететь еще надо до репетиции. А сейчас куда спешишь, спать, что ли? Состаримся — будем спать! Сидим, кутим, генацвале! Почему не пьешь? Обидеть хочешь? За самое дорогое пьем!»

«Нет, ребята, это я пропускаю. Следующий тост за мной, а сейчас пропускаю».

«Как пропускаешь? Слушай! За отцов наших пьем, чтоб они долго жили, а кто умер, пусть слышат, что пьем мы за них, как они пили за нас! Пили они за нас? Правду я говорю?»

«Правду, правду... Но я... пропускаю...»

Пропуски. Пробелы...

А друзья не врут — правда. Я это видал. Были такие богатыри — и пили, и гуляли, и кино снимали, и на сцене играли, и детей рожали, и плясали, и любили, и падали посреди дороги, и вставали, и летели, и проигрывали, и смеялись, и оставались победителями. Были богатыри! Я их знал.

Я послабже. Это и спасло. Свои нагрузки я мог выдержать только при железной дисциплине. Мне еще раз повезло. В отличие от многих других театров, в который я попал, был трезвым театром. Грузин Товстоногов понимал толк в застолье, умел ценить искусство тамады (а я под его руководством стал ДИПЛОМИРОВАННЫМ грузинским тамадой), но пьянства в своем Большом Драматическом театре не терпел на дух. Буквально на дух — у Гоги был специальный человек (инспектор сцены Зарьян), который принимался, не пахнет ли спиртным. Пить в театре во время спектакля категорически запрещалось, выпивший актер на сцене для БДТ был абсолютный нонсенс. А ведь кругом был разгул. Не буду говорить о моих друзьях из «Современника» или лихих бунтарях Таганки — это столичные, московские взлеты и завихрения. Но есть и знаменитая ленинградская фраза из высоко академического театра: «Пропустите, налейте Ольге Яковлевне, ей уже на сцену выходить, налейте ей первой». У нас в закулисном буфете даже пива никогда не продавали. Таков был Гога. А Георгий Александрович Товстоногов был моим кумиром.

Апостол Михаил

Потом, чуть позже, вошел в мою жизнь еще один кумир. Это был Михаил Александрович Чехов. Мой ориентир. Вектор моего движения. И я прочел в засаленной, со слипшимися страницами старого издания книжице:

«Я заметил в себе нечто новое. Тот душевный подъем, та способность к забвению, которые я переживал в состоянии опьянения и ради которых я, собственно, пил, перестали быть теми, какими знал я их прежде. Что-то мешало состоянию моего опьянения. Что это было, я, разумеется, не знал, да и не хотел знать. Я констатировал скуку в своей пьяной душе и внутренне морщился. Мне было обидно. Прежде вино делало меня остроумным, веселым, легким, пронизательным, смелым и пр. Теперь же ко всему этому присоединился налет скуки и портил веселость, портил остроумие и пронизательность, дававшие мне прежде успокоение и радость. О, как бы я огорчился, если бы кто-нибудь мог сказать мне тогда, что, собственно, происходило со мной в действительности! Я терял радость пессимизма! Я изживал его!»

Может быть, я позволил себе слишком длинную цитату. Но эти слова Михаила Александровича не только сами по себе хороши, длина выписки отражает еще благоговение, которое охватило меня тогда перед текстами М. Чехова. От знакомства с ними какие-то створки, какие-то ставни распахнулись внутри меня, и возникла тайная, радостная, ослепительная перспектива.

Могу сказать уверенно: помимо воздействия на меня опыта моих родителей, учителей, коллег, всех моих театральных и кинопечатлений, три удара трижды перевернули мое представление о профессии, которую я выбрал, определили мои вкусы и намерения в работе.

Первый удар — книга Станиславского «Моя жизнь в искусстве». Прочитана была лет в тринадцать-четырнадцать, и мои мечты перекинулись от цир-

ка (клоун-жонглер) к драматическому театру. Навсегда перевоплощение — превращение в другого человека — стало для меня высшим критерием качества игры.

Второй — фильм Феллини «8 1/2», увиденный в шестьдесят втором году. Я смотрел его шесть раз. Я пересказывал его несколько раз кадр за кадром Анатолию Эфросу по его просьбе и бесчисленное количество раз множеству людей по собственной инициативе и порой без всякого желания с их стороны. Я написал стихи, разъясняющие и прославляющие этот фильм. Для меня открылось, что работа режиссера ближе всего к труду композитора, что внутри хорошей режиссуры лежат прежде всего ритм и музыка слова.

И третий удар — явление в моей жизни Михаила Чехова. Это было в середине шестидесятых.

Сначала его не было. Вообще не было — его для меня не существовало. Чехов был один — Антон Павлович. Михаила Чехова впервые упомянул мой отец. Упомянул как пример — вот, дескать, был артист! Таким артистом быть стоит. А если не таким, то... оставь эту затею, сынка, и поступай на юридический. Потом, помню, мы с мамой и с папой смотрели американский фильм «Равнодушие» в кинотеатре «Великан» в Ленинграде. Не трофейный, а новый заграничный фильм в нашем прокате — большая редкость. Зал на две тысячи мест, и народу битком. Сеансы с десяти утра до ночи. И ночью тоже. Билеты по тройной цене, и тех не достать. И вот смотрим. Элизабет Тейлор — ах! Витторио Гасман — ах! Но отец показывает мне на исполнителя довольно второстепенной роли — невысокого старичка-профессора — и говорит: «Смотри, сынка. Это великий русский актер».

«Как может быть русский актер в американском фильме?»

«Он эмигрант...» (На ухо — запретное слово, 50-е годы.)

«Кто это?»

«Чехов».

Странно! Во-первых, как мне показалось, ничего такого особенного. А вторых, я привык думать, что всякие эмигранты — это все давно, еще до моего рождения, куда-то бежали и где-то пропали. А тут новый фильм из Америки, 50-е годы. Странно. Удивительно, но я ведь только гораздо позже спохватился и осознал, что был я современником Михаила Чехова. Он был еще жив, он еще работал, когда я поступил в университет и начал играть на сцене.

Итак, сначала его не было. Потом он мелькнул в моем сознании. А потом началось проявление старого негатива — появились контуры, стали заполняться туманным изображением, оно становилось все более четким, и, наконец, реализовалась фигура, которая на время заслонила для меня вообще все остальное.

Начальные классы моих университетов

1955 год. Я студент юридического факультета. Театральный коллектив университетской самодеятельности называется коротко — «Драма». В этой «Драме» я репетирую роль Хлестакова. Это вторая версия спектакля, прямо-таки гремешего на весь Ленинград. Отец был председателем жюри смотря самодеятельных спектаклей (это 52-й год). На университетского «Ревизора» взял с собой меня, школьника, с умыслом: о спектакле говорили, о нем писали, на него и попасть-то было непросто, но это само собой, а умысел был — соблазнить меня любительской сценой высокого качества, чтобы отвлечь от сцены профессиональной. Отец не верил в мою актерскую судьбу.

Зал военного училища на Съездовской линии Васильевского острова забит до отказа. А зал громадный: мест — тысяча с лишним. Реагируют бурно. Тяжелый малиновый занавес с серпами и молотами раскрывается, и вот они, знаменитые самодеятельные актеры, герои Питера этого года — Рожановский (Го-

родничий), Барский (Ляпкин-Тяпкин), Тареев (Хлопов), Шелингер, Бардина, Шележева... о, боже мой! И главное, центральное, определяющее — Игорь Горбачев в роли Хлестакова! Душка, душка! На сцене и в жизни! Покоритель женских сердец. Действительно, феноменально обаятельный, неожиданный, полный победительной силы.

Ах, как хочется туда, на сцену! Хочется быть с ними, среди них! В любом качестве, только бы с ними. Отец говорит мне в антракте: «Вот тебе и театр. Поступай в университет и пробивайся к ним. Именно пробивайся. У них ведь тоже специальные экзамены и конкурс, наверное». И вот через несколько лет я уже, можно сказать, основной артист этой труппы, и после многих других постановок Евгения Владимировна Карпова, наш режиссер и руководитель, возобновляет «Ревизора». Горбачев теперь наш педагог, а я играю Хлестакова. На одной удавшейся репетиции сцены вранья из третьего акта Евгения Владимировна сажает меня рядом с собой в зале и делает сильный комплимент: «Большой стиль». В ее устах это похвала редкая. Потом добавляет: «Я вам перескажу трюки, которые в этой сцене позволял себе Михаил Чехов. Может быть, вы сумеете их оправдать».

Опять это загадочное имя — Михаил Чехов. Я спрашиваю: «А что, он так здорово играл Хлестакова?»

«Лучше никто не играл и не сыграет». (Во как!!!)

«Так какие же трюки?»

«Из пьяного монолога сцены вранья реплика про карточную игру: “У нас там и вист свой составился. Министр иностранных дел, французский посланник, немецкий посланник, английский посланник и я” и т. д. Чехов говорил и показывал, как их четверо село за стол играть в вист. Тыкал пальцем влево и говорил: “Министр иностранных дел”, напротив себя — “Французский посланник”, справа — “Немецкий посланник”, показывая на себя, говорил: “Английский посланник...” Дальше надо сказать: “И я”, — а пятого места нет за столом. Он искренне удивлялся, даже пугался, а потом показывал куда-то далеко в сторону: “И я”. Вот как длинно это в описании, а на сцене — одна секунда. Меньше — доля секунды. Но если это сделать наивно и четко, как делал он, — успех взрывной. Уже непонятно, ошибка это или импровизация, и чья импровизация — Хлестакова или актера. Температура комедийного контакта сцены и зала резко подскакивает. А главное — психологически это было у него абсолютно оправдано. Тут в одной секунде и простая путаница, пьяная несуразица, и фрейдистский проговор, когда невольно выползает тайна подсознания, — ведь на самом деле ему там места нет, тут и истинный Гоголь, тяготеющий к преувеличению, и всё — в долю секунды. На то и театр!»

«А второй?»

«Арбуз! Когда он живописует, какие арбузы подают на званых обедах в столице, и говорит, что арбуз стоит семьсот рублей, он прямо не знает, как это выразить, что арбуз... необыкновенный. И со словами: “Арбуз, ну можете себе представить... в семьсот (!!!) рублей арбуз” — и при этом рисует в воздухе квадрат. Квадратный арбуз!»

Я был потрясен. Вот так Чехов! Вот так неизвестный мне племянник Антона Павловича! И когда начались публикации, связанные с ним, я жадно стал хвататься за всякий пересказ его метода, за любое упоминание. Книга М. И. Кнебель, воспоминания Сергея Александровича Ермолинского в журнале «Театр», книга Громова «Трагедия артиста». Добытая из спецхрана библиотеки книга самого М. Чехова «Путь актера» (20-е годы) и наконец — бесценный подарок — песочного цвета нью-йоркское издание на русском языке его «Техники актера». Подарок не навсегда, на время — почитать. Трудно теперь поверить, но я, в те годы уже далеко не студент (да и в студенчестве не особо склонный к конспектам), подробно конспектировал, порой дословно переписывал

всю эту литературу. В постепенно образовавшемся узком кружке мы читали эти конспекты вслух. В одиночку я пытался заниматься упражнениями «Техники...». М. Чехов помог мне перепрыгнуть ров, разделяющий профессии актера и режиссера. Я боялся даже подходить к этой меже. Чехов помог мне преодолеть страх, я стал заниматься режиссурой и в меру сил обучать актеров чеховской методике.

Не жалею — это и было настоящей школой в моей профессии, но, боже, сколько ЖИЗНИ (или того, что зовется жизнью?) я пропустил!

Сублимация

Влюбляться я начал рано, а вот любовным утехам предался поздно, когда уже неумогило было. И всегда — всегда! — интимнейшие мои побуждения были подавлены влечением к театру, долгом перед театром, желанием и обязанностью готовиться к игре и играть.

Новый год! Самый раскрепощенный праздник. Действительно радостный и действительно непринужденный даже в те, социалистические годы. И уж тут-то всегда — и маскарад, и законное пьянство, и обжимания в толпе или в уголке. Легкий флирт и легкие измены. И уж, во всяком случае, два выходных подряд — можно не вставать рано. Можно вообще не вставать. А можно и не ложиться, загулять на всю катушку своей радости, силы и молодости. У меня всё это тоже было. Но не в полную меру, не всюю. До обидного не полнокровно, не «до дна».

Пока одни готовили еду, костюмы, выпивку, пока другие договаривались, кто с кем, где и когда, мы готовили капустник. Э-э, только не рассказывайте мне, что капустник делается за одну последнюю ночь. Ради бога не повторяйте чужих рассказов о пьяных импровизациях, которые заставляли умирать от хохота зрительный зал. Это выдумки или — фокус, обман зрения. Зрителям **КАЖЕТСЯ**, что текст этот не писался и не учился наизусть, **КАЖЕТСЯ**, что это «само так вышло». Это высший класс легкости и... сделанности. Делается капустник быстро (не в одну ночь, но достаточно быстро) при двух условиях: первое — его делают люди, умеющие быстро работать, второе — еще до начала общих репетиций материал **СОЗРЕЛ**. Есть общая идея, написаны основные тексты, намечены музыкальные номера. Правильно подобраны исполнители, и они уже в курсе своих текстов и замысла в целом. Вот тогда, и только тогда, за три-четыре ночи рождается капустник как художественное произведение, рождается свободное едкое, смешное, с мгновенными переходами в печаль и возвратом в смех беспощадное представление, которое можно повторить и перед трезвой аудиторией, и вне застольного антуража, и оно будет держаться и производить впечатление.

К вам господин полицеймейстер

Теперь капустник стал расхожим жанром. Капустники показывает телевидение на всю страну, капустник — неременная часть любого юбилея и любой презентации, в Нижнем проводят ежегодный конкурс капустников со всей России. «Капустный» стиль во многом определяет программы всех команд КВН, а это уже выход на мировую аудиторию. Но заметим, что, расширившись, капустник переродился, изменил себя и изменил себе. Капустник — дитя **ЦЕНЗУРНОГО ВРЕМЕНИ**, и в этом все дело. Цензуровалось все. Кстати, вспомним, что при рождении жанра в Художественном театре капустники игрались в обход запрета играть спектакли в Великий пост — православное государство полицейскими распоряжениями утверждало регламент веры. Скромное есть нельзя, и нескромное смотреть нельзя. А в нескромное запишем

любое театральное представление. Ну нельзя, так нельзя. Мы спектакли и не играем, зрителей в соблазн не вводим. Мы для себя, по-домашнему, бесплатно и при закрытых дверях. Это можно? Ну если при закрытых... А все-таки текстики дали бы на проверочку? Господи, да какие там текстики? Так, пустячки, для тренажа, чтобы квалификацию не потерять, актер все время должен в тренаже быть, и на столах у нас только постное — капуста или пирог опять же с капустой, понимаете, господин полицеймейстер? Понимаю-с. Ну что ж, учитывая, что и сам я не чужд театру, в молодые годы имел удовольствие декламировать публично стихотворения господ Фета и Апухтина, не без успеха, заметьте, и надеюсь, что нет ничего противозаконного, позвольте пожелать приятного времяпрепровождения, глубочайшее почтение и восхищение — господам актрисам, которых не раз имел удовольствие лицеизреть на подмостках сцены, честь имею, господа!

Ура! Играем! Разумеется, только для своих. Но своих-то сколько! И вот сарафанная почта и уже появившаяся телефонная почта разносят по столице будоражающий слух: «У художественников капустник!» Волнующие подробности о тех, кто будет представлять, — любимцы публики в совершенно новом качестве, и о тех, кто намерен присутствовать, — цвет литературы, цвет общества. Отбою нет от желающих попасть. Приходится подумать о повторении представления. А разрешение? Ну да уж как-нибудь. И в поздний вечер, в час назначенный в совершенно особенной атмосфере легкого возбуждения от тайного праздника съезжаются в Художественный театр интеллектуальная и духовная элита и те, кому посчастливилось, кто заслужил право присоединиться к этой элите. Нет, нет, господа, Богом клянусь, никак нельзя! Некуда! Уверяю вас, не только сесть, встать негде... Непременно! В другой раз непременно! Как же, как же, Константин Сергеевич обещал, и Владимир Иванович твердо сказал, что приложит все усилия. ...Конечно, в другой раз можете рассчитывать... Повторим непременно... Разумеется, только для узкого круга.

Вот такая картинка рисуется в моем воображении, когда я думаю о тех, первых, начальных капустниках. А питает мое воображение вовсе не кропотливое изучение документов и свидетельств. Я вижу эту картинку во всех подробностях, потому что через полвека в обеих столицах Советского Союза — в Москве и Питере — происходило нечто сходное, очень похожее. И я сам был этому свидетелем и участником. Ну немного (нет, много!) другая лексика, ну вместо «господа» — «товарищи». Ну вместо «Богом клянусь!» — «Василий Сергеевич в курсе». В роли полицеймейстера выступает представитель идеологического отдела обкома партии. В ролях гарантов надежности вместо Константина Сергеевича и Владимира Ивановича — Николай Павлович Акимов и Георгий Александрович Товстоногов. Другие любимцы публики и другая элита в зале. Но это все тот же тайный праздник отсутствия цензуры в абсолютно зацензурованной стране.

Капуста и бифштекс

Капустник — всегда БЕДНЫЙ ТЕАТР. Он противостоит богатому государственному театру (в котором, надо напомнить, мы все, капустные актеры, и работаем). Минимум реквизита, костюмировки, никакого грима — только намек, знак. Весь наш оркестр — рояль. Но за роялем настоящий виртуоз Юра Аптекман. Текст, ритм и мизансцены, жестко заданные режиссером, актеры, хорошо знающие текст и умеющие легко импровизировать в заданном ритме и мизансценах и, наконец, ОСОБЫЙ ЗРИТЕЛЬ, умеющий оценить специфический стиль капустного театра. В капустнике мы смотрим на наш театр, на самих себя, а иногда на окружающую жизнь через особую призму, под очень острым углом. Зритель должен быть подготовлен к восприятию такого взгляда.

Карикатура сама по себе не смешна — смешно, когда знаешь оригинал. Наш зритель знал.

А ну как читатель воскликнет: погодите-ка, этот ваш зритель может и есть Богема с большой буквы, которую вы нам тут расписывали! Там тоже говорили на каком-то особом, не понятном другим языке. Но там вы иронизировали, а тут вроде восхищаетесь. Нестыковочка получается! А? Попался! Сам чувствую, что попался. Можно, конечно, грубо отрезать: это, дескать, диалектика, единство противоположностей — и точка! Прения закрыты.

Но слишком давно мы знакомы, дорогой мой читатель, чтобы мог я себе позволить такое с тобой обращение. Попробую объяснить. Про наше общество только говорили, что оно едино, монолитно и т. д. А на самом-то деле оно слоистое. Слои разные, но соприкасаются, налипают друг на друга. Так что Богема тогда ОТЧАСТИ была элитой, а элита ОТЧАСТИ была Богемой. Как бы это посовременнее выразить? Вот сейчас, к примеру, случается, видишь человека в нейтральной обстановке, допустим, в лифте вместе едем, смотришь и думаешь про себя: сантехник, наверное, кончил рабочий день и переоделся. Выходим с ним на одном этаже, а к нему толпой бегут и в пояс кланяются. И чего-то все просят. Оказывается, всеобщий благодетель и спонсор. Или еще — сидишь в столовой какого-нибудь умственного учреждения. Ешь, а что еще делать в столовой? Глядишь на человека и думаешь: как же это угораздило его сюда попасть прямо из тюрьмы? Явный уголовник. А он суп докушал и протягивает тебе визитку. Оказывается, он — Владимир Никифорович, президент академии каких-то совершенно новых наук и почетный доктор Пенсильванского университета. Ну жмешь ему руку в смущении, а на руке и вправду врезано синей татуировкой «Вова». У вас, наверное, тоже такие встречи бывали? Ну и что? Ничего, живем! Это особенность России — слоистый пирог, причем еще перевернутый горелой коркой кверху. А в те времена, когда мы капустники играли, при всей фальши, и маразме, и железном занавесе существовал такой все-таки не уголовный слой, который назывался «интеллигенция». А в нем был подотдел под названием «художественная интеллигенция». Вот она-то и была нашей публикой.

Стараюсь не брюзжать, но хотя бы кратко не могу не отметить: превращение капустного жанра в сверкающее шоу с многотысячной аудиторией, как и превращение работников искусств в участников всеобщей презентации периода рыночной экономики, есть все-таки в некотором смысле мутация, превращение одного явления в какое-то совершенно иное.

Итак, мы делали ночной театр

Саша Белинский — наш вдохновитель и режиссер. Он будоражил авторов и вместе с ними сочинял тексты, он определял основной номер, тональность и название нового капустника, он собирал труппу будущего представления. Преодолевая тайный страх, он пугал окружающих громогласной смелостью заявлений. Ежедневно с семи утра он начинал телефонную атаку на всех знакомых. Знакомых у него было шестьдесят процентов населения Ленинграда, пятьдесят — населения Москвы и сто процентов людей, хоть каким-то боком касающихся драматического и музыкального театров во всех областных городах Советского Союза. Около восьми звонков раздавался в моей квартире. Саша оглушал меня сенсационной новостью, вроде того, что главный идеолог страны снят со всех постов и отправлен инструктором райкома партии в Ангарск, или, наоборот, что жуткий тип — алкоголик, стукач и антисемит — назначен начальником всего ленинградского теле-радиокомплекса. Или: наш общий друг Е. сошелся с артисткой из города К., наша общая любимица Г. на

границ развода, небезызвестный Л. путем подхалимажа все-таки добился роли П. в фильме Х., наш дорогой и обаятельный И. на поверку оказался бездарностью и редкой сволочью и т. д. Сенсация иногда подтверждалась, иногда оказывалась пустым слухом, но день начинался мощным вздрогом, да еще нашпигованным едким Сашиним юмором. Да что я вам рассказываю?! Вы же знаете Сашу Белинского. Это тот самый Александр Аркадьевич Белинский, который теперь в красном халате рассказывает с экрана телевизора подобные истории о былых временах в собственной (прелестной, надо сказать) программе «Записки старого сплетника».

Белинский сделал десяток выдающихся телеспектаклей, придумал и фактически создал жанр телевизионного драмбалета, и ленты с участием Кати Максимовой, Володи Васильева, Мариса Лиепы получили действительно мировое признание. Опробовав все варианты театра, эстрады и телевидения, Белинский успокоился (кажется, успокоился) в должности главного режиссера ленинградской оперетты, где наслаждается штампами старых шлягеров, над которыми мы под его руководством так весело издевались в былые капустные годы.

Итак, Белинский собирал труппу из артистов разных театров. Основой был Большой Драматический — Валентина Ковель, Зинаида Шарко, Володя Татовсов. Далее — Лида Штыкан, Николай Боярский, Вера Сониная, Рэм Лебедев. Это актеры первого положения в главных театрах города. Знаменитости, безоговорочные знаменитости! Каково было мне — мальчишке — попасть в их компанию?! Ох, как надо тянуться! Да еще сразу на ведущих ролях. Подумать только, ведь я сыграл Чацкого сперва в капустнике Белинского как пародию, и Товстоногов видел эту пародию, а потом уже всерьез в «Горе от ума» Большого Драматического театра. Я сперва сыграл Остапа Бендера у Белинского, а потом в «Золотом теленке» Михаила Швейцера.

Музыкальная часть была за упомянутым уже Юрой Аптекманом, в вокальных номерах солировал Изя Лурье. Тексты писали для нас специально Владимир Поляков, Борис Рацер и Володя Константинов, позднее Семен Альтов и Миша Жванецкий. Использовались сценки Эрдмана, Ардова. И, конечно, много было номеров, сочиненных во время ночных репетиций, что называется, «зрительных» номеров — с минимальным текстом и выразительной пантомимой («Куклы» делали мы с Верой Сониной, «Фокусы» — с Зиной Шарко, «Подкидные доски» — вся труппа). Все это варилось, уплотнялось, скреплялось песнями, куплетами, которые чаще всего писал сам Белинский. Ведущим капустника был невероятный импровизатор — эстрадный конференсье Владимир Дорошев. Он сам писал свои тексты, и были там вещи гомерически смешные. Вспоминаю эти усики, эту капитанскую фуражечку, этот скептический изгиб губ. В руке он держит папку с крупной надписью «MEMOIRES». Он постукивает пальцем по папке, самодовольно покачивает головой, указывает на себя и произносит с одесским акцентом «Мемойрес!». Воспоминания! Потом пауза — и тревожно: «Я для вас не слишком интеллигентен?» Или на уход: «В нашем фильме о композиторе Алябьеве примет участие знаменитый цыганский ансамбль, прославившийся блестящим исполнением народной цыганской песни “Ты ушла, но твои плечики... заполняют шифоньер”».

Стоп! Не буду больше. Капустник нельзя превращать в массовое зрелище — это я уже сказал. Но капустник нельзя и пересказывать. Поэтому стоп! Вот такой это жанр. НИКОМУ нельзя показать заранее, даже накануне — растреплет, и пропадет эффект неожиданности. Нельзя рассказать потом — не смешно, не так, как было во время представления. Только раз! Только в момент премьеры!

Короткое замыкание

Тридцатое декабря. Ночь на тридцать первое. Генеральная репетиция капустника в пустом зале. Первый прогон в полночь. Потом коррекция. Под утро второй прогон. Дирекция актерского дома проявляет щедрость, и нас развозят по домам на машине.

Нам кажется, что получается. Саша Белинский обладает безупречным чутьем — что смешно, а что нет, что банально, а что оригинально. Наш опыт тоже что-то значит. Но полный зал коллег (да каких коллег!), да за столами, да со спиртным подогревом — тут ведь, с одной стороны, расположенность, а с другой — беспощадная откровенность!

Тридцать первое декабря. Накатывают общее веселье, расслабление, освобождение. А я все глубже ухожу в себя, в предчувствие своей ночной премьеры. Я неконтактен, раздражаюсь по пустякам. Сам это понимаю, но ничего не могу с собой поделать. Я живу не в общем ритме. Я хочу победы нашего капустника, я хочу блестяще сыграть свою роль. А за это надо платить. Я должен быть легким в ночном представлении, потому сейчас я мучительно тяжел в общении. Десять раз по мелочам поссорился с мамой, двадцать раз — с любимой женщиной. Мама поймет и простит, а женщина?.. Не испорчено ли все? Не упускаю ли свое счастье?

А теперь окунемся в самую новогоднюю ночь. Ну кто ж в 11.45 не пригубит за Старый год рюмку-другую? Никто! Это ж так соблазнительно и естественно — в виде подкладочки под предстоящее чуть выпить под легонькую закуску... И еще чуть... Ну и еще! Но тому, у кого после полуночи целый спектакль и много текста, который будет впервые публично произнесен, нельзя-с! Категорически нельзя... Или все, что делалось до этого, было зря.

Полночь. За счастье! За Новый год! Шампанское полным бокалом. И еще! И еще? Нельзя. Да нет, чуток можно. И вообще можно — никто пальцем не грозит. Мало того — расхожее мнение: актер, во-первых, пьяница, а уж во-вторых, лицедей. «Брось, расслабься, не вы... не выпендривайся! Будь собой, будь, как все! Пей — лучше сыграешь!» А вот и нет! Ни хрена по-добного! Вообще не сыграешь. Пьяная игра на сцене — это не игра. Внутри, в голове, стучит метроном: будь готов, скоро на выход. «Чего ты скучный такой? Заболел? Выпей, все пройдет. Расслабься!» Не могу. Не получается. Тут рядом твоя женщина, твоя любовь. Ты должен помнить — ее надо завоевывать каждый день, иначе потеряешь. Она так красива, она многим нравится. Сумей же в Новый год быть новым и близким. Ан нет — в голове стучит метроном: скоро выход. И мысли, и тело подстраиваются под эти рольки, которые я сейчас исполню. Карьеризм? Честолюбие? Тщеславие? Да и весь этот спектакль среди звона посуды и полупьяных гостей, чего он стоит по сравнению с поцелуями, и объятиями, и ночью любви? Конечно! Конечно, так! И все-таки вопреки логике, вопреки молодости тела, вопреки удовольствию... в голове стучит метроном...

Мы играем. И публика смеется. В нашем капустнике, потому что он хорошо сделан, есть и лирическая струя — и зал замирает. Пошли в дело «ударные» номера, и снова хохочут — навзрыд. Я очень хочу увидеть в зале лицо моей женщины. Успех очевиден, я полностью владею залом, я хочу убедиться, что и она восхищена. Да и без этого мне просто хочется увидеть ее. Я вдруг понял, как я соскучился по ней за этот час, что идет наш капустник, как я виноват перед ней за глупое раздражение последних дней. Я знаю, где она сидит, я все собираюсь бросить туда взгляд. Почему у меня никак это не получается? Опыт еще не велик, но я уже знаю, что обмен взглядами со зрителями, тем более с теми, в ком заинтересован, — это короткое замыкание. Мой персонаж от этого взгляда получает пулю в лоб. Я предал его — он кончен! Его больше нет, и остаюсь я, лишенный права быть на сцене. Если Я —

не ОН, то зачем я здесь? Тогда все мои движения — бессмысленные кокетство и притворство.

Я продолжаю играть, успех нарастает, но я мучительно хочу убедиться, что ОНА, моя женщина, разделяет этот успех. Интуитивно я начинаю предчувствовать ужасную возможность: а вдруг ее раздражают и этот гогот, и овации, и мои потные старания?

Я рискую и на одну секунду бросаю взгляд туда, на нее. Столик слева от сцены, у окна. Там мой пустой стул, а рядом... А рядом тоже пустой стул — моя женщина исчезла. Сердце подскочило к горлу, а потом рухнуло вниз. Все меркнет — и внутри, и перед глазами. Я снова гляжу в зал — вот она! Она здесь, но она пересела за соседний столик. Она не смотрит на сцену, а разговаривает с какой-то смутной личностью. Откуда он взялся? Я продолжаю роль лишь по инерции. Не надо было смотреть.

А вечер, а ночь, а праздник катится дальше. Спектакль окончен... Успех выпит, идет общий пляс и пьянка. Теперь-то можно расслабиться, ну теперь-то?! Но во мне мучительно нарывает заноза, которая вонзилась в сознание в этом секундном взгляде со сцены в зал. Запретный взгляд! Смотреть можно только в одну сторону — из зала на сцену!

Besa me mucho

Безоглядная новогодняя ночь! Она подпорчена, но она же длинна, она бесконечна, если бы... если бы только... Черт побери, мне ИГРАТЬ — УТРОМ! Да! Первого января, в 11.30 утра начало. И у меня очень большая роль. Я должен быть в форме. Стыдно выйти на сцену БДТ с Казико, с Корном, с Копеляном, Стржельчиком, Шарко — выйти мне, тогда еще студенту, взятому на главную роль, и не играть в полную силу. Надо хоть немного поспать. Ведь уже четверо суток почти не смыкаем глаз. А может, плюнуть, совсем не спать? Я еще молод, выдержу...

Не рассвело. В Ленинграде зимой вообще никогда не рассветает. Снег несется сплошной пеленой, и за пеленой этой тусклы желтые кружочки фонарей, и ничего они не освещают. Мы идем с моей женщиной, низко склонив головы, пряча глаза от ветра. Встречаются такие же парочки. Встречаются пьяные в дурацких грубых масках — заяц, волк, свинья... Бегут девчонки с зажженными бенгальскими свечками. «С Новым годом, с новым счастьем!» — кричат они с другой стороны Невского.

Я провожаю мою женщину. Мы целуемся на обшарпанной лестнице. Всю ее ощутили мои руки. Пахнет кошками и ржавым железом.

«Ты что, уходишь?»

Да! Я ухожу!

Не забывайте: в те годы мы, средние молодые люди, не имели ни отдельных квартир, ни отдельных комнат. Мы не имели места для отдельной жизни. Пуповина не отрезалась. Теснотой и нищетой мы были связаны со своими предками. В комнатах, в которых спали мы, спали еще наши родители, или тети, дяди, или еще кто-то. Одиночество вдвоем — запретный плод. Ночество (от слова «НОЧЬ») — это обжимание в подворотне или задыхание страсти на заплеванной лестнице, где слышны шаги сверху и снизу. Это прерывистые объятия на коммунальной кухне, куда выходит пить воду из крана сосед в подштанниках.

Я ухожу! Уже утрет, хотя нет никаких признаков утра. Светел только снег. Все остальное темно. Уже утрет, потому что теперь только сказались напряжение премьеры и усталость последних дней. Через четыре часа мне надо быть в театре, еще через тридцать минут после этого начать большую роль. Да, в зале будет тысяча двести неспавшихся людей с детьми, они бу-

дут кашлять и шуршать конфетными обертками, но они придут смотреть наш спектакль, и его герой — мальчик, поэт и идеалист, и этого мальчика играю я. У меня не должны быть опухшие глаза, и от меня не должно пахнуть водкой.

Я ухожу! Уже утреет. Мне еще час добираться до моей коммунальной квартиры, до постели. Утренние троллейбусы редки, а такси не взять ни за какие деньги.

«Ты что, уходишь?»

«У меня утренник...»

«Иди».

«Подожди, ты пойми...»

«Иди! Уходи... И не приходи... Ненавижу! Я все видела, я все поняла... Ты мне от всей ночи оставил двадцать минут, и то танцевал с этой старухой...»

«Перестань, не выдумывай...»

«Иди... уйди... ненавижу... не трогай меня!»

Она впирается ногтями в мое лицо. Я отталкиваю ее, вытираю щеку. Кровь.

«Ты что? Так нельзя... Я актер, мне завтра выходить на сцену. Что ты сделала с моим лицом?»

«Ты не мужик! Ты... Ненавижу!»

Я ухожу. Да, мужик, настоящий стопроцентный, должен вести себя иначе. Я не знаю, как иначе, но догадываюсь: иначе, чем я. Я не мужик. Я актер. («Я чайка. Нет, не то. Я актриса». А. П. Чехов. «Чайка».) Мне бьет в затылок метроном моего ритма жизни. Вот она, твоя женщина. Она еще возится с замком, отпирая дверь. Взлети по лестнице, схвати, обейми, проси прощения, целуй ноги. (Э-э, какая литературщина!) Или иди к своим скучным зрителям играть ОЧЕРЕДНОЙ спектакль, выпрашивать у них успех и славу. (Э-э, какое тщеславие!) Выбери, выбери, выбери! Выбери! Я выбрал женщину, но...

Я ухожу.

К утру метель стихла, а мороз усилился. Но так и не рассвело. Пьеса, которую я играл утром, называлась «В поисках радости».

Для любителей пофилософствовать

Счастлив тот, кто не сожалеет о сделанном выборе. Того, кто сожалеет, охватывает печаль. Потом тоска. Потом отчаяние. Сердце сжимается, и из него выдавливаются стихи.

Сумерки, сумерки. Все будто умерли.
То ль это явь, то ль в бреду —
Холодно, боязно. Долго нет поезда.
Вдоль по платформе иду.

.....

Электричка стучит, пустая почта.
Достань письмо, снова прочти.
Как это там? — «Мы чужие, учти!»
Учту, учтешь, учтем, учти...
Мелькнул еще километр пути.
Электричка стучит, пустая почта.

Город уж скоро. Без трех одиннадцать.
Клочки письма улетели прочь.
Поезд в сплетение стрелок ринулся.
Кончились сумерки. Въехали в ночь.

Пробелы в тексте. В памяти. Пропуски — встреч, возможностей, свиданий, радостей. Исполнение одного долга вытесняет заботу отдавать другие долги.

Есть приоритеты — надо выбрать главное. Сперва страх, потом стыд. Страх — что ошибешься, что не дадут осуществить. Стыд — что ошибся, что не так сделал, как хотел. А если вернуть, размотать назад? Привязать узелком ниточку к ручке двери, из которой когда-то вышел. Пусть разматывается катушка, пусть тянется за тобой нитка по всем поворотам, подъемам и спускам. Когда покажется, что впереди тупик, возьми за нитку и попробуй пойти обратно, поищи ту дверь, из которой вышел на простор, — тогда казалось, что это ты на просторходишь. Поищи ту дверь. Не выйдет! Ноги устали, нитка с другими сплелась. И двери той нет. Там теперь ворота. Или глухая стена. Только ручка от двери валяется, и к ней нитка привязана. Может, и не твоя. Если б ты сделал хоть один иной поворот в лабиринте твоей жизни, это был бы не ты. Смирись с пробелами и пропусками — они твой выбор. Оборви нитку — ты свободен, и каждая новая секунда есть новый выбор. Все пробелы в длинной строке текста твоей жизни. Помни пробелы, но цени строку.

Вот такие наставления делаю я самому себе и — невольно — читателю. Но читатель делает свои повороты и тянет свою нитку. Привет тебе, бредущий рядом!



Пока не требует поэта...

Александр МЕЛИХОВ,
Андрей СТОЛЯРОВ

Бесплодные земли

ПИСАТЕЛЬ И АЛКОГОЛЬ

Неизбежность странного мира

Андрей Столяров. Писатель — профессия самоубийственная. Мало того, что она, как правило, не дает ни денег, ни признания, которого любой автор страстно жаждет, ни удовлетворения результатами своего труда — писатель, настоящий писатель, обычно мучительно недоволен собой, но она еще и заставляет человека полностью переродиться, создает в нем то особенное состояние, без которого, по-моему, невозможно писать. Чтобы возникали проза или стихи, автору необходимо обостренное восприятие мира. Краски, запахи, звуки, скрип гальки, мимолетное выражение глаз, случайное слово, мгновенно ускользающая интонация — вот те множественные обертоны, которые и составляют собственно жизнь. Писатель, например, чувствует счастье сильнее других людей. Но также намного сильнее других он чувствует и несчастье. Все зло мира воспринимается им как происходящее с ним лично. Трагедия существования не заслоняется спасительным бытом, а предстает перед ним в очищенном виде. Мир для писателя, как правило, невыносим. Это порождает разность потенциалов, которая движет словом, следовательно, продуктивно для писателя, но это же убийственно для человека, вынужденного существовать в разладе и с миром, и с самим собой. Постоянно жить в таком напряжении невозможно. Необходимо лекарство, способное хотя бы смягчить эту непрерывную боль. Простейшим из таких лекарств является алкоголь. Алкоголизм становится профессиональной болезнью писателей.

Александр Мелихов. Любопытно, однако, что алкоголь косил писателей отнюдь не во все времена. Ищущий смерти Пушкин, трагический Лермонтов — и ни малейшей попытки ни топить горе в вине, ни искать в нем вдохновения. «Выпьем с горя», «Пьяной горечью фалерна чашу мне наполни, мальчик» — но... Сначала: «Подыдем бокалы, содвинем их разом» — и тут же: «Да здравствуют музы, да здравствует разум!» Это далеко от алкоголизма. Сумрачный Баратынский был и певцом пиров, тоже воспевал «любимое аи»: «Его звездающаяся влага недаром взоры веселит: В ней укрывается отвага, Она свободою кипит». Перекликается вроде бы с бернсовским «Джоном Ячменное Зерно»: «Он гонит вон из головы докучный рой забот, За кружкой сердце у вдовы от радости поет». Но Баратынский-то понимал, что пьяное веселье часто бывает натужным: «Но что же? Вне себя я тщетно жить хотел: Вино и Вакха мы хвалили, Но я безрадостно с друзьями радость пел: Восторги их мне чужды были». Лермонтов еще подростком похвалялся, что любит «подчас за бутылкой Быстро время проводить», а через десять лет снова мечтал «сидеть среди кружка родного С бокалом влаги золотой При звуках песни полковой».

А. С. Лермонтов здесь вспоминает не о вине. Лермонтов вспоминает о молодости, когда все легко и доступно.

А. М. Лермонтов никогда и не был старым. «Новые гусары», у которых все «Жомини да Жомини, а об водке ни полслова», для дедов с красно-сизыми носами — просто бабы. Денис Давыдов звал к себе в гости «ради Бога и арака», но что-то не припомнить, чтобы это ухарство кончалось пускающим слюни алкоголизмом. Культ

Вакха не был монокультом, он сочетался с культом Марса и Венеры, с культом дворянской чести, а в этом букете он уже далеко не так опасен. Одно дело — отдать гусарский долг Вакху, другое — керосинить, как сапожник, «как дикий скиф»: уподобляться сапожнику — дело не дворянское. Руссо, Байрон, Карамзин, Жуковский постоянно томилась из-за противоречий между идеалом и реальностью, но их конфликт с обществом никогда не принимал алкогольного характера. С юных лет «чудивший» Толстой с его «арзамасским» страхом смерти, отрицавший брак, собственность, суд; бесконечно ранимый, страстный и раздражительный Достоевский с его абсолютно несовместимыми с жизнью утопиями; вечно брюзжащий Щедрин, всюду видевший полубезумный гротеск; Гоголь, безостановочно ныряющий из восторгов в черную меланхолию, — все они тоже страшно далеки как от народа, так и от алкоголизма. Так что алкогольная разрядка сделалась «необходимой» не раньше, чем ее таковой признали. Признали дозволенной — если не престижной. «И водку пьешь еще для славы — не потому, что хороша», — писал Твардовский. Помнишь биографический роман «Мартин Иден» Джека Лондона? Будущий писатель превращался в алкоголика не из-за каких-то жизненных драм — жизнь ему казалась увлекательным приключением, — а просто под давлением своего демократического окружения: без выпивки ты навсегда останешься там чуваком, трусом и занудой.

А. С. Мы мало что знаем о реалиях того времени. Ведь история — это не то, что было, история — это то, как об этом рассказано. Во все эпохи существовали явления, которые принято было не замечать. Они просто не упоминаются ни в официальных хрониках, что естественно, ни в частных письмах, ни в дневниках. В эпоху, например, утонченного декаданса, в эпоху Прекрасной Дамы и «сверкания красных лампад», не замечали странный зеленоватый налет, покрывающий мебель. В Петербурге тогда использовались тысячи лошадей, и сухой навоз, перемолотый в пыль подшвами и колесами, проникал в квартиры даже сквозь закрытые окна. Однако для литературы начала века этой черты реальности как бы не существовало. Вероятно, об этом было просто неприлично писать. И алкоголизм первоначально мог быть одним из таких явлений. Доблестные гусары, я думаю, упивались на своих вечеринках совершенно по-свински. И разлило от них, я полагаю, не меньше, чем от любого сапожника. Другое дело, что это был весьма облагороженный быт: слуги убирали нечистоты и доставляли господина домой. Дворяне на улицах не валялись. А затем в таком же облагороженном виде это представлялось в литературе и позже — в кинематографе. Хотя, конечно, ты абсолютно прав. «Восстание масс» вывело на арену истории самого обыкновенного человека. А поскольку доблести прежних привилегированных каст были ему недоступны, он не мог отправиться воевать или странствовать в поисках приключений, — то он заменил их цивилизационными суррогатами: спортивными зрелищами, массовой культурой и алкоголем. Литература лишь закрепила эти «доблести» в сознании общества.

А. М. Да неужели даже Толстой, всячески стремившийся «опустить» праздные слои, упустил бы случай уколоть их еще и алкоголизмом? Мне кажется, это довольно универсальная модель: не литераторы стали превращаться в пьяниц, а пьяницы стали превращаться в литераторов. Боюсь, алкоголизм сделался профессиональной писательской болезнью, когда в литературу двинули бурсаки, «сапожники», «скифы» и прочие «грядущие гунны», принесшие вместе с новыми темами, новым стилем, увы, и привычки своей социальной среды. Алкоголизация литературы стала нарастать вместе с ее демократизацией. Я подозреваю, что человек по природе своей наркоман, он нуждается в экстатической подпитке. И если он утрачивает возможность переживать социо-культурные экстазы (а социальные низы цивилизованного общества их утрачивают — у них ни дикарских шаманов, ни дворянских кумиров), ему остаются только химические.

Блстающий цианид

А. С. Любопытно, что на определенном этапе алкоголь писателю даже полезен. Прежде всего тем, что он усиливает эмоциональное восприятие мира, делает его контрастнее: краски — ярче, переживания — глубже, рассуждения — осмысленнее. Рождаются совершенно неожиданные идеи. Ведь в чем состоит главная трудность человеческого существования? В том, что задавливаемое мутной бытовой суетой исчезает само желание жить. Исчезает желание чувствовать, думать, узнавать что-то новое. Серая пыль ложится на мозг и прикипает, делая его неспособным что-либо воспринимать. Алкоголь же растворяет эту накипь в себе, хотя бы на время. Расширяется диапазон переживания, что для прозаика или поэта чрезвычайно важно.

А. М. Диапазон — да. Но какого переживания? Обедненного, черно-белого, как марксистская модель мира, самоубийственная модель для литератора.

А. С. Нет-нет, в том-то и заключается коварное обольщение алкоголя, что первоначально он действительно и помогает человеку, и взбадривает, и обнадеживает. Если бы не это его соблазнительное и отчасти целебное свойство, никто бы и пробовать не стал дурно пахнущую спиртовую жидкость. Ведь запах алкоголя сам по себе отвратителен, он прошибает любой букет — хоть благородного коньяка, хоть пенящегося шампанского. И тем не менее человечество пьет влагу радости и забвения. К тому же, если уж говорить собственно о писателях, алкоголь в результате длительного употребления неизбежно влечет за собой суицид. Это знаменитый «синдром похмелья», когда человеку с необычайной силой хочется умереть, когда мир распаивается до самых жутких своих глубин, когда жизнь и смерть предстают перед человеком в чистом виде. Это чрезвычайно тяжелое для писателя состояние, потому что оно открывает те бездны, куда нормальный человек заглядывать опасается. Мало кто вообще способен сосредоточенно думать о смерти. Между тем ощущение небытия писателю крайне необходимо. Смерть представляет собой существенную, принципиальную часть жизни, и холодное ощущение «бездны», распахнутой за спиной, придает мировосприятию литератора особое художественное измерение. Потом это обязательно отражается в его книгах.

А. М. Наверное, отчасти да. Но ведь вовсе не алкоголики лучше других выразили крайний ужас перед жизнью и смертью. Кафка вовсе не был алкоголиком. «Для чего люди одурманиваются?» Чтобы заглушить указания совести, считал Толстой. Если даже забыть о потребности в экстазах, я бы все равно уточнил: чтобы снизить требовательность и наблюдательность. Каждый помнит, насколько легче было ввалиться на танцы после стакана-другого: собственный юмор становится неотразимым, походка легкой и изящной, собутыльники — своими в доску, девушки — очаровательными и готовыми на все. А презрительные взгляды, усмешки, реплики не замечаются. Но уж если заметятся — исчезает все остальное. В таком состоянии можно сотворить разве что мелодраму, чей главный прием — преувеличение и упрощение. Отчасти еще и поэтому чуть не три четверти мужских суицидов происходит в пьяном виде: ситуация воспринимается в черно-белых тонах, а спасительные оттенки упускаются.

А. С. Бездна всегда черна. А горние выси, куда изредка удается взлететь, всегда ослепительны. Беда нынешней художественной литературы как раз в том, что она не чувствует вертикали. Нет ни ангельской белизны, свидетельствующей о внезапно открывшейся истине, ни неприкрымой дьявольской черноты, куда так и хочется окунуться. Человек же такое странное существо, что для подлинной жизни ему нужны и Бог, и дьявол одновременно. Я после приступов алкогольного суицида неизменно испытывал дикое желание — работать, работать, работать. Правда, сейчас я, по моему, единственный непьющий писатель в Санкт-Петербурге...

А. М. Возможно, кому-то без этой примитивизации и не заглянуть в «бездну», но и Пушкин, и Лермонтов, и Гоголь, и Тютчев, и Толстой, и Достоевский, и Бунин преотлично обходились собственными силами, отнюдь не уступая Помяловскому, Левитову, Николаю Успенскому или Фадееву.

А. С. Да не об этом я говорю! Не о примитивности, а, как писал Борис Пастернак, о «неслыханной простоте». Когда перед тобой не остается ничего, кроме вечности. Жизнь и смерть. Бог и дьявол. Счастье и трагедия, вдруг превращающаяся в комедию. «Звездное небо над нами и нравственный закон внутри нас...» Конечно, алкоголь — это яд. Это та же синильная кислота, которую еще называют циановой. Причем синильная кислота, по моему, лучше водки: она убивает мгновенно, а не мучает человека долгие годы. И все-таки если это и цианид, то блистающий цианид.

Утраченные иллюзии

А. С. Достоинства алкоголя обманчивы, как, впрочем, и достоинства наркотиков вообще. Главная особенность алкоголя — это преувеличение. То, что было просто хорошим, делается с его помощью изумительным. То, что было слегка неприятным, — мерзким и отвратительным. Причем этот искусственный, порождающий фантомы масштаб искажает не только творчество, но и просто бытовое существование. Скрип двери, например, подергивает буквально все нервы, солнечный свет обжигает глаза и втекает в мозг, самая ничтожная ошибка кажется непоправимой трагедией, а случайная оговорка — глупостью, после которой тебя все презирают. Продуктивность такого искусственного безумия становится относительной.

А. М. Да и продуктивна ли сверхчувствительность для писателя? Если мир настоящему невыносим, ни на что, кроме боли, сил не останется. А нужен еще и восторг: ах, какая драма, какой поворот сюжета!

А. С. К тому же алкоголь, по-видимому, творчески бесплоден. Да, он расширяет диапазон эмоций. Да, он временно уничтожает страх перед загадочным миром смерти. Однако все это в дальнейшем оказывается иллюзией. Алкогольные видения, как бы ни были они первоначально ярки, никогда не удаётся перенести на бумагу. Попытки работать «под градусом» обычно заканчиваются полным провалом. В своей жизни я предпринимал такие попытки бесчисленное количество раз, и каждый раз все написанное приходилось впоследствии рвать и выбрасывать. Более того, я видел довольно много рукописей, созданных под воздействием наркотиков или алкоголя, и каждый раз наблюдался тот же самый эффект: я не понимал ни сюжета, который представлялся мне совершенно бессмысленным, ни того, что, собственно, автор хотел этим текстом сказать. Видимо, «тот» мир имеет какие-то особенные, присущие лишь ему очень странные связи, и, когда переходишь из «того» мира в «этот», данные связи либо распадаются, либо становятся просто невидимыми. «Алкогольный текст» не воспринимается трезвым сознанием, ценности для широкого читателя он не имеет. Ведь не заставишь же каждого перед чтением такого произведения принять стакан водки и лишь потом открыть книгу. Да и захочет ли он потом ее открывать. По-моему, гораздо приятнее будет принять следующий стакан.

А. М. А потом наслаждаться собственными, а не нашими грезами.

А. С. Однако гораздо хуже, как мне кажется, то, что в подобных «видениях» сгорает творческое воображение. «Алкогольное время» существенно отличается от реального: здесь минуты равны часам, дням и неделям обычной жизни. Для прозаика, например, это означает творческое самоубийство, потому что главное тут — «растянуть» озарение на все время, необходимое для работы. Роман за считанные минуты не напишешь и не надиктуешь. А затем прогорело — «изжито», как говорят философы, — больше неинтересно. Сознание таким образом работает вхолостую. «Картинка» развевается, как мираж, и автор не продвигается дальше замысла.

А. М. Мне кажется, главный обман алкоголя — он только раскрепощает, а делает вид, будто создает. Коллизии при этом между писателем и миром он не только обостряет, но еще и сводит их с духовного на бытовой уровень. А это уж совсем бесплодно: не зря разлитое море коммунальных склок ежегодно выбрасывает на берег тысячи трупов и ни одного литературного произведения.

Алкогольные переживания не удаётся перенести на бумагу именно потому, что они чаще всего вызваны не каким-то новым постижением, которое только и подлечит передаче, а лишь возбужденным состоянием мозга.

А. С. У алкоголя и творчества разные источники вдохновения. Алкоголь, как, впрочем, и любые наркотики вообще, преподносит человеку не жизнь, а лишь ее специфическую выжимку, суррогат. Это, если так можно выразиться, «нечеловеческое удовольствие», удовольствие, порождаемое исключительно цивилизацией, но не культурой. В этом наркотики сродни массовой литературе, которая тоже дает, по-моему, чисто «химическое наслаждение». Эта разница, на мой взгляд, очень принципиальная. Видимо, цивилизация принадлежит дьяволу, а культура — Богу. Поэтому цивилизация доступна практически всем, а культура, к сожалению, только немногим. К тому же сама цивилизация непрерывно пожирает культуру — тиражируя все высокое и тем самым сводя его, как ты выразился, к бытовому уровню. Печатаая, например, портрет Джоконды на продуктовых сумках или вводя музыку Бетховена и Вивальди в назойливую рекламу. Точно так же искусственное алкогольное возбуждение непрерывно пожирает собственное творчество.

А. М. Это совершенно точно: алкогольные переживания имеют не культурную, а биохимическую природу. И потому отношение к культуре имеют самое отдаленное — в отличие от алкогольных ритуалов, алкогольного фольклора. Но вот массовая культура, что ни говори, дарует все-таки культурные, а не химические переживания: она возбуждает читателя при помощи порожденных знаками образов — точно так же, как это делают Достоевский и Пруст. С химическими возбудителями массовую литературу роднит только то, что она тоже изготавливается по стандартным рецептам. И все же читатель глянцевого дряни — это наш резерв, они хотя бы в какие-то минуты относятся к плодам своей фантазии более серьезно, чем к реальной жизни. А это и есть человеческая суть, без нее человек просто перестает быть человеком.

Между теми, кто читает Маринину, и теми, кто читает Пруста, — пропасть. Но между теми, кто читает Маринину, и теми, кто вовсе ничего не читает, — бездна. Мир животного — это мир материальных фактов, мир человека — это мир условностей, домьсливаний, фантазий, иллюзий... Человека отличает от животного способность

относиться к плодам фантазии серьезнее, чем к реальным предметам. Печорин для нас более реален, чем сосед по лестничной клетке. Подозреваю, что и воодушевлять людей способны лишь коллективные фантомы, — система таких фантомов и есть культура. Реальные заботы всегда вселяют в нас осторожность, тревогу, а безответственный экстатический восторг — только фантомы. А если и реальные предметы — родина, возлюбленная, — то всегда отретушированные до неузнаваемости: тот, кто чужд данной культуре, данной системе иллюзий, видит вещи совершенно иными. И остается вне ее экстазов.

Какое-то время он может компенсировать это допингами — впрочем, иногда довольно долго. Но химические экстазы становятся все примитивнее и примитивнее.

За Ахероном

А. С. К сожалению, это именно так. Существует граница, за которой у «человека пьющего» начинается деформация личности. Пить ему становится интересней, чем жить. Просто потому, что алкоголь действительно расцветивает мир новыми красками. Причем изменения здесь совершаются постепенно. Они тихо, как радиация, накапливаются в сердце, в костях, в мозгу, в душе, в сознании. Отследить их самостоятельно, «изнутри» практически невозможно. Это очень медленный, энтропийный, движущийся крохотными мутациями процесс. В каждый данный момент вроде бы никакой конкретной опасности нет, но проходит несколько лет, и вдруг оказывается, что перед тобой уже совсем другой человек. У него странные интересы, которые берутся неизвестно откуда. Он совершает поступки и промахи, не представимые в обычных условиях. Он начинает думать не просто иначе, а будто на другом языке, так что не только общаться, но и понять его уже почти невозможно. Для писателя — это литературная смерть. Состояние озарения и состояние опьянения, как мы уже говорили, чрезвычайно близки. И в том, и в другом случае человек испытывает вдохновение. И все-таки это принципиально разные состояния. В едином сознании их совместить нельзя. Одно вытесняет другое, писатель в итоге просто прекращает писать. Он в конце концов уходит в совершенно особый мир, откуда возврата практически не бывает.

А. М. У алкоголика — писатель он или сантехник — наступает катастрофическое оскудение круга интересов. Единственным источником положительных эмоций для него становится бутылка. Однако тот, кому все в мире безразлично, и не может быть писателем. Чтобы писать, надо что-то хотя бы ненавидеть. Но ведь даже и ненависть — это всегда какая-то оскорбленная любовь. Кто ничего не любит, утрачивает даже дар ненависти. Особый мир алкоголика — это мир равнодушия, беспредельного эгоизма.

Впрочем, боюсь, я увлекся. Но иногда бывает нужно наговорить каких-то крайностей, чтобы почувствовать некую неловкость перед упускаемой стороной истины. Мир трагичен, в нем борются не истины с заблуждениями, а истины с истинами. Это в романе любую идею можно довести до предела, а я еще не вынырнул из своего последнего романа, первая часть которого «Нам целый мир чужбина» недавно вышла в летних номерах «Нового мира». Герой романа чуть ли не всю современную культуру честит мастурбационной, направленной на самоудовлетворение: искусство и наркомания — всего лишь итог мастурбационных тенденций. Искусство для искусства, наука для науки, человек для самого себя. Потому что для личности, ощущающей себя высшей ценностью, любое действие во имя чего-то внешнего превращается в обузу: ведь высшее не должно служить более низкому. Поэтому ценности деяния вытесняются ценностями переживания, эпос — лирикой, отражение — самовыражением... Однако скоро и выражать становится нечего — невозможно же испытывать сильные переживания из-за того, что не касается высшей ценности — тебя: для эгоиста мир невероятно скучен, самое пьянящее в мире — коллективные фантомы — от него ускользает. Остается только удивляться, почему не все эгоисты спиваются: того же Печорина с его вечным спутником Онегиным, кажется, никто не видел пьяным ни при какой хандре. Были дворянские тормоза.

А. С. Эгоизм — это, разумеется, неприятная, но, по-моему, необходимая и очень сильная черта любого художника. Мир, который ты создаешь, рождается из тебя самого. Больше ему появляться на свет просто неоткуда. И если писатель не будет, как мастер свой инструмент, чувствовать самого себя, он не будет чувствовать вообще ничего. Писать в этом случае становится опять-таки затруднительно.

А. М. Разумеется, писательский инструмент — его индивидуальность. Но инструмент этот работоспособен, только если он откликается на всякий звук.

А. С. Эгоизм всегда ограничен. Он довольно быстро вырождается в нарциссизм, то есть в непрерывное самолюбование. Не случайно писатели и художники начала XX века, а затем художники и музыканты первых послевоенных лет и в Америке, и в Европе так настойчиво экспериментировали с наркотиками. Эти рискованные опыты, если ты помнишь, начал еще Шарль Бодлер. Они как раз и представляли собой попытку выйти за пределы человеческого эгоизма. Однако «искусственный рай» (выражение самого Бодлера) остался недостижим.

А. М. Галлюциногены — вопрос отдельный. Мистики верят, что в галлюцинациях открываются иные миры, фрейдисты — что подсознание, но собственно алкогольные галлюцинации обычно довольно банальны. Пациенты, пережившие белую горячку, рассказывали, как из-под стола выбегал чертенок, висящие на веревке брюки приподнимали штанину, на обоях отбивал чечетку матросик, дом окружали немцы на мотоциклах... Ради таких прозрений, по-моему, не стоило пить три-четыре дня.

А. С. Прозрения зависят от самого человека. Что человек собой представляет, то он и видит.

А. М. Но, чувствую, какой-то слишком уж антиалкогольный уклон у меня метился, а это очень опасно для репутации: стать на сторону нормы против аномалии и вообще допустить, будто есть на свете какая-то норма, нынче означает прослыть сторонником тоталитаризма. Упаси Бог — я за права личности: пусть пьет сколько влезет. И вообще единственное оправдание писателя — в его произведениях: если пьет и становится Эдгаром По или Венедиктом Ерофеевым, тогда он выходит из человеческой юрисдикции. Хотя даже и в этом случае у меня есть подозрение, что написать «На Западном фронте без перемен» можно, и вернувшись с этого фронта живым и здоровым. Но, повторяю, победителей не судят: если они предпочли уйти с поля боя мертвыми — их право, если иначе не сумели — их беда. Они могут с полным основанием повторять: «Я знаю, то Бог меня снегом занес, То вьюга меня целовала».

Правда, это заклинание я во много раз чаще слышал от амбициозных бездарностей, надеющихся через пьянство проникнуть на Олимп. Тщетная надежда! Там при входе предъявляют книги, а не вазы пустых бутылок.



Татьяна ЧЕРНОВА

Читая Фридриха Горенштейна

ЗАМЕТКИ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ЧИТАТЕЛЯ

Жалейте и лелейте своего будущего ребенка: если он будет хороший, какой он будет мученик, он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней.

А. Блок. 1921 г.

Конечно, нам хотелось бы чего-нибудь нестеровского... Эта спокойная тишина, Кумиротворение, капустные огороды, дымки из печных труб, милые сердцу березки и рябинки («Но если по дороге куст встает, особенно — рябина...»), чистые лики девушек, готовых к Великому Постригу, мудрые пустынники, тут же великие философы Достоевский, Толстой, Соловьев, худенькие отроки, надежда России, — вот мечта художника о святой «душе народа, который все многозначительно молчит, а уж как скажет, то все хорошие и мудрые слова».

Однако у Фридриха Горенштейна тишина в «скучной» — не скучной России обманчива и страсти кипят такие, что русские народные песни уже не могут их выразить, и в повести «Муха в капле чая» звучат испанские мотивы. Герой этой повести, ставший от такой жизни нервнобольным, очень точно и смешно формулирует основное содержание нашего существования: «Деремся и беседуем...» Несколько иначе, но тоже очень верно когда-то сказал об этом Есенин, яркий носитель национального характера: «И Русь все так же будет жить, плясать и плакать у забора». Так что это надолго. Но очень интересно, когда это началось.

Горенштейн в «Последнем лете на Волге» приводит слова Ахматовой, тоже, видимо, ломавшей над этим голову: «Древней ярости кишат еще микробы, Бориса дикий страх и всех Иванов злобы, и самозванца спесь взамен народных прав». Мы обычно слово «ярость» применяем в значении «сильный гнев», но вот Макс Фасмер приводит значение польского слова «jagzyc» — «ожесточать», производное от которого «ожесточение» означает «состояние раздражения и крайнего, доходящего до жестокости озлобления», а также «крайнее напряжение, упорство». В общем, все «крайнее», «чересчур». Помните эту «ворону на белом снегу» — «Боярыню Морозову»? Суриков, действительно увлекшись цельностью этого характера, его огромной духовной силой, на самом деле и показал, как мы «деремся и беседуем». Саннный след разделил полотно на две части, две враждующие, ненавидящие друг друга силы, поэтому несколько хороших лиц так перетягивают внимание зрителей на себя своей нормальностью. Она же, боярыня, символ раздора: безумный, фанатичный взгляд и рука, вскинута вверх, знак беспощадности. Здесь никакой тишины — крики, хохот, плач. Раскол — вот как называется эта болезнь, раскол, разлад между людьми, и в каждом человеке — этот саннный след... Говоря о героине картины, трудно согласиться с идеей ее цельности: как соотносятся это ожесточение и сознание собственной исключительности с постулатом, который, по ее вере, должен быть для нее основополагающим: «Но вам, слушающим, говорю: любите врагов наших, благотворите ненавидящих вас...»?

Любопытно, что по истечении времени в произведениях литературы и искусства становится открытием не то, что хотел сказать автор, а что у него получилось. Например, ранний Маяковский — не просто свидетель национального разлада («Я Маяковский, свидетель»), а его активный участник. Вот я иду, говорит он, «красивый, двадцатидвухлетний», а «вы, мужчина, у вас в усах капуста», и вообще сейчас отсу-

да «вытечет ваш обрюзгший жир...» Когда пошла мода ходить «с Лениным в башке и с револьвером в руке», страна ступила на путь, который привел к самым страшным последствиям. Блок покаянно писал одной своей корреспондентке в 1921 году, прочествуя, как он это умел, о судьбе ее будущего ребенка, «если он будет хорошим»: «Он будет расплачиваться за все, что мы наделали, за каждую минуту наших дней». Поэт предполагал, что кровь этого дитяти «все еще будет в нем кипеть, и бунтовать, и разгушивать, она во всех нас грешных».

Поставив во главе всех ценностей идеологию, государство разделило людей еще больше, потому что, как говорит Горенштейн в финале повести «Яков Каша» (такую кашу заварили), «всякая идеология основана на лживом образе врага, ибо без врага невозможна ненависть, живая кровь идеологии». Занявшись идеологией, государство забыло о человеке, о его правах и насущных потребностях, тем самым сделал его «просто несчастливым человеком», дисгармония которого становилась тем сильнее, чем сильнее развивалось в нем это проклятое «двоемыслие», как уничтожающе насмешливо определил Оруэлл. В сознании человека укоренились друг друга «взаимоисключающие убеждения»: с одной стороны, вера в свое героическое предназначение, с другой — вера в собственные локти в деле собственного выживания. «Возле вагонов рвали и били друг друга пассажиры, которых короткая стоянка поезда превратила временно в злейших врагов», — эта сцена посадки на поезд несчастного, обезумевшего от вновь свалившихся на него испытаний народа в «Искуплении» говорит о многом и воспринимается как символ. К слову сказать, читатель будет постоянно наткаться на эти символы в произведениях Горенштейна, обладающего удивительным мастерством очень сильной, точной и емкой детали (настолько реально узнаваемой, что кажется символической).

Железной логикой связаны между собой два преступления, совершенные в один прекрасный день в двух разных городах нашей Родины: одно — в Брянске, другое — в Москве (рассказ «На вокзале»). В Брянске на почве бытовой неприязни в ссоре «за общие электроточки» детскими саночками соседи убивают соседку, дежурного электромонтера. В Москве, на Киевском вокзале, два пьяных гардеробщика до смерти забивают амбарным полупудовым замком писателя Зацепу. Все обусловлено, все закономерно, никаких случайностей. Выстраивается целая цепь злодеяний: от рассуждений печального Гоголя о причинах «холодного зверства» народа — к большевику комбедовцу Сороке, который был уверен, что когда-нибудь выстирает-таки английская королева его грязную пролетарскую рубашку, и который для достижения этой цели посылал не один замок с кулацких амбаров. А от комбедовца Сороки — к его сыновьям: Сороке из административного отдела ЦК и Сороке — адмиралу, дядюшке писателя Зацепы, убитого, возможно, одним из этих замков (или похожим) двумя негодьями, один из которых — бывший работник МВД, науку ненависти знавший в совершенстве по уставу. Зацепы, «мясной», «кровавый», «полный скотской силы» хозяин жизни, привыкший, что ему все дозволено, валяется на пустыре теперь никому не нужный, как строительный мусор. И это тоже закономерно, так как от расплаты за свои безобразия человеку не уйти, как бы высоко ни вознесла его жизнь. Дядя Зацепы, адмирал Сорока, сынок комбедовца Сороки, лежит в цинковом гробу в камере хранения, тоже всеми забытый, невостребованный, пропитый своим племянником, так стремившимся в отдел агитации и пропаганды ЦК Украины, но убитый замком, сбитым, вероятно, с кулацкого амбара Сорокой-старшим. Теперь уже в отделе агитации и пропаганды будет сидеть «сынок Масляника», будет наливаться такой же, как у Зацепы, скотской силой, будет красоваться в президиуме, сцепив пальцы свои борцовским «замком», так похожим на замок, который сбивал Сорока-старший с кулацкого амбара. Сынок Масляника уже изготовился этим своим борцовским замком бороться за чистоту идеологии и похода убивать словом и делом друзей и врагов, но и на него может найтись замок, коль он с незапамятных времен пущен в ход. Замок или детские саночки — что попадет под руку. Наивные детские саночки, используемые в качестве орудия убийства, играют роль страшной, многозначительной детали.

Фридрих Горенштейн работает в манере зощенковского анекдота, но не обнаруживает характерного для Зощенко сочувствия своим героям. Он отстраненно, сухо, брезгливо и сурово судит своих персонажей и страну, в которой они возможны. Этот отстраненный взгляд делает естественной насмешку над очень серьезными вещами. Луна, символ вечности и холода космического, похожа на «давно засохший кусок сыра» и, по-блоковски «ко всему приученная», высокомерно наблюдает за тем, как ничтожно и бездарно проживают свой недолгий век люди, посягнувшие на оуществование «великой идеи», вконец испортив и измельчив свой национальный характер, превратив Отечество в коммунальную квартиру.

В «Искуплении» есть замечательная мысль о том, что «не фашизм страшен, а соседи». Соседи разделились с соседкой в рассказе «На вокзале» детскими саночками, а в «Искуплении» чистильщик сапог Шума-ассириец убивает кирпичом, завернутым в тряпку, всю семью соседа, зубного врача Августа, по причинам национальной неприязни (вернее потому, что теперь этой ненависти можно безнаказанно дать волю).

Соседи постоянно выставляют оценку каждой нации, проживающей в этой квартире: американцы — «ребята ничего» (это сразу после войны, сейчас оценка изменилась); англичане — плохие, потому что «советскую власть не любят»; над татарами можно посмеяться, раз им «не нравится, что их из Крыма выселили»; евреи же виноваты перед Яковом Кашей в судьбе его беспутного сына: «Жиды мне в Биробиджане сына моего испортили, Омелю...» Соседям чаще всего неизвестна та истина, что зло возвращается и множится. Вот уже ассириец Шума болеет в тьюрьме какими-то диковинными, неземными болезнями. Неясно, понимает ли он причину, но жена его точно знает, за что так рано погиб их пятилетний сын, случайно-неслучайно подорвавшись гранатой, долго лежавшей под снегом, будто ожидая свою определенную жертву — сына Шумы-ассирийца. Возле ямы, где была закопана семья зубного врача («У выгребной ямы... Возле клозета...»), мать остановилась, «подняла руки и начала рвать, щипать свое лицо, как делают восточные женщины в страшном горе».

Август, потрясенный злодейством, учиненным над его родными, ничего не может поделать со своими чувствами и мечтами об одном — «ногтями распороть ему (Шуме) кожу», но, будучи человеком гуманистического сознания, понимает (до мысли о самоубийстве) то, что понимают не все: «Я знаю, что с такими мечтами долго жить нельзя».

Того, что с ненавистью жить нельзя, не ведает и Сашенька, более того, она чувствует необходимость озлобления, «чтобы окрепнуть» и отвоевать себе место под солнцем (вспомним опять символическую посадку пассажиров на поезд); она находит свою ненависть к людям обоснованной. Сашенька не считает себя плохим человеком: она гордится своим отцом, который «за родину голову сложил», стыдится своей матери, которая является «расхитителем советской собственности», — «сердце у Саши не то чтобы грубое, а скорей принципиальное». «Принципиальное сердце» — звучит странно, но понятно нам всем, так как принципиальность стала в советской стране приоритетным нравственным понятием. Сашенька — в своего отца, она думает «об интересах государства» и ради этих интересов пишет донос и на маму, и на Ольгу, и на Васю, хотя действительная причина доноса — обида на жизнь, на «нужду и голодуху», на вшей и невозможность быть счастливой. Отец и государство воспитали в ней партийную принципиальность, а мама была ее очень долго, пока Сашенька не показала характер, — все это сдвинуло в ее сознании понятия о добре и зле, и Сашенька иногда не ведает, что творит, превращаясь в маленькое злое чудовище. То, что должно было бы ее удивлять в людях и заставлять преклоняться перед ними (Горенштейн приводит мудрость Иова: «Взгляни на меня и удивись и положи руку свою на рот свой...»), бесконечно раздражает Сашеньку: доброта матери, поделившей свой кров с совершенно чужими людьми, нежная любовь к ней Федора-«культурника», самоотверженность старушки, преодолевающей каждый день большой и трудный путь, чтобы помочь своему сыну, арестованному за участие в массовых расстрелах («Я б возле него на полу спала»), преданность профессорши своему гениальному мужу. Сашеньке самой не очень понятны причины той острой неприязни, которую она испытывает к этой женщине с первого взгляда, еще ничего о ней не зная. Однако причины обычны: зависть к ее красоте, причастности к какой-то недоступной ей, Сашеньке, сытой и красивой жизни. Кажется, она не знает чувства сострадания, хотя сострадание должно было бы естественно возникнуть у нее, когда она видела струйки пота, стекавшие по лицу профессорши, пытавшейся сунуть дежурному передачу для мужа, замечала, как зябнут у той ноги от долготояния на снегу в модных ботах, как шарахается она от рвущихся собак, пробираясь к «самому доброму дежурному» со своей передачей, падая, цепляясь рукавом за колючую проволоку и раздирая свои «каракули». У Сашеньки же от всего этого радостно ёкает сердце.

Между тем в ней живет и не находит выхода огромная потребность любви, которая достается Августу (именно поэтому Август сказал ей: «Ты хорошая девушка») и дочери. Для мертвой сестры Августа ей не жалко своего новенького сарафанчика. Познав материнскую любовь, то есть любовь самоотвержения, подобрев к своей матери, согласившись на присутствие в своей жизни Федора, Ольги и Васи, поняв, что лучшее состояние жизни — «покой, веселье и мир», она поет своей дочери ту колыбельную, которую, видимо, когда-то пела ей мать; за нехитрыми беззаботными словами песни — первый бессознательный урок ненависти: «Ой-лю-лю-лю-лю-ли, чужим людям ду-

ли, а Оксаночке калачи...» Эта колыбельная не просто заканчивает повесть, она намекает и на будущее Оксаночки, еще одной жертвы того, «что мы наделали».

Кажется, что главный предмет исследования Горенштейна во всем, о чем бы он ни писал, — это «бесконечный неясный мир» человеческих отношений, «самый удивительный, бездонный и непознаваемый».

В «Искуплении» есть эпизод, когда писатель словно со стороны наблюдает за своими героями на вокзале и с сожалением констатирует (это сожаление в подтексте), как замечательные чувства людей — жалость, сострадание, любовь — идут параллельно с каждым из них, не перекрещиваясь, не находя ответа в том, к кому они обращены; как тоненькие ниточки связей обрываются, заставляя людей мучиться, страдать: Федор хочет побыть последние минуты перед отправкой поезда с Катериной, которая рвется к своей дочери из тюремного вагона, Сашенька же не может оторвать своего взгляда от Августа, а тот мыслями уже далеко от нее — и все несчастливо.

Среди всех человеческих связей есть одна — наиглавнейшая: это связь детей и родителей. С этой связи все начинается, она определяет качество взаимоотношений людей. Читатели невольно вздрогнут, дойдя до эпизода расставания на вокзале. Федор умоляет Сашеньку обратить свой взгляд на мать: «Ну посмотри хоть... Ведь мать же она тебе...» Вот и еще один символ. Посмотреть бы сейчас на то место, куда надо было смотреть, но никого там теперь нет, поздно...

Заметим, что вокзал как место действия фигурирует у Горенштейна довольно часто. Писатель обладает уникальным объемным эпическим даром. Все его произведения в целом представляются эпопеей. Вокзал же будто макет мощного потока жизни со своим множеством людей, судеб, географических названий, национальностей, языков, культур. На вокзале происходит задушевный разговор техника по холодной обработке металлов Иванова и писателя Зацепы. На вокзале случайно-неслучайно сложил голову несчастливый человек Яков Каша. С вокзала начинаются мытарства Гоши в родном городе (роман «Место»), сюда на долгие часы ожидания чуда гонит его безместное существование. Вокзал — метафора хаоса, бесприютности, скитальчества. Это некое вместилище человеческих взаимоотношений, образ нашей большой, светлой коммунальной квартиры, в которой не каждому человеку найдется местечко. Инстинкт обязательного ночлега на вокзале приобретает характер тревожный, иногда панический. Не решив «квартирный вопрос», вопрос «койко-места», государство не решило ни одну из своих «великих» задач, за которые бралось. Человек без места — это не звучит гордо, коль уж гордость была вписана в мораль новой политической идеологии. Название романа «Место» многопланово: это и койка для ночлега, и место среди людей, и предназначение человека, оправданность его существования («Без койко-места человек утрачивает свое человеческое начало»). Гуманистическая мысль романа не только в том, что каждый должен иметь в этой жизни место, но и в том, что место человека определяется взаимоотношениями мира с ним, а его с миром и с самим собой.

Герою романа Гоше кажется, что он знает законы этих взаимоотношений и все рассчитал, чтобы свое место обрести. Будучи уверенным в праве обитания именно под солнцем, а не в тени, предчувствуя в себе свое «инкогнито», подолгу высматривая его в зеркале, он понимает, что в его сиротском положении не стоит полагаться на жалость людей вообще (да и не соответствовала жалость его «инкогнито»), а следует искать высоких покровителей. Стесняясь себя настоящего (одна из ипостасей дисгармонии внутренней), он старается казаться совсем другим человеком, сыном другого отца, с другими фактами биографии, сытым, благополучным, хорошо одетым, временно находящимся в затруднительных обстоятельствах.

В течение всей первой части романа Гоша едет и никак не доедет до таинственных Бройдов, которых считает своими единственными друзьями, а они того не знают. В этом несовпадении действий (едет — не доедет, он знает — они не знают) вся соль. Похоже, что Бройдам глубоко безразлична Гошина жизнь. За длительное время их знакомства они умудрились не узнать о его общежитско-вокзальном положении, о его одиночестве и не стали его искать, когда он совсем пропал. Вот какой подтекст открывается за мечтой Гоши поехать к Бройдам. Возможно, Бройды чувствовали его ложное положение, как чувствовали многие, с кем его сводила жизнь. Григорий по имени, он представлялся всем Гошей, и люди начинали относиться к нему именно как к Гоше. Люди попроще завидуют его благополучию, высокому покровительству, но и они подозревают некую фальшь в его жизни и ведут себя с ним пренебрежительно, неприязненно, с насмешкой. Даже ласковая кошка Дарья Павловны вдруг ни с того ни с сего нападает на Гошу, хотя он кормил и гладил ее.

Кроме того, Гоша отмечен неудачливостью: дядя Петя-истопник высматривает это при первом же знакомстве. Мистический дядя Петя, умеющий по лицам отгадывать судьбу, как в воду глядел, провозглашая: «Гоша, ничего у нас не получится». Родовая отмеченность, предопределение — вещи серьезные. Гоша, сопротивляясь испытаниям, вообще-то понимает свою обреченность, ибо, знает он, «есть дети, которые являются продолжением величия своих отцов, есть же, которые являются продолжением унижения отцов».

Между тем героя есть за что уважать и любить. Прежде всего за попытку подняться над обстоятельствами и реализовать свое «инкогнито», на которое он имел право и основание, так как человек многое знает о себе, чего не ведают другие. В борьбе за существование герой иногда выглядит отвратительным, хуже тех, кто так строго судит, но у него есть способности к самоанализу, он честен с собой, что дается только людям большой внутренней свободы. В минуты отчаяния и злобы он признается, что «мог бы убить ребенка», что иногда «хотелось взять палку или камень»; он посылает проклятья своим родителям. Вот как объясняет он свои чувства, пытаясь разобраться в себе до конца: «Это была душа злодея, порожденная обидой»; он отслеживает каждое движение своей души, каждый свой поступок: «Это было неумно», «Это было неблагородно», «Это было нелепо, неискренне», «Мои друзья не виноваты, наоборот, виновен был я». Ему постоянно стыдно за себя перед собой, перед людьми, но в то же время больно чувствовать себя «отщепенцем»: «...за что вы издеваетесь надо мной, за что вы невзлюбили меня?» Безусловно, писатель заставляет нас вспомнить Акакия Акакиевича с его «проникающими словами»: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» Эти слова гоголевского бедолаги напоминают и другие: «Я брат твой...» Призыв Гоголя пожалеть как брата человека вовсе не идеального читатель почувствует и в романе Горенштейна.

Блок предугадал судьбу миллионов «хороших детей», в том числе и Гошину судьбу, судьбу «мучеников», и предугадал бунтующую кровь этих детей, их категоричность, резкость, жестокость, доставшиеся им по наследству.

На взлете своих сбывающихся надежд Гоша, обычно умевший себя контролировать, вдруг теряет напрочь эту способность и показывает худшие свои качества. Ненависть ко всем, кто лишил его детства и мешал ему жить, обиды на жизнь и сладостная перспектива поставить на место всех мучителей и гонителей застилают ему разум. Оказавшись, однако, и в реабилитации неудачником (прав был дядя Петя), потеряв последнюю надежду, Гоша изменяет своему принципу «расчетливой покорности», его покидает инстинкт самосохранения, именуемый страхом, и он начинает мстить за себя всем, кто попадется под руку, разрушая себя нравственно и физически.

Герой, вероятно, убедился в конце концов, что «мир во зле лежит»; что зло непременно присутствует в каждом человеке. Но тогда те крупицы добра, которые он отмечал в людях, старательно культивируя в себе благородство, должны были бы удивлять и пробуждать чувство благодарности, тем более что сам он в то время, о котором рассказывает, никому еще добра не сделал, занимаясь исключительно собой. Худо ли, бедно, но Михайлов помог ему устроиться, а весть о реабилитации друга вызвала его слезы. Старушечка Анна Борисовна после дороги напоила его чаем с куском батона. Броды милостиво пустили его в свою красивую жизнь. Приятели на работе пытались заступиться за него перед начальством. Гоша все время приглядывается к людям, оценивая их интеллект и способность к «умным сравнениям», будто бы это и есть подлинные человеческие добродетели. Он высокомерно отмечает в людях наличие или отсутствие «зачатков духовности», наивно полагая, что это дано знать человеку о другом человеке, и никого не подпускает к себе близко.

Одно из главных событий в жизни героя, много прибавившее к его опыту, — встреча с «плачущим» старичком в больнице. В этом эпизоде заявлена тема, может быть, самая важная для писателя, — тема сыновничества. Щемящая душу слова эпиграфа к роману из Евангелия от Луки о трудной судьбе Сына Человеческого (и любого сына человеческого) на Земле говорят о том (кроме главного смысла этих слов), что в каждом человеке до глубокой старости сохраняется его детская сущность: он все равно чей-то сын (или чья-то дочь). Взрослых часто не жалеют те же люди, которые уверены, что очень любят детей, не желая признавать в человеке бывшего ребенка. Гоша признается, что к тридцати годам он сохранил много детского, и не без иронии рассказывает об этом. Вот он высматривает в зеркале свое «не-что», свое «инкогнито», как это делают угловатые смешные подростки. Вот Гоша разлетелся жениться выгодно по любви «с первого взгляда», но, так как ему предо-

ставили не ту «идею» женщины, о которой он мечтал, он начинает вести себя за столом, как противный, капризный ребенок, размешивая пальцем сахар в стакане чая, назло всем обжигаясь кипятком и наслаждаясь всеобщей растерянностью. Вот он укачивает себя в постели: «ибо сам себе я был тогда отец и мать, брат и сестра, сын и дочь...», создавая иллюзию родительской ласки. Даже выдуманная ласка благотворна: он «засыпал не одинокий, по-детски защищенный от бытовых невзгод, с детской улыбкой на лице». Впечатляет образ сиротства, безотцовщины: Гоша лежит на голой панцирной сетке, а с него и из-под него «все расползлось, шелестели и рвались газеты...», потому что все расползлось в его жизни, все рвалось, и для того, чтобы все собрать, потребуются неимоверные усилия.

Герою библейской притчи о блудном сыне повезло: изрядно нагрешив, узнав людей с самой плохой стороны и набив себе шишек, он возвращается домой, где его с радостью принимает отец. В случае с Гошей, блудным сыном, сложнее: его оторвали от отца насильно, а теперь ему некуда возвратиться и нет человека, который бы принял его с радостью со всеми его грехами, и нет могилы, к которой он мог бы прикнуться и смягчиться душой.

Судьба свела Гошу в больнице с «плачущим» старичком, грешным («дурным»), вечно рыдающим от мук постоянного раскаяния и жалости к людям, которые — и Гоша среди них — не относились к старичку серьезно и смеялись над его рыданиями; со старичком, сполна испытавшим издевательства, гонения и одиночество и научившимся жалеть одиноких и гонимых. Именно этот старик плакал над Гошиными рассказами, хотя тот изо всех сил старался казаться беззаботным. Он был единственным и в настоящей жизни Гоши, кто чуть ли не полюбил его, все увидел, принял таким, каким он был на самом деле, кто поплакал над его жизнью и сиротством, кто за веселыми Гошиными рассказами рассмотрел трагедию, поняв ее причины. Его причитания «грешный Георгий», «бедненький Георгий» — это не только жалость, но и попытка восстановить имя человека, напомнив ему, что он не Гоша, но Георгий, следовательно, обязан победить в себе зло.

Жалость старика страшно раздражает Гошу: он ведь никогда не допускал по отношению к себе жалости. Своим сдвинутым нравственным сознанием, испорченным со школьных лет убеждением, что человек — «это звучит гордо» и «не надо унижать его жалостью», он не понимает спасительного назначения способности жалеть, то есть испытывать боль за чужого человека (жало — укол, боль). Гоша не позволяет старику погладить свое лицо холодными старческими руками, он брезгливо отстраняется от него, лишая себя этой исключительной в его жизни чужой, но отцовской ласки. Он предстает перед нами еще довольно молодым человеком, мораль которого могла бы уложиться в хорошо известный сейчас шаламовский девиз: «Не верь, не бойся, не проси», девиз лагерной и постлагерной страны. Символы этой страны есть у Горенштейна: дощатые заборы, пустыри, разрушенные дома, строительный мусор, колючая проволока, лающие на людей собаки, — это из его произведений. Однако лагерная мораль совершенно не годится человеку, собирающемуся жить: она бесчеловечна по самой своей сути, но выраживает завершенностью и категоричностью. Все наоборот: нельзя не бояться, ибо человеку присуще чувство страха и зачем-то ему дано; нельзя не просить, так как единственно движение человека к человеку (да и как же тогда — «да не оскудеет рука дающего»?); нельзя не верить, так как вера — необходимое условие цельности человека, его гармонии, единственное противоядие разрушительному отчаянию.

Горенштейн и в этом романе демонстрирует свою приверженность жанру притчи, отвечая на вопрос, возможно ли человеку собрать воедино то, что до сих пор расползлось и рвалось в нем и в его жизни. Гринев у Пушкина под виселицей читает «Отче наш» и спасается. Печорин, безбожник и по новой моде начала прошлого века «скептик и матерьялист», — пропащий человек. Гоша признается, что не верит в Бога и насмешливо относится к вере. Вопрос веры у Горенштейна нельзя обойти молчанием: он всегда или заявлен прямо, или предполагается. Вопрос исключительно деликатный в силу известных причин, но позволю себе обратиться к Вл. Соловьеву, испытывавшему в свое время влияние разных духовных школ: «Верить в Бога есть наша нравственная обязанность». Горьковский Сатин совершенно прав в утверждении: «Человек может верить и не верить... это его дело! Человек — свободен... он за все платит сам: за веру, за неверие, за любовь, за ум — человек за все платит сам, и потому он — свободен!» Но плата страшная — вот в чем дело. Как говорит Соловьев дальше: «Человек может не исполнить своей нравственной обязанности, но тогда он неизбежно теряет свое нравственное достоинство». Когда блудный сын прекло-

нил колени перед отцом своим, то отец его сказал: «...Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И мы, читая эту притчу, понимаем, о каком Отце идет речь, как пропадал и как был обретен вновь его сын.

Плачущий старичок причитает над Гошей: «Горечь ты Божья»,— напоминая ему о любви к нему Бога. Не умея передать умному молодому человеку, конспектировавшему Платона, Гельвеция и Ницше, свой печальный опыт, осознание того, что ничего лучше веры и главных добродетелей, которые признают все религии,— любви, доброты и сострадания, человечество не могло придумать, старичок пытается привести Гошу к вере через свои «вирши»: «Грешники, к Богу скорей поспешите».

Как разрешить проблему искупления, то есть заслужить прощение за то, «что мы наделали», как помочь упомянутому Блоком ребенку не мучиться? Август и профессор пытались разобраться в проблеме того библейского числа, того количества человеческих жертв, после которого наступят мир и согласие в человеке и между людьми, то есть и произойдет искупление.

Но математика — наука лукавая, не имеющая возможности сделать поправку на человека, так что попытка найти библейское число обречена на неудачу. Вернее будет опереться на мысль В. А. Жуковского, который писал, что искупление — это «возвращение человеку утраченного им присутствия Божия».



Фантасмагория



Владислав Отрошенко. ПЕРСОНА ВНЕ ДОСТОВЕРНОСТИ. СПб., «Лимбус Пресс», 2000.



С этим писателем творятся разные чудесные вещи. Не злобные-странные, а так — забавные и причудливые. Если бы я не был свидетелем, то и не поверил бы — то одно случится, то другое. Как-то раз нас обоих перевели на немецкий язык и напечатали в одном сборнике. Я привез эту книгу Отрошенко. Развернув сборник, мы обнаружили, что там есть его биография, он значится в оглавлении, но заявленных текстов его там... нет.

Одним словом, фантасмагория.

Фантасмагорией в свое время называли, в частности, фигуры и видения, вызванные всяко разными оптическими приборами. А знатного фантасмагориста и — по совместительству — писателя Отрошенко часто сравнивают то с Борхесом, то с Гоголем. Это, конечно, неверно. Так же его можно сравнивать с Павичем и еще черт-те с кем. Сравнить вообще всех можно со всеми. Однако к разгадкам это не приближает, не помогает понять сути текста, причудливых фигур, которые рождает книга в качестве бумажного оптического прибора. Кстати, с Гоголем у Отрошенко особая связь — в «Гоголиане», что напечатана в этом году в «Октябре», есть у него рассуждения о Гоголе и паспорте как о двух противоположностях. Рассуждение о фантасмагористе-писателе, мир которого усложнен, чудесен и искрится фантастическими превращениями, и казенной бумаге, само назначение которой — этот мир упростить, сжать в особую плоскую форму, свести к нескольким страницам, формат которых одинаков для любого путешественника. Паспорт, который хочет иметь фантасмагорист, превращается в оптический фокус, особенную и чрезвычайно бумагу, в коей самодер-

жец российский повелевал бы всем иноземным властям склониться перед его обладателем и не то оказывать ему покровительство, не то самим искать покровительства у писателя и его государя. «Но если бы это произошло? Или, скажем иначе: если бы этот паспорт, вообразившийся Гоголю под небом Неаполя, все же существовал в многогранной природе российского государства, в которой есть место любым граням, в том числе и совершенно феерическим? Как воспринял бы Гоголь это осуществление своей фантазии? Возгордился бы он, получив такой паспорт, извлеченный им на свет благодаря тончайшему художническому чутью? <...> Ясно, что эти вопросы предполагают в художнике мелочное тщеславие. Ясно также, что подобное предположение в случае с Гоголем неправомерно. <...>

Этот образ принадлежит, быть может, в качестве юнговского архетипа коллективному бессознательному. Или даже — в качестве чистого первообраза всех паспортов на свете — платоновским небесам».

«Персона вне достоверности» словно колеблется между двумя этими полюсами — цифрами и датами и оптическим обманом, сделанным из воздуха и в воздух же то и дело превращающимся. Как превращается воздух в радугу, а потом совершает обратное превращение. Рассказы в этой книге то приобретают форму письма или документа, даже лекции, то превращаются в воспоминание или сон.

Что есть в этой книге Отрошенко? В ней есть несколько повестей под общим названием «Персона вне достоверности», есть роман «Приложение к фотоальбому», есть декалог «Двор прадеда Гриши» и рассказы. Во всех них — вкус степи да тонкий звук казацкого прошлого.

Но не завидую я какому-нибудь американскому слависту, который, рассматривая русских писателей по классификационным полкам, задумается с книжкой Отрошенко в руке. Скорее всего он сунет ее на полку «Казацкие писатели». Название, кстати, совершенно фантас-

магорическое, иллюзорное. И впишет такой классификатор Отрошенко к хорошему писателю Шолохову в компанию.

Между тем казачья тема у Отрошенко особенная — будто оптический фокус. Приглядишься к какой-нибудь улице Новочеркаска — глядь, идет по ней слон, позвякивая бубенцами, пришедший прямо из королевства Бутан. Своим ходом прибрел этот слон из другого, «гималайского» рассказа. А из арки Атаманского сада выходит сам атаман Платов, герой всяческих войн и батальей. И в снах там является город «с дворцами, фонтанами и монументами, с нарядным сквером в цепной ограде близ грозного здания арсенала, с триумфальными арками и садами, с обширной, мощенной булыжником площадью, где стоит, заслоняя полнеба, дивный собор с золочеными куполами и сочно сияющими витражами в арочных окнах над пышным порталом. В этом призрачном городе, основанном, как я убежден во сне, одним доблестным генералом от кавалерии, есть озвученная ручьями, что стекают по южному склону холма, и заросшая чайными розами улица, называемая Кавказской. Где-то на этой улице, в доме с мозаикой на фронтоне и круглым окном над парадной дверью, постоянно оказываюсь, засыпая, я».

И вновь все исчезает, скрывается, будто под вуалью старой фотографии, флер которой делает людей одинаково прекрасными. Такая память бывает у взрослого человека — о детстве, где несчастья ретушированы, а радости осветлены. Том детстве, где деревья — большие, где всякая вещь имеет свой характер и свою песню, с песнями провожают покойников и встречают народившихся, где «царство пчел и стрекоз», стоит даже не банка, а крынка с молоком, где не гномы, а домовые, где наконец шарить в поисках неведомых кладов рядом с домом, да шагнешь ночью вдоль огорода, а из колодца вдруг грянет хозяйский «голос горбатого деда Семена:

— Куда несешь мои сокровища, антихрист проклятый?! Или тебе неведомо, что я, царь Семен, бог всех раков на свете, могу превратить тебя, анчутку поганого, в дохлую курицу!»

Будто на старой, жухлой фотографии задвигали руками люди в гимнастерках и парадных мундирах, зашевелил ветер времени юбки сидящих дам и

пролетела вырвавшаяся из объектива много лет назад птичка. Началась фантазмагория — чуда внутри старого фотографического аппарата, соединение старинного ребристого его кожуха с обыкновенной гармонью, бежавшие со стеклянных пластинок персонажи и рассыпавшиеся по бумаге изображения. Одним словом, оптическое представление, иллюзия.

У Отрошенко вполне реальный *линейный*, тот солдат с флажком, прикрепленным к штучку, что служил ориентиром на парадах (должность, которая существовала во всех русских пехотных полках с 1821 года) и ранее назывался жалонёром, превращается в существо метафизическое: «Жалонёром, в сущности, является всякий, кто состоит по воле Всевышнего в особенных — жалонёрских отношениях с пространством. И более того. Приверженность Истине побуждает меня сказать всем, кто способен это понять: не жалонёры возникли в связи с условной необходимостью ориентироваться в пространстве при всяких в нем эволюциях, а пространство как таковое — как устойчивая неодолимая иллюзия — существует лишь благодаря жалонёрам, на которых Господь возложил обязанность поддерживать эту величественную иллюзию, сравнимую по силе и вечной загадочности только с иллюзией времени».

Надо сказать, что Отрошенко пишет, помимо прозы, традиционно называемой прозой, множество эссе — например, упомянутый корпус эссе о Гоголе, которого только ленивый не именует фантастическим реалистом. Это свойство современного литератора — писать эссе о литературе или культуре вообще. При этом иногда совершаются неожиданные открытия, которые, разумеется, тут же называются фантастическими. Но только кажется, что Отрошенко опять нажухал своих критиков, потому что те исторические неточности, что входят в его текстах, похоже, он сам же и придумал, оставил другим на потребу. Предоставил возможность критикам надуться и показать свою образованность. Высказаться и тут же запутаться самим.

Фантазмагорические все это неточности и придумки.

Писателем брошены в этой книге в котел линотипа для получения своих личных

буковок букочки итальянские и аргентинские, сербские и русские «яти» из губернской типографии. Брошено туда же и наше общее советское прошлое. А потом добавлено еще что-то. Потому что во Владиславе Отрошенко осталось умение возмущаться или удивляться тому, к чему нормальный человек уже привык.

Загадок — множество. А разгадка текста, видимо, в том, что Отрошенко совершенно современный писатель, действительно испытывавший влияние тех и этих, а в результате получивший себя самого. Потому что фантазмагория фантазмагорией, фокусы фокусами, а настоящие чудесные превращения случаются только с буквами, составленными в определенном порядке.

Не в обычном паспорте, где этот порядок задан раз и навсегда, а в искусно и искусственно созданном мире литературы.

Владимир БЕРЕЗИН

A Sverdlovshire Lad

●
Борис Рыжий. И ВСЕ ТАКОЕ...
 СПб., «Пушкинский фонд», 2000.

●
 Главная характеристика стихов Бориса Рыжего — свобода, свобода «власть имеющего». Ему сходит с рук многое из того, что не сошло бы другому, неминуемо обернувшись или безвкусицей, или смехотворной позой, или ненужной и неорганичной грубостью. Иногда даже кажется, что он несколько по-мальчишески щеголяет этой свободой. Впрочем, вольно ему, грех здесь небольшой.

Среди подходов к понятию «поэтическая свобода» лексический — последний по значимости. Горе поэту, если основным его достижением считается лишь смелое словообразование или расширение словаря за счет внелитературных заимствований. Стихи Рыжего держатся не только за счет постоянно используемых поэтом «лексического снижения» и игры на контрастах. Они, кроме того, и образны, и музыкальны. Говоря об игре на контрастах, всегда следует помнить, что в «рекордном» по преодолению расстоянию между «низким» и «высоким» стихо-

творении Ходасевича «Под землей» вовсе нет сниженной лексики. Более того, вообще очень мало кому удавалось сделать «сниженную» лексику в стихе сколько-нибудь выразительно. Примеры неудач здесь — бесчисленны, удач — единичны. «Русский титул» в «Телеге жизни» единственен в своем роде и в повторении не нуждается. Добавляя к языковому снижению яркую образность и музыку, Рыжий, кажется, набрел на новую гармонию.

«Сниженное» слово у него заиграло, став и уместным, и точным. «Воротник поднимаю пальто./ Закурив предварительно время/ твое вышло. Мочи его, ребя,/ он — никто./ Синий луч с зеленцой по краям/ преломляют кирпичные стены./ Слышу рев милицейской сирены,/ нарезая по пустырям».

Или:

«В безответственные семнадцать./ Только приняли в батальон,/ громко рывкаешь: рад стараться!/ Смотрит пристально Аполлон:/ ну-ка, ты, забобень хореем./ Парни, где тут у вас нужник?/ Все умеем да разумеем,/ слышим музыку каждый миг». (Интересно отметить, что в последнем примере можно усмотреть отсылку как к известной присказке «рад стараться, готов у..аться», так и к рассказу Дельвига о встрече с Державиным.)

Несмотря на кажущуюся внешнюю простоту, «романовость», мнимую расхожесть, стих Рыжего на самом деле чрезвычайно изощрен. Музыкальные и ритмические эффекты, применяемые поэтом, свидетельствуют о его нерядовой технической искусности. Рыжий прекрасно понимает, что сложная строфика и изысканная рифмовка — ничто в сравнении со, скажем, ритмическим сдвигом, вызванным внутренней логикой стиха: «Мне бы как-нибудь дошкандыбать/ до смертной серебряной ренты,/ а ему, дармоеду, плевать/ на аплодисменты». Или кувырком через голову после подножки, подставленной неожиданно короткой строкой: «Как будто кончено сраженьё,/ и мы, прожженные, летим,/ прорвавшись через окруженьё,/ к своим».

Замечательно, что следующая строфа только что процитированного стихотворения начинается так: «Авария. Башка разбита». Но еще замечательней то, как и для чего этот же прием повторяется в конце: «Душа моя, огнем и дымом,/ пу-

тем небесно-голубым,/ любимая, лети к любимым/ своим».

Таких маленьких чудес в стихах Рыжего россыпи.

Стоит сказать о поэтической родословной поэта. Красноречиво выглядит полное отсутствие в его стихах каких-либо переключек с «большой тройкой». У Рыжего достаточно ума и чутья, чтобы понимать, что этот путь безнадежно скомпрометирован и закрыт надолго, едва ли не навсегда. О другом расхожем влиянии сам Рыжий говорит так: «Скучая, я вставал из-за стола,/ и шел читать какого-нибудь Кафку,/ жалеть себя и сочинять стихи/ под Бродского, о том, что человек,/ конечно, одиночество в квадрате,/ нет, в кубе. Или нехотя звонил/ замужней дуре, любящей стихи/ под Бродского, а заодно меня —/ какой-то экзотической любовью». Ясно, что если это влияние и было, то теперь оно полностью бесследно изжито. (Впрочем, все это не мешает Рыжему использовать стихи Манделштама и Бродского в качестве эпиграфов — деталь довольно забавная.)

Зато в высшей степени отраднo ловить отблески совсем иных светил: «А я, собирая свой ранец,/ жуя на ходу бутерброд,/ пускаюсь в немыслимый танец/ известную музыку под. <...> Крути свою дрянь, дядя Паша,/ но лопни моя голова/ на страшную музыку вашу/ прекрасные лягут слова». (Ну конечно! — И в плавный, вращательный танец/ Вся комната мерно идет,/ И кто-то тяжелую лиру/ Мне в руки сквозь ветер дает.) Или: «Мы исчезаем, легкие, как тени,/ в цветах сирени». (Да-да: «В широких шляпах, длинных пиджаках», «Как ветки облетевшие сирени», «где вы исчезли, легкие, как тени».) Или еще (из великолепного стихотворения «А иногда отец мне говорил...»): «Прощай, любовь! Прошло десятилетье./ Ты подурнела, я похорошел,/ и снов моих ты больше не хозяйка». (Понятно, куда восходит этот белый пятистопный ямб, и столь же понятно, что избежать интонационных провалов в нем под силу очень и очень немногим. Рыжему оказалось под силу.) Очевидна также связь, пожалуй, лучшего стихотворения книги — «Когда менты мне репу расшибут» с блоковским «Последним напутствием»: «Тогда, наверно, вырвется вовне,/ потянется по сумрачным кварталам/ бы-лое или снівшееся мне —/ затейливым и

тихим карнавалом». То же можно сказать и об уже цитировавшемся финале стихотворения «Из фотоальбома»: «Душа моя, огнем и дымом...»

Еще об одном влиянии сам поэт говорит так: «До пупа сорвав обноски,/ с нар полезли фраера,/ на спине Иосиф Бродский/ напорочен у бугра./ Начинаются разборки/ за понятия, за наколки./ Разрываю сальный ворот:/ душу мне не береди./ Профиль Слуцкого на колот/ на седеющей груди». Сказана сущая правда, профиль Слуцкого в стихах Рыжего действительно проступает, вот несколько (мелких) деталей: «только рифму, ритм, вообще тра-ра-ра» (Слуцкий); «было синим, а стало белым,/ белым-белым та-ра-ра-ра» (Рыжий); «Озираясь, как будто бы чужа погоню,/ голову боязливо втянув в воротник,/ торопливо, надменно, робко и беспокойно/ мы, поэты, проходим меж всяких иных» (Слуцкий); «Мой герой ускользает во тьму./ Вслед за ним устремляются трое. <...> Воротник поднимаю пальто...» (Рыжий).

Существенную роль в книге играет постоянно подчеркиваемое нетождество автора и героя: «Я его сочинил <...> грехам в оправданье», «Он бездельничал, «Русскую» пил./ он шмонался по паркам туманным./ Я за чтением зренья сажил/ да коверкал язык иностранным»; «Да, наверно, все это — дым без огня/ и актерство: слоняться, дышать перегаром./ Но кого ты обманешь! <...>». И тут сама собой возникает удивительная, неожиданная и на первый взгляд чрезвычайно далекая параллель со «Шропширским парнем» Хаусмана. Напомним, что речь идет о поэтической книге, принадлежащей одному из крупнейших европейских филологов, о книге, ставшей вершиной английской лирики конца прошлого века. В ней содержится весьма отчетливый «бандитский» цикл, стержень ее — острое переживание «наивным» героем человеческой смертности, неудачной любви, одиночества. Она сверхмузыкальна, «балладна», ярко образна. За ее внешней простотой скрывается невероятная авторская изощренность.

Пути Господа неисповедимы. Слуцкий пытался переводить Хаусмана. Вот еще одно крохотное чудо: «Молодость мне много обещала,/ было мне когда-то двадцать лет,/ это было самое начало,/ я

был глуп, и это не секрет» (Рыжий); «Но двадцать один мне было./ Нет смысла со мной толковать» (Хаусман—Слущкий). Герой Хаусмана вспоминает о голубых холмах Шропшира, шпильях Ладлоу, водах Северна, счастливых дорогах своей юности. У Рыжего — «Тайга по центру, Кама с краю», «двор в районе Вторчермета», «сказочный Свердловск». Разница представляется нам несущественной. Свою первую журнальную подборку Рыжий назвал «From Sverdlovsk with love». Возьмем эту подачу, придумав английское название и для его книги.

Алексей КОКОТОВ

Кимвал бряцающий

●
**Сэмюэл Беккет. МОЛЛОЙ. МЭ-
ЛОН УМИРАЕТ.** СПб., «Амфора»,
2000.

●
Питерское издательство сделало нестандартный ход, выпустив массовым тиражом романы Сэмюэла Беккета. Уже издававшиеся в твердом переплете, эти романы даже внешне выглядели полной противоположностью какому-нибудь масскультурному опусу, на девять десятых состоящему из диалогов. Беккетовский текст содержит диалоги в обратной пропорции — на одну десятую — и смотрится как «глухой», вызывая ассоциации то ли с брандмауэром, то ли с застегнутым на все пуговицы человеком, не склонным с вами общаться. Тем не менее общаться с текстами можно (я бы даже сказал нужно) и получать от них удовольствие тоже.

Сэмюэл Беккет принадлежит к числу тех редких писателей, чьи произведения тяжеловаты по содержанию, но легки в чтении. Динамизм, постоянные переменны ситуаций, настроений и особый, сохраненный переводчиком беккетовский юмор — вот что превращает чтение в праздник. Хотя если задуматься, что там происходит... Ничего такого, чего бы не происходило в окружающей действительности. Принято считать: корифей модернизма Беккет получил Нобе-

левскую как открыватель новых выразительных возможностей языка. Что справедливо, особенно в отношении драматургии, где на пару с Ионеско Беккет остался в истории мирового театра как один из самых смелых новаторов. Но у прозы есть и другие заслуги, в частности, воплощение определенного типа сознания, увы, не столь уж редкого в нашем столетии. Единицей драматургического высказывания все-таки служит реплика, словесное действие, направленное вовне, так что подтексты и мотивы (коль скоро таковые вообще имеются) должны домысливать зритель или читатель пьесы. Сознание же во всей его сложности, включающее ретроспекции и внутренние пружины поступков, воплощается в прозе.

В рассказах и романах Беккета существует один сквозной герой, который может иметь имя, допустим, Моллой, но может именоваться и по-другому (или вовсе не иметь имени). Как правило, это десоциализированная, опустившаяся на дно личность, которую во Франции именуют «клошар», а в России «бомж» или «бич». Но Боже упаси подумать, что Беккет занимался социальной критикой — ничего подобного! Более того, его сквозной герой, в сущности, не является «героем» (потому, наверное, в выпущенную у нас «Энциклопедию литературных героев» персонажи Беккета не попали, что видится недоработкой: хотя бы знаменитого Годо могли бы поместить как блистательный образчик «отсутствующего героя»). Перед нами маска, подходящая для того, чтобы влить в души читателей тот нескончаемый «поток потерянного сознания», который представляют собой и новеллы, и романы великого ирландца.

Впрочем, слово «бич» тут все-таки уместно, поскольку в расшифровке дает: Бывший Интеллигентный Человек. Судя по неумемной страсти к рефлексии и самонаблюдению, условный беккетовский Моллой явно из «бывших», однако опустил он опять же не на социальное дно, а гораздо глубже. Это сознание выключенной из жизни персоны: в отношении смыслов, действий, результата — в отношении всего, кроме мышления, да и то по инерции: «Я раздумывал почти безостановочно, остановиться я не осмеливался». Так ска-

зять, в чистом виде *cogito ergo sum*, когда остановка равноценна небытию. «В отношении желаний можно вести себя двояко — активно и созерцательно, и, хотя оба пути приводят к одному результату, я предпочитаю путь созерцания». Но даже созерцание здесь вымученное, поскольку оптика персонажа настроена не «вовне», а по преимуществу «внутри» себя. В основе такого мировосприятия — понимание, что мир безнадежно абсурден, а слова и поступки бессмысленны. Моллой куда-то движется, что-то потребляет, сталкивается с какими-то людьми, но реагирует на них, как на жужжащих насекомых (только большого размера, так что не отмахнешься и не прихлопнешь). Временами ему попадаются «заботливые» люди, как правило — женщины, но чужая забота о теле Моллоя тоже воспринимается как назойливое жужжание насекомого. Можно ли возродить тело, если давно распалась душа?

Еще Беккет доказывает, что людям целеустремленным и рациональным отворачиваться (с чувством законного превосходства) от подобного сознания не стоит, то есть не получится. Беккет просто сгущает, как и положено художнику, то, что живет в душах миллионов. Уберите автоматизмы, искусственные подпорки и костыли, с помощью которых мы придаем жизни смысл, — и любой успешный и благополучный рискует превратиться в «Моллоя». Что, собственно, и происходит в романе, где существует еще один персонаж — Жак Моран, на первый взгляд полный антипод аморфного «бича». Моран рационален, дотошен до мелочей, встроен в социум и даже имеет сына, которого «воспитывает». Но постепенно, шаг за шагом, пока Моран выполняет приказ разыскать Моллоя, в осмысленной вроде бы деятельности проявляется физиономия того же Абсурда. Абсурдные поиски, бессмысленно уродливое «воспитание», дико немотивированное убийство — и в финале мы имеем уже не антиподов, а близнецов-братьев.

«Я пытался жить, не понимая, что это такое. Возможно, я все-таки жил, не зная этого». Кто так говорит — Моллой? Моран? Нет, это говорит умирающий Мэллон, ничем вообще-то отличающийся от первых двух. В романе «Мэллон умирает» — в каком-то смысле ито-

говом — сквозной герой в большей степени занят ретроспекциями, он пытается найти что-то в детстве, в прошлом и зацепиться за найденное. Увы, ничего не находится, прошлое так же пусто и абсурдно, и роман заканчивается бессмысленным бормотанием.

Конечно, в беккетовский миф не обязательно погружаться полностью. Пожалуй, от него даже лучше отталкиваться, но образ «сознания-без-любви-к-миру» стоит, наверное, хранить в дальнем углу памяти. Без любви к жизни любая деятельность и впрямь абсурдна, а любые успехи и достижения — «кимвал бряцающий», как где-то кем-то сказано.

Владимир ШПАКОВ

Драматическая трилогия

●
Э. М. Лындина. **ОЛЕГ МЕНЬШИКОВ.** (Серия «Мир кино»). М., «Панорама», 1999.

●
Прежде всего — цитата: «Странный танец... Вполне современный на ту пору, в нем *движения* и *рока* (здесь и далее курсив мой.— О. Д.), и твиста, и шейка. <...> Парень пляшет, выкручиваясь, выламываясь, отшвыривая в сторону руки, ноги, запрокидывая голову, словно в изнеможении от собственной немoty. Гибкое тело передает нарастающий поток «слов», которые парню надо высказать, выговорить, вышвырнуть». Держу пари, что, скажем так, у среднестатистического любознательного читателя вместо точки в конце цитаты встает нереально большой вопрос: что бы это значило? Танец дауна? Или инвалида? На отечественных протезах. Или, может быть, это песня немого? Нет, уважаемый читатель: ни то, ни другое, ни тем более третье. Просто-напросто кинокритикесса Э. М. Лындина так описывает танец Олега Меньшикова в роли классического нигилиста из фильма «Полеты во сне и наяву». И внимательно читателю остается только риторически задать вопрос, например о том, какие именно движения

характеризуют танчик под названием «рок», и, не получив ответа, удивиться такому разудалому словоупотреблению...

Итак, о заслуженном артисте РФ, давно уже прозванном великим и народным, появилась книга. И вышла в свет семитысячным тиражом. И всё бы хорошо, да только плохо всё... Впрочем, справедливости ради сначала о хорошем.

Книга достаточно аккуратно и современно издана (даже штрих-код на обложке имеется). Это несомненное достоинство. Книга офсетно иллюстрирована (большего сказать нельзя). Это тоже достоинство. Книга содержит весь «список Меньшикова»: полный перечень его работ на театре, а также фильмографию и «призографию». Это большое достоинство. Третье. А четвертое и, к сожалению, последнее состоит в том, что книга последовательно излагает несколько малоизвестных фактов, которые, как свидетельствуют фанаты О. М. со стажем, действительно имели место в жизни Олега Евгеньевича Меньшикова. Ну а теперь — о главном, извините, о недостатках.

На первый взгляд 496-страничный фолиант выглядит весьма солидно, можно даже сказать — документально-монументально. Но уже на второй становятся заметны фактические неточности, отмеченные и самим героем (в одном из его немногочисленных интервью), и просто таки чрезмерная авторская субъективность. На третий же взгляд внимание «зависает»: тормозит его постоянное ощущение шероховатости, иначе говоря, элементарного нарушения правил русского языка. Например, сочетаемости разных языковых уровней: «острые глаза», «срез души и сердца», «багровый цвет затылка», «броня нарочитой иронии», «молчаливые взрывы темперамента», «эротика утвердилась в правах гражданства» и тривиальное — «положа руку на сердце и спустя годы...». Это только несколько случаев неадекватно выраженной мысли, а их не один десяток, и первый из них, безусловно, возглавляют словосочетания «тыльная сторона театра» и «модная маршевая песня»: какой-нибудь сатирик, думаю, не без удовольствия приписал бы их себе. Далее — банальная тавтология: «яркая зрелищность», «скуchnоватая тучка», «однодневка средней руки»,

«живая жизнь», «звучный резонанс» и т. д. и т. п. Впрочем, остановлюсь: все вышеназванные отступления от языковых норм можно было корректно не заметить, если бы автором книги являлась какая-нибудь влюбленная девочка, а издательство называлось как-нибудь попроще, но автор книги — кинокритик, а издательство зовется «Панорамой». (К слову сказать, екатеринбургский неформальный сайт «Олег Меньшиков», который придумала двадцатилетняя поклонница О. М., и тот составлен грамотней и логичней.) Но те нелепые образы, которые построены на основе необдуманно расширенных фразеологизмов, не заметить нельзя (я бы назвал их — «сексуально ориентированными»): «В страстной картине Михалкова (имеется в виду фильм «Утомленные солнцем». — О. Д.) Меньшиков не мог, как прежде, оставаться в привычном для него безлюбном пространстве (? — О. Д.), отводя женщине место где-то на самом дальнем ярусе»; «Кирик — любитель горячительных напитков и дам *постбалъзаковского* возраста, тех, кто не слишком разборчив в выборе партнера (! — О. Д.)». Или такой образ: «Утомленные солнцем» можно изложить всего в одной фразе: Никита Михалков распался на две платоновские половинки <...>, и одна пришла арестовывать другую... С виду брутальный, а душой *женственный большевик*, жесткий, но истеричный *дворянин-энкавдэшник*, оба сентиментальны и мечтательны, оба время от времени впадают в буффонаду. Один характер на двоих, *знак непонятно чего* (!!! — О. Д.). Михалков играет в фильме комдива, и был бы шестнадцатью годами моложе — наверняка сыграл бы Митю». И еще один коллекционный образец: «Должно быть, каждый знал то драматическое чувство, когда выстроенный, вымечтанный *хрустальный замок* любящего в секунду рассыпался по земле с печальным звоном, оставляя *груды осколков*, о которые только *поранишься*. Скорее бы их собрать и вынести вон... Но человек продолжает *баракаться* среди *колючих жалких черепков*, страшно двинуться, чтобы не наступить, не уколоться: тогда сразу хлынет кровь...» Уходя от комментариев этих и подобных речевых оборотов, надо заметить, что до такой безумно-бездумной буквализации никакой сатирик еще не

дорос. Впрочем, как и до тех новообразований, которые, выражаясь словами автора, «утомили словесным обвалом» полушария головного мозга рецензента: ни в одном слове я не нашел ни «монотанца», ни «посегодня»... Но считать их продуктами некорректности корректоров нет никаких оснований, ибо по крайней мере один из «неологизмов» употреблен, выражаясь опять же словами автора, «множды». Что ж, примем их за «своеобычные» авторские эффемизмы.

Видимое-невидимое количество речевых погрешностей, а порой и настоящих речевых грехов создает невероятную трудность для восприятия книги даже не «утомленными» полушариями. (О «художественно-эстетической» составляющей рецензент вежливо промолчит.) И самый преданный фанат Олега Евгеньевича на седьмой же странице, глазом не моргнув, тут же и предаст своего кумира, вернее, вербальное (и кривоватое) отражение его жизни. А книгу — предаст забвению. И прикасаться к ней будет только пылесос.

Р. S. Книга Эльги Линдиной посвящена светлой памяти ее родителей. Отнюдь не умаляя этого факта, свой собственный экземпляр я посвятил еще и здравствующему доктору Л. М. Майдановой, признанному гуру стилистики и русского языка факультета журналистики Уральского госуниверситета (последний имел счастье закончить рецензент), ибо книга нуждается как в срочном теоретическом «диагностировании», так и в немедленной практически-стилистикаской «госпитализации». Чем рецензент и намеревается в самое ближайшее время заняться, ибо о таком органичном и энергичном актере, как Олег Меньшиков, не должно быть такой органично-ограниченной и вялой книги. По определению. Закона сохранения энергии, если хотите.



Игорь Сукачев. КОРОЛЬ ПРОСПЕКТА. М., «ЛЕАН», 1999.



У Гарика вышла книга. Вернее, целых шесть тысяч. Отлично изданных и оформленных (браво, издательство

«ЛЕАН», молодец художник Якушев!). Правда, в навязчивом супере. Под, казалось бы, не менее навязчивым названием «Король проспекта». Хотя если вдуматься в смысл заглавного стихотворения, то кажущаяся навязчивость обращается в неуловимую обаятельность: «Я — король проспекта, / Я стою здесь давно. / Я промок и продрог, / Но мне все равно. / <...> Да не пьяный я, просто гуляла бригада, / <...> Только в тачки гады не содят, хоть удавись». Кстати, о бригаде, что «в переводе с французского» значит: «производственный коллектив, выполняющий определенные работы». В 1984 году Сукачев создает, как известно, не просто «производственный коллектив», а, по справедливим замечаниям рок-музыковедов, целое музыкальное направление: «Ломаный ритм, сценичность действия и персонажей, оригинальность текстов, органичный синтез интонаций «горячего» джаза и современной рок-музыки...» Недаром тождественным названием бригады стало словосочетание «Оркестр пролетарского джаза». Абсурдистское, оно реально выражало все жанровое многообразие Гариковой музыки. И это словосочетание, мне кажется, особенно точно выражает полифоничность его книги, ибо каждой ее странице сопутствует то гротесковый, то патетический сукачевский саунд.

Книга состоит из 36 текстов песен (семи «бригадовских» и «неприкасаемых» альбомов), 55 стихотворений и текстов (внеальбомных) песен разных лет, 12 рассказов, 11 «Заметок баталиста», пяти просто заметок, одной сказки и синопсиса неснятого фильма «Дитя», а также из подробного досье Гарика, дискографии, перечня супергруппы «Неприкасаемые» (почти каждый член которой, кстати говоря, имеет высшее или среднее музыкальное образование) и выразительного предисловия режиссера Митты («Если бы химики научились разлагать московский воздух не только на химические элементы, но и на элементы жизненной активности, они всегда обнаружили бы крупницу этой сукачевской энергии жизни»). И еще из 80 фотоматериалов, среди которых встречаются копии подлинных раритетов, например, грамоты Куйбышевского РК ВЛКСМ, награждающего «Бригаду С» «за работу по коммунистическому воспитанию моло-

дежи 14 октября 1987 г.». Гарикову «работу» 1999 года отличает экзистенциальное воспитание. На примерах употребления жизни его героев и героинь: краснофлотца Степана и стахановца Дормидонта, зеленых капустниц и зубастых рыб, рядового Мамонова и старшины Анахрененко, брюхатых гомеров и рыцарей на иноходцах, поручика Фильдеперсмана и капитана Иванова, Наташи между Вокзальной и Красных Связистов и проститутки-центристки, которая обслуживает двоих, дорогого товарища Жлобина с пламенным мотором и Василия Петровича, который «план выполняет досрочно, на три унитаза дав больше стране»... В общем, все «славные бесы, чумазые боги, слезы-занозы кровью с лица...». Те, кого автор нежно зовет Великой Несчастной Страной. Деклассированная сущность одних героев соседствует с духовной возвышенностью других и с информированным оптимизмом третьих. Особенно это проявляется в «экзотическом чуде» сукачевской прозы, в которую, мне кажется, совершенно органично вплелись и набоковская языковая сочность, и гоголевская сюжетная фантазмагоричность. Это значит, что в поэте, композиторе, музыканте, актере и режиссере Гарике Иваныче Сукачеве необратимо зреет писатель.

●

И. В. Родионова. ОЛЕГ ТАБАКОВ. ПАРАДОКС ОБ АКТЕРЕ. М., ЗАО «Издательство Центрполиграф», 1999.

●

Смотреть на эту книгу — уже эстетическое удовольствие, а уж держать, наслаждаясь твердым целлофанованным переплетом, — тем более. Книга, без сомнения, удалась. И по форме, и по содержанию. Это тот редкий случай, когда издательству повезло с автором, а автору — с издательством. И, конечно же, с героем — выдающимся отечественным «культуртрегером» (здесь и далее — в кавычках — лексика автора книги), не менее выдающимся театральным бизнесменом и даже гипотетическим управляющим российским театральным банком, если, развернув авторский образ, посчитать «загадочную» систему К. С. Станиславского «нашей свободно

конвертируемой валютой», а в общем, с «гражданином мира» Олегом Павловичем Табаковым. Казалось бы, с таким «счастливым» автору просто не может не повезти. Однако не каждый автор способен умело, «легко и весело» описать такой «айсберг», как Табаков! Как, по моему мнению, не произошло этого при создании предыдущего театрального романа об О. П.: смею утверждать, что филологическая основательность «известного специалиста по драматургии» Владимира Бабенко окрасила впечатления читателя от книги «Путем души, путем таланта: Олег Табаков на сцене и в жизни» в серые пастельные тона. Чего никак не скажешь о книге Инессы Родионовой: ярко, живо и обаятельно, хотя основа книги та же, что и в «предыдущем романе», — бесконечно ценные беседы и интервью О. П. Табакова. На каждой из 379 страниц — самый крупный киношный план героя и самый ненавязчивый общий план автора, что в театроведческом эпосе — большая редкость. Автор просто растворяется в своем герое, как профессиональный режиссер в профессиональном актере. Вернее, почти растворяется, лишь иногда — в увлечении авторскими ремарками — выдвигаясь на один план с героем. Например, так: «Я знал всё (И. Р. цитирует Табакова. — О. Д.), где и что можно, чего нельзя, вел двойную жизнь, ловил... (Все порядочные люди вели двойную жизнь еще много лет, пока продолжался нескончаемый застой, только не все в этом признаются. — И. Р.)». Или так: «Шабаш, иначе и не скажешь, развернулся вокруг 100-летия со дня рождения Ленина. Все театры должны были что-то посвятить юбилею. Выкручивались как могли, но все же большинство театров СССР <...> поставили пьесы, где на сцене появляется сам вождь <...> Вот если бы собрать в одном месте всех исполнителей роли Ленина, загримированных под вождя, — это было бы зрелище не для слабонервных!» Эти субъективные авторские «наслоения», конечно, несколько осложняют последовательное восприятие текста, но это, скажем так, издержки, которые можно и не замечать, — издержки таланта, а книга, бесспорно, талантлива. Значит, можно сказать, что и герою повезло с автором.

Олег ДУЛЕНИН

Сценография быта

●
Сергей Бардин. ЛОМБАРД. М.,
«Золотой век», 1999.

●
В книге Сергея Бардина есть цикл рассказов, связанных с искусством фотографии. Думаю, что и в собственном писательском методе автор во многом идет от этого: работает над расстановкой фигур, углом съемки, экспозицией, и, как на фотографиях, в его сценах нет ничего лишнего.

Судя по деталям быта, в сборнике представлены рассказы, написанные и в начале семидесятых (цикл «Развеселый разговор»), и в последние годы. Причем повторяются — быть может, таковы требовательность автора к слову, тщательность редактуры? — те же продуманно отобранные реплики, та же угловатая статичность фигур, тот же узнаваемый авторский тон, насмешливая стилизация, за которой чувствуются уроки Зошенко. Сопоставление с мэтром в случае Бардина говорит только о традиции, общем сатирическом направлении таланта: его проза — более серьезная, рассудительная и, к сожалению, более частная. Занять нишу почетнее, чем плыть в потоке, но по его, автора, силам стать фигурой в направлении, а то и возглавить его.

И свидетельство этому — написанные с воодушевлением и необычайно смешные рассказы «Человек года» или известная «Гайка леворезьбовая, клин стальной». Случаи, факты, темы опять же вроде бы узкобытовые: ремонтный сервис, женский вопрос, — но в них Сергея Бардина словно непроизвольно сносит с его серьезно-рассудительных, ворчливых крепей а-ля Собакевич, и он являет неистощимый талант юмориста (а местами и трагика). Это не тот юмор, когда, отсмеявшись после мимических кривляний чтеца, уже не помнишь, о чем шла речь, а юмор смешных положений, остроумных словесных формулировок, сарказма, здоровой злости.

Книга вышла под занавес тысячелетия и представляет «избранное» Бардина. Увы, российская жизнь до того био-

логична, а проще сказать — косна, что одаренный остроумием беллетрист (взять хоть Чехова, хоть Аверченко и того же Зошенко) развивается под ее давлением в одном и том же направлении: от веселости — к скепсису, от хорошо кадрированной сценографии — к мудрости, слегка подкрашенной философическим лиризмом. Потому что мудрость — это ведь иначе названное состояние немощи. Между тем впечатление на читателя производят именно сцены, бессюжетные рассказы (может, оттого, что сюжетосложение нашим писателям не дается). И в этом-то вся прелесть — чтобы не отступать от найденного слога, освежать его все новыми и новыми примерами.

И Сергей Бардин, словно спохватившись, что нанес в свой ломбард многократно вытертых лисьих воротничков, вдруг одаривает нас рассказом на современном материале «Как Ленин и Сталин валюту меняли», выясняя роковой вопрос: чем же все-таки наш образ жизни отличен от западного?

Есть у Бардина еще одно — редкое в наши дни! — качество, которое я, не боясь высокого слога, назвал бы гуманизмом. Посмеиваясь, автор своих героев любит, жалеет и как старший брат их опекает, умеет выявить человеческое достоинство в замордованном вроде бы человеке (рассказ «Гора Ли, река Че»). Совсем не склонный к сантиментам в привычном понимании слова, он может так подать своего героя, что, беспомощный, тот вызывает и сострадательную грусть. Очередь, троллейбусная перебранка, выпивка, баня... В городе на каждом шагу происходят сцены, полностью выявляющие характер, и Сергей Бардин хорошо умеет их подсмотреть, определить, заключить в словесную рамку. Кукла Катя не просто кустодиевская по колориту купчиха, но и вместе — тип вальяжной русской женщины, объект вожделения южан. О ней можно было бы много философствовать, если бы не знать, что экспансия от экватора — явление повсеместное. И — чудное дело — даже эту острую проблему-занозу Бардин умеет подать так, что хозяйку восточного ресторанчика вьетнамку Раю как агрессора мы не воспринимает: живой человек, со своим кодексом чести. (И уж кстати: когда вот так, через кинематографические ходы и «режиссу-

ру», писатель свои сцены улучшает, это у него получается и вовсе мастерски.)

Алексей ИВИН

Записи о «Записях»

●
М. Л. Гаспаров. ЗАПИСИ И ВЫПИСКИ. М., «Новое литературное обозрение», 2000.

●
Личность определяется не тем, что в тебе есть, а тем, чего в тебе нет: ты ее проявляешь, не делая того-то и того-то. Этому и учил Сократа Демоний».

М. Гаспаров. Записи и выписки

Вот уже много лет я сама каждый день печатаю на машинке так называемые «записи» (под числом). Сон снился такой-то, дети из школы принесли такие шутки, на скамейке тетя Капа сказала вот что, а по телевидению говорят следующее... Прочитала еще то-то и то-то. О прочитанном иногда подробно. О книге Гаспарова у меня много всего написано.

Мудрейший, остроумнейший Гаспаров выпустил книгу «Записи и выписки». Я ее наконец-то купила! Частично «Записи» печатались в «НЛО», мне их восторженно пересказывал в свое время Боря (профессор-литературовед, мой друг). Особенно ему нравились сны, в том числе сон сына Гаспарова о русской литературе. И вот книга в руках. Счастье! Давно не читала столько всего нужного для души! Веселого (так называемый смех сквозь слезы — он самый дорогой). Запись на слово «Прогресс» (одна из): «В младших классах меня били, в старших не били, поэтому я и уверовал в прогресс». И рядом еще более глубокое замечание: «Для вас прогресс банальность? Но только благодаря прогрессу мы и разговариваем с вами: тысячу лет назад мы бы оба умерли во младенчестве». Замечу в скобках, что тысячи человек умирают и от прогресса (аварии на АЭС и тому подобное), поэтому тоже не

могут разговаривать друг с другом... А вот совсем открытие для меня: «За свободу не нужно бороться, свободе нужно учить» (жаль, что нет сноски — кавычки есть, а автор изречения не назван!). Есть несколько высказываний на слово «свобода». В том числе одно такое: «На чукотском языке нет слова “свободный”, а есть “сорвавшийся с цепи”» (далее — про Кубу). Меня поразило, что свобода М. Гаспарова, увы, тоже порой... чуть не под это определение подпадает, даже по два раза перечитываю, глазам не верю. Так я от восторгов быстро перешла к грустным размышлениям. «Если бы она (мать) захотела, чтобы я убил человека, я убил бы: помучился бы, но убил». Но, друзья мои, есть же презумпция невиновности! Мать еще не захотела, чтоб М. Г. убил человека! Зачем же об этом говорить? Я понимаю, что теоретик тем и отличается от практика, что все время теоретизирует, прокручивая в уме разные схемы. Но есть и пределы! Не надо приносить зло в этот мир. Его предостаточно и без нас. По возможности не добавляйте... Сыну М. Г. говорит, что цели в жизни нет, а есть одни причины. Но если вы верите в прогресс (а видно по другим записям, что верите), то скажите хоть: мол, для прогресса будем стараться! Зачем же про отсутствие целей?! Этак у читателя тоска на сердце заведется... и завелась у меня.

Но все же пишу я глупость! Никого ничему нельзя учить. И об этом сам М. Гаспаров: «Все можно сделать, если захотеть, только захотеть нельзя, если не хочется» (Дневник А. И. Ромма, РГАЛИ).

Или: «Павлик Морозов». «Не забывайте, что в Древнем Риме ему тоже поставили бы памятник. И что Христос тоже велел не иметь ни матери, ни братьев. Часто вспоминают “не мир, но меч”, но редко вспоминают, зачем». А я не уверена, что Христос одобрил бы Павлика Морозова. Он в пятой заповеди велел чтить отца и мать! Почему мы не должны забывать, что в Древнем Риме Павлику тоже поставили бы памятник? О таком и забыть можно... чтоб не соблазнять малых сих. Все время надо думать: не соблазняют ли я малых?.. (я так думаю).

Иногда я, конечно, снова от радости вся светилась, читая (в следующий раз). «Порядок»: «Восп. дочери о Шолом-

Алейхеме: “Когда все у него на столе расставлено в порядке, он не пишет: сидит и любитесь на порядок”. Это уж точно! У меня где-то есть запись, что «когда скатерть красиво положена на стол, то все время хочется еще на миллиметр ее сдвинуть, чтоб еще идеальнее ровно легла, а потом видишь, что переборщил, двигаешь назад — и так весь день!» Но тут же листаю книгу и вижу: «Отцеубийство». «“Это воздаяние добром за зло” (записи Хаусмена). Я вспомнил начало рассказа Бирса: “Однажды я убил моего отца, и по молодости лет это произвело на меня сильное впечатление. Я пошел посоветоваться к полицейскому начальнику. Он меня понял: он и сам был отцеубийцей с большим стажем...”» (конец не цитаты, а конец записи М. Гаспарова).

Ребята, если это юмор, то на глубине нет юмора! Где убийство, там нет юмора. Я так полагаю, что даже М. Гаспаров, который мысленно, в порядке бреда, думает, что убил бы кого-то, если бы мать приказала (о чем сам написал черным по белому), то даже он не смог бы стать отцеубийцей в теоретическом таком рассуждении! Зачем же нам он предлагает сей бред Бирса? Бирса мы читали и отбросили, от Гаспарова ждали не этого... увы.

И вдруг открываю (на своей закладке) про дружбу: «Дружба казалась мне актом односторонним: если Александр дружит с доктором, это не значит, что доктор дружит с Александром». Я тут вырвала кусочек, не полностью привела, а лишь то, что меня взволновало. Дело в том, что я сама так «односторонне» дружу со многими! Одна подруга говорит всем, что я ее приятельница, а для меня она не приятельница, а именно подруга. И дело не в разнице понимания терминов, дело именно в односторонности дружбы. Всегда кто-то дружит более страстно, более ревностно... Но после моего радостного всплеска — снова горе: «А что если ахматовский “Реквием” — такие же слабые стихи, как “Слава миру”?» Да не восклицайте вы: «А что если», — когда речь идет о кровном, о памяти убиенных невинно! Если считаете, что стихи плохие, то докажите, и мы примем к сведению. А если не доказали, то молчите хотя бы! Зачем снова без нужды привносить демонизм в нашу душу! Вот я никак этого не понимаю. Честное слово!..

И так я читала книгу М. Гаспарова, радуясь и недоумевая. А кое-где — не понимая вообще. «Муха-цокотуха». Однако в тексте про нее ни слова. Но — в подтексте, может? Тут ума мне не хватило, значит? А кому хватит? Все ли уж меня умнее на сто голов? Я так думаю, что не все, для таких, как я, средних, можно и нужно кое-что попонятнее. Но тут я могу и ошибаться. Только я так любила «Занимательную Грецию» и «Избранные статьи», что жадно стала глотать «Записи», а в них — много для меня неприемлемого. О чем и хотела сказать.

Нина ГОРЛАНОВА

Белый флаг Эпштейна

●
**Михаил Эпштейн. ПОСТМОДЕРН
В РОССИИ. Литература и теория. М.,
«Издательство Р. Элинина», 2000.**

●
Если бы Кутузов жил в наше время, он, конечно, не стал бы полностью сдавать Москву неприятелю даже на короткое время, и Грозный не штурмовал бы с ходу. Весь цивилизованный мир воюет теперь по-кутузовски, с поправкой на технику (впустить Садама Хусейна в Кувейт, нанести точечные удары и, не дожидаясь морозов, погнать).

Вот и в сфере современных не очень изящных искусств, как считает Михаил Эпштейн, в своей новой книге «Постмодерн в России» интерпретируя творчество художника Ильи Кабакова, пришло время для кутузовской, а не наполеоновской тактики противодействия пустоте. Правда, при этом он еще называет кабаковское творчество «искусством медленной, расчетливой капитуляции», тогда как, помнится, отступательная или осадная (на турецком фронте) тактика Михаила Илларионовича была все же всегда нацелена на победу, а не на капитуляцию.

В целом книга отмечена возросшей точностью точечных методологических попаданий в той семиотической войне по ознакомлению пространства

былой семиократии (идеократии), ныне деидеологизированного и постмодернистски бесхозного, в которой давно уже участвует литературовед и культуролог Эпштейн. В его былых, всегда интересных и проблемных, непростых для восприятия книгах, количество которых достигло теперь чертовой дюжины, порою встречались и явные неточности. К примеру, сравнивая и противопоставляя кавказский и крымский пейзажи в книге «Природа, мир, тайник Вселенной...», посвященной русской пейзажной лирике (1990), он писал: «Кавказ возвышен. Крым прекрасен, в том именно смысле, в каком различала эти понятия старинная эстетика... “Ужасы природы” — так определял противоречивую сущность Кавказа Державин...» Однако литературный контекст как таковой свидетельствует, что поэтические «первопечатления» зависят не столько от природных красот самих по себе, сколько от структуры обозревающего их взгляда. Младший современник Державина Семен Бобров именно в Крыму, только что завоеванном, был потрясен «священными ужасами природы» (А. Люсий. Пушкин, Таврида, Киммерия. К проблеме литературной мифологии. М., «Языки русской культуры», 2000).

В последней книге Эпштейна представлен культурологический пейзаж в большей степени теоретически отвлеченный, типа морфологических ландшафтов Джамбатисто Вико и Освальда Шпенглера, охарактеризовавшего когда-то русскую культуру как постоянно перетекающую в чужие формы «псевдоморфозу». Шпенглер, помноженный на Чаадаева, позволяет сделать глобальный семиотический вывод, что истинным истоком заполонившего мир постмодернизма является Россия, изначально постмодернистская страна. Ведь «строительство Петербурга, как и раньше крещение Руси, были блестящими цитатами из текстов западноевропейской и византийской культуры, что с самого начала предопределило цитатническую судьбу культуры российской». Трактую переход от модернизма к постмодернизму как переход от «супер» к «псевдо», Эпштейн предлагает рассмотреть коммунистическую революцию как вспышку политического модернизма (хотя и враждебного мо-

дернизму художественному). В целом же коммунистическая эпоха явила типично постмодернистский опыт сворачивания знаковых систем, их погружения в себя. А горбачевская «перестройка» обнаружила типологически сходные моменты с «деконструкцией» Деррида (первая вскрыла поддельный характер советской социальности, основанной на утопической общности взаимно отчужденных индивидов, вторая показала иллюзорность в основе структуралистской рациональности, в самом понятии структуры, которая оказалась всего лишь полем игры децентрализованных знаков и рассеянных значений). Искусство соц-арта стало ностальгией зреющего постмодерна по начальной коммунистической фазе и в то же время осознанием условно-знакового характера созданной всеохватывающей гиперреальности. Так что миру следует теперь поучиться у России, для которой опыт типологического «нового средневековья» уже в прошлом (теперь ей, врезавшейся в арьергард человечества, в Новое время входить надо). Отчасти идея извечного российского постмодерна у Эпштейна напоминает метафорическую теорию вечного латиноамериканского барокко у Алехо Карпентьера. Впрочем, урок этот, как следует из дальнейших, не лишённых внутренних противоречий рассуждений Эпштейна, имеет при всей заслуженной семиотической гордости скорее отрицательный характер. Ведь следствием российской «псевдоморфозы» стали не только блестящие цитаты, но и невероятная чувствительность к *призракам* чужих культур, склонность наделять их плотью и кровью. Вот и построенный в России «гипер-Запад» («архипелаг Запад»), по мнению автора, является уникальной, единственной в истории, порочной и пьянящей формой имитации чужой культуры, хотя здесь вполне можно было бы провести типологические параллели со строительством компрадорского капитализма в Африке.

С одной стороны, Эпштейн, примеряя маску информационного Мальтуса, развивает идею общей постмодернистской травмы: «Избыток разнообразия может так же травмировать, как избыток повторяемости и однообразия. В этом смысле бесконечный информаци-

онный поток Запада по своему травматическому воздействию соотносим с чудовишным упорством и однообразием советской идеологической системы». Он считает нужным предупредить мир о возможности в XXI веке информационных бунтов, предтечей которых является изощренная компьютерная вирусомания, о наступлении постинформационной эпохи, которая на каждую единицу информации поставит тысячи децибел смыслового «демократического» шума. С другой стороны, коммунальные рисунки с подписями Кабакова позволяют автору сделать вывод, что за полтора столетия, прошедшие после Чаадаева, ощущаемая им воронка исконной российской пустоты «успела развернуться в страшную евразийскую пропасть, по краям которой идет непрерывный обвал... Россия стала черной (то есть уже не семиотической? — А. Л.) дырой человечества». Поучиться тут можно разве что искусству неискренней капитуляции перед этой пустотой, с тем чтобы поставить на нее нечто вроде капкана из почти незримой сети образов и слов. Эти точечные попадания концептуалистов имеют сугубо археологическое значение, так как воскрешение теперь возможно только «в новом теле», хотя и с памятью о некоторых, преимущественно из мусорной (включая и языковые отходы) сферы, элементов еще семиотически не убитой до конца вещественности. Говоря о возможных «юридических компьютерного века», сам Эпштейн методологически юродствует: «Потемкинская деревня — вот наше предвосхищение постмодернизма, иллюзия, произведенная по всем правилам раритета и успешно его замещающая». Урок из черной дыры, прикрытой «потемкинской деревней», грозящей обернуться капканом, — это, конечно, на любителя.

Отдельные методологические проникновения Эпштейна нередко отличаются поучительной глубиной. Бесспорной удачей является его перевод считавшегося непереводаемым понятия «интенциональность» на русский язык как «о-ность», т. е. свойство быть «мышлением о...». Это на фоне наличия в русском языке, помимо переходного глагола «думать» (с тем же «о»), переходного глагола «мыслить»,

который без посредничества предлогов «прямо» переходит на предмет, превращая «вещи-в-себе» в «вещи-для-себя» и тем самым беря на себя ответственность за них. Отсюда уникальная традиция русского мыслительства, «блаженство мыслимости всего, непосредственной доступности его не только для познавательных, но и властных, жизнестойких актов мысли». Но в каком отношении к этой традиции находится нынешняя литература арьергарда, которая, спасаясь от «дыры», «просит убежища у языка» и даже принадлежность к определенному жанру или нумерацию страниц готова воспринимать как «охранные вышки эстетического ГУЛАГа»?

По мнению Эпштейна, впереди, после всех попаданий и промахов, нас ждет новая мерцающая эстетика «слагательной модальности». Впрочем, приведу типичный образец сослагательной стилистики из переписки московского двора со стамбульским в начале XVI века: «Ведомо было бы султану, что мы с Менгли-Гиреем были в братстве и дружбе и его дети через свою и отца их правду делают набеги на наши украины, поэтому если они будут продолжать это, то мы будем делать с ними свое дело, как нам Бог поможет. Да султан первую дружбу учинил бы, — сделал бы какую-нибудь помешку нашим недругам» (Г. Карпов. Отношения Московского государства к Крыму и Турции в 1508—1517 годы. М., 1867). К столь стародавнему примеру я был вынужден обратиться в пику вопиющему на фоне отмеченной им мировой информационной избыточности использованию Эпштейном стереотипов «времен очаковских» (образца маркиза де Кюстина). Разве пресловутые «потемкинские деревни» затмевают действительные потемкинские города (Херсон, Севастополь, Одессу) да и массу отнюдь не виртуальных деревень, в которых, кстати, началась была реальная экономическая «американизация» удачно приобретенного разнообразными потемкинскими стараниями юга? Предлагаю бесконтактно насладиться виртуальным мерцанием России над развернувшейся на ее месте на исходе XX века пропастью как уникальным произведением постклассического искусства и исторической игрой, Эпштейн, один

из самых интернетовских авторов, почему-то оговаривает некомпьютерный характер этой игры (получается, почти по Г. Миллеру, «черная дыра» семиотического удовольствия!). Но почему бы сейчас «продвинутым» не провести именно компьютерную (а какую еще?) игру по реставрации, скажем, оказавшихся за кордоном, исчезающих из реальности памятников российского садово-паркового искусства XVIII—XIX веков?

Впрочем, последнее, конечно, дело вкуса. Эпштейну ближе «немного игра» в художественном мире Андрея Синявского, хранителя «естественной, теплой абсурдности человека» — достойного ответа холодному абсурду жизни, который значим для России как пролагатель путей от соцреализма к постмодернизму, а для утратившей вкус к архаике западной культуры — как объединитель постмодерна с фольклором («домодерном»).

Что касается самого Эпштейна, для Запада он оказался наиболее интересен именно в своем «потемкинском» («прожектерском») качестве, причем не в пространственной (типа «Греческого прожекта»), а во временной сфере. Об этом свидетельствует его успешное, с попаданием в первую десятку, участие в Международном конкурсе эссеистики по вопросу «Освободить прошлое от будущего? Освободить будущее от прошлого?» с вполне самокритичной темой «Хроноцид». В обозреваемой книге (с целью возрождения любви к будущему) он предлагает для текущего момента еще один термин-приставку «прото» как новое, ненасильственное отношение к будущему в модусе «может быть» вместо прежнего «должно быть» и «да будет». Для России, слишком слабо укорененной в прошлом и потому замороженной будущим, предлагается дополнительная темпоральная реформа по деактуализации будущего, которое из обетованного места должно превратиться в «чистую неизвестность». Тут, как говорится, стерпится — слюбится. «Протеизм, — обращается автор не только к России, но и к миру, — искусство капитуляции перед будущим». Все же неясным остается, в какой фильтрационный лагерь помещать при этом прошлое, от ближайшего столкновения с которым Россия тоже оказалась ввергнута в шок.

Книга Эпштейна — существенный шаг в деле организации, сквозь все пространственно-временные шоковые терапии, Нюрнберга с эстетическим лицом. Россия (не боясь автор откровенно перефразировать и Ленина) выстрадала себя прежде всего как эстетический феномен. Что же, страдания и страдательность здесь — национальный жанр на самых разных уровнях, которые нужно теперь методологически перестрадать (пере-прото-...).

Александр ЛЮСЫЙ

Краткость — сестра таланта

●

**ЖУЖУКИНЫ ДЕТИ, ИЛИ ПРИТЧА
О НЕДОСТОЙНОМ СОСЕДЕ.** Антология короткого рассказа. М., «Новое литературное обозрение», 2000.

●

Зададимся вопросом: зачем вообще собираются антологии? С какой целью десятки авторов укладываются в многоместные «братские могилы», когда с трудом отличаешь одного покойного от другого? Ответов может быть много: чтобы поставить вешку над сочинениями определенного жанра, чтобы предать гласности творчество какого-то круга, чтобы соответствовать эпохе наконец. Магическое число «2000» провоцирует подводить итоги, составлять энциклопедии и списки живых и мертвых классиков (вспомним грандиозные проекты: «Строфы века», «Самиздат века» etc.). При этом, правда, творчество отдельно взятого автора редуцируется до короткой подборки, а то и вовсе единственного текста, так что «лица необщее выражень» зачастую распознаешь с трудом.

И все-таки: если антологии собирают, значит, это кому-нибудь нужно. Может быть, более других это относится к вышеупомянутой антологии короткого рассказа: жанр насколько расхожий (кто из литераторов не баловался подобным сочинительством?), настолько же и маловостребованный на журнально-книжном рынке. Вроде как не

очень солидный жанр, особенно если автор обращается к нему время от времени, а не пишет миниатюры всю жизнь и не имеет соответственно ПСС таких текстов. Между тем в предисловии Андрей Битов пишет: «Краткость, как известно, в родстве с талантом. Может, даже и не сестра его, а мать. Сказать как можно короче, выразив и не утратив, а даже приумножив, и есть искусство прозы. В этом смысле “Война и мир” — тоже короткий рассказ». Последняя фраза, конечно, метафора: далее Битов говорит, что в русской классике за исключением тургеневских «Стихотворений в прозе» и опытов Толстого для детей мы не найдем образчиков короткого рассказа. Только в XX веке он расцвел пышным цветом, заколосился десятками сортов (стилей?) и стал заполнять ящики столов и разгонять скуку литературских посиделок. А в конце века в сей костер плеснули еще бензинчика, а именно: в нашу жизнь вошел его величество Интернет. А жанр короткой эпистолы (рассказика, анекдота, миниатюры, страшилки etc.) в Сети, как известно, наиболее востребован.

Словом, выбирать составителю Анатолию Кудрявицкому было из чего. Как он признается: «Тексты лавинной обрушились на составителя... В нашем распоряжении было гораздо больше заслуживающих внимания рассказов, чем могла бы вместить эта книга». Поэтому пришлось ограничиться только второй половиной XX века; а еще — отбросить реалистические рассказы и фельетоны в жанре злободневной сатиры, собрав под одну обложку лишь представителей «магического реализма». Что понимать под этим термином? Ответ дает французский критик Эдмон Жалу, который цитируется в послесловии от составителя: «Роль магического реализма состоит в отыскании в реальности того, что есть в ней странного, лирического и даже фантастического — тех элементов, благодаря которым повседневная жизнь становится доступной поэтическим, сюрреалистическим и даже символическим преобразованиям». Остранение, абсурд, намеренный анахронизм, смешение сна и реальности — вот далеко не полный список приемов, которые используют подобные авто-

ры. Вообще-то приемы знакомые, почти привычные, и в нашем случае уместно рассмотреть: насколько интересно воссоздают помещенные в увесистый том авторы ту самую магическую реальность?

При беглом чтении тома возникает интересный эффект: на чем-то хочется остановиться, а что-то (после прочтения одного текста из подборки) — пролистать. Возможно, это обычный «антологический синдром»: вкусы конкретного читателя не столь широки, чтобы откликнуться на произведения без малого сотни авторов. Кто любит, как говорится, попа, кто — попадаю... Тем не менее хочется вспомнить Уильяма Фолкнера — мировой классик, как все знают, за сочинением миниатюр замечен не был, и не случайно. В его иерархии литературной трудности на первом месте стоит написание лирического стихотворения, на втором — короткого рассказа. Роман же, по признанию Фолкнера, — жанр многословный, громоздкий, «резинивый» и потому к трудным не относится. Не будем обсуждать, насколько легко написать роман (вспомним Битова: хороший роман — тоже в определенном смысле миниатюра), но вот полноценный, емкий и парадоксальный короткий рассказ написать действительно трудно.

К сожалению, часть текстов антологии эти трудности обходит. Критерию заявленного «магизма» они, допустим, соответствуют, однако и остранение может не удивлять, и абсурд казаться вымученным, и сновидения с явью можно мешать волюнтаристски, благо живем в постфрейдовскую эпоху. Поэтому рискнем привлечь другие критерии: сходную со стихотворной «тесноту ряда», к примеру. Словом тесно — мыслям просторно, иначе говоря, предельная концентрация смысла. Или парадоксальность, неожиданность, поскольку реальность противоречива и вскрывать эту противоречивость и удивлять читателя — прямая обязанность художника. В общем, задачи тут те же, что и в любом другом тексте (опять почему-то вспоминается Фолкнер: «Я стремлюсь в своих произведениях уместить мир на кончике булавочной головки»). Но если в новелле или повести, имея навыки, еще можно развесить «стреляющие ружья», рас-

ставить «рояли в кустах» и в итоге — добиться поставленной цели, то в пространстве миниатюры сделать это намного сложнее.

К чести составителя, однако, надо сказать: читаешь тут больше, нежели пролистываешь. Собранные под одну обложку тексты представляют богатейшую, как выясняется, традицию, в которой уже существуют школы, течения, ну и, конечно, свои признанные классики. Дойдя до подборки Генриха Сапгира, например, с первой же притчи увлекаешься и не останавливаешься до конца. Почему Жизнь женится на Смерти, как жили-были Крики Боли и кто такие вынесенные в название Жужукины дети — рассказано кратко, мудро и с неподражаемым сапгировским юмором. А единственный рассказ Игоря Бахтерева «Притча о недостойном соседе» символически представляет тут всю стилистику обэриутов, оживляя великие тени мастеров этого жанра.

По мнению составителя, именно группа ОБЭРИУ дала начало петербургской сатирико-абсурдистской школе короткого рассказа. К ней относятся, например, Валерий Попов, Виктор Голявкин, Олег Григорьев, которые не повторяют, разумеется, предшественников, а развивают направление каждый в своем ключе. Московская школа магического реализма складывалась не так быстро, ее авторам пришлось работать в одиночестве, в ситуации «глухоты паучьей», когда публикации фактически отсутствовали. Тем не менее с конца 60-х годов такие авторы, как Евгений Кропивницкий, Георгий Балл, Роза Хуснутдинова, Михаил Соковнин и другие, активно осваивали жанр, результаты же освоения мы видим в анто-

логии (многие тексты, к слову сказать, публикуются впервые). Позже в этом же направлении стали работать Юрий Мамлеев и Людмила Петрушевская, Дан Маркович и Константин Победин, Нина Габриэлян и Алексей Андреев. Что, спросите, общего у жесткого метафизика Мамлеева и, к примеру, у лирика Нины Габриэлян? Анатолий Кудрявицкий считает: все они представляют лирико-импрессионистическое направление в миниатюре, что вообще-то не бесспорно. И у Мамлеева, и у Андреева, и у Петрушевской мы обнаружим предостаточно сатирико-абсурдизма, но — спорить не станем. В конце концов собирателю и составителю требуются какие-то классификационные принципы, тем более что в послесловии приводится цитата из М. Бахтина: «Циклы можно создавать, но вообще каждая вещь сама себе довлеет — она сама по себе ценна». Точно так же можно создавать школы и авторские обоймы — все равно каждый автор будет «довлеть самому себе».

Знакомясь с книгой, начинаешь различать: кто считает писание в таком роде, можно сказать, делом жизни и единственно возможной стилистикой, а кто лишь совершил десант на остров короткого рассказа, чтобы вскоре вернуться на материк больших форм. У одного автора видишь преобладание реалий прошлого, у других, помоложе, в тексты врывается современность.

Так что, думается, данная антология — вовсе не «братская могила». Скорее уж — с толком оформленный музей, по залам которого довольно интересно ходить.

Михаил СКВОРЦОВ



Кирилл КОБРИН

Письма в Кейптаун о русской поэзии

В пятом номере «Октября» за этот год было опубликовано первое мое письмо Петру Кириллову — старому другу по горьковской юности и молодости 80-х, эмигрировавшему в 1990 году в ЮАР и добившемуся больших успехов в невероятно трудной и тонкой профессии — виноделии. Перед вами — уже третье.

«Письма в Кейптаун о русской поэзии» многим обязаны гумилевским критическим эпистолярным, а также «Письму в Пекин» Михаила Кузмина. Впрочем, в них не будут выстраиваться никакие новые поэтические иерархии, не будут рушиться никакие старые. Концептуально автор бездарен. Литературной политикой не занимается, будучи сугубо частным лицом, проживающим в сугубо провинциальном городе. Хорей от ямба, пожалуй, отличит.

(Ниже следующие письма, сколько бы их ни было напечатано, есть сокращенные варианты электронных писем, посылаемых автором Петру Кириллову. Сокращению и исключению подверглись только те их части, где речь идет о материях совсем не поэтических.)

Письмо третье

23 августа 2000 года

Нет, Петр,

сказать тебе, что я потрясен, — значит, не сказать ничего. Ты бы видел морды моих соседей по известному тебе подъезду — засранному, заблеванному, облезлому, — когда у него остановилась начальническая черная «Волга» и из нее выполз черный же африканец в безукоризненном опять-таки черном костюме и, белозубо улыбаясь, указал хамоватому шоферу на картонный ящик на заднем сиденье. Прошествовав мимо неторопливо пьющих водку безработных литейщиков, они затаив дыхание проскочили две большие лужи у лестницы, утопили подплавленную кнопку лифта, затем — тоже подплавленную кнопку девятого этажа и, наконец, — еще не успевшую быть подожженной кнопку тридцать третьей квартиры. Моей. «Кто там?» — услышали они голос из-за двери. «Здесь живет Кирилл Кобрин?» — вопросом парировали пришельцы вопрос хозяина. «Да, это я». «Здравствуйте, вас беспокоит секретарь культурного атташе посольства Южно-Африканской Республики Хорас Мбирну. У меня для вас посылка».

Це была посылочка, гарная посылочка, Петенька. В картонном ящике... да, впрочем, ты же ее и собирал... восемь бутылок твоего «Cabernet-Sauvignon» и ровно столько же — «Riesling». Це же была радость у меня, хлопца гарного: и тебе Белинский, и тебе Красницкий! Гран мерси, дорогой! Как ты уговорил посольство отправить ко мне дипкурьера эдаким Хлестаковым? Тут ведь к его приезду весьма распростарались местные городничие: и «Дни Южноафриканской культуры в Нижнем Новгороде» провели, и рок-концерт «Памяти рок-концерта в защиту Нельсона Манделы». Говорят, не обошлось даже без потасовки с конной милицией...

Теперь вот сижу, умащаю глотку захладелым вкусом твоего производства рислинга и благодаря эпитуе (помнишь?) возвращаю к нашим баранам, то есть к нашим ягнтям, агнцам, еще точнее — к золотому руну русской поэзии. Ты — винодел, который без ума от русской поэзии; в русской поэзии (и прозе) есть автор, который

без ума от виноделия, — Игорь Померанцев. Помнишь его раздвинувшегося от лексического обжорства «Возлюбленного» в суверенном «Роднике»? Недавно вышла его книга, которую тебе непременно надобно заказать у книготорговца, ибо называется она «Красное сухое». Там и стихи есть, так что жанра нашего эпистолярия я не нарушаю... Да и проза Померанцева — как стихи, особенно где про красное (да и про белое тоже ничего — сдается нечто поэтическое, как говаривал князь Вяземский). Посуди сам (из отчета о дегустации в лондонском клубе «Иберия»): «Шесть проб позади. Целый календарь, отливной календарь. Пустых бутылок на столе так много, что зал кажется зеленой. Легко постанывают пробки. Красное «Монте Реал Гран Резерва» 1970 года. На запах — гречиха в цвету. На вкус — вялый шелк. Пожилое вино, кроткое». Замечу, что твое «Каберне» «кротким» не назовешь. Оно густое и душное, медленное, объемное и... не очень поворотливое. Может задушить в своих неторопливых объятьях. В следующий раз в картонном ящике счет должен быть 3:1 в пользу «красных». Шутка.

Померанцев тебе, безусловно, понравится: и как автор, и как потенциальный покупатель. Демонстрирую его питейное кредо, его «на том стою!»: «Вот что я ненавижу: пристойные, но безликие вина на всякую глотку». Вина твои, Петр, тоже не отнесешь к серийному мейнстриму; не знаю, кто уж тут постарался — твой ли благоприобретенный опыт, морщинистые ли, высохшие руки антиподских батраков, подгоревшее ли солнце южного полушария. О нем, родимом, о мейнстриме, только не винном, а поэтическом, я тебе сегодня и черкну пару электронных страниц.

Помнишь, когда мы еще были советскоподданными (советскоподдатыми?) и катались на толкучку торговать-меняться пластинками с бесподобными патлатыми группами, что называлось тогда «мейнстримом», «рок-мейнстримом»? Уверенная в себе, тяжеловатая забойно-балладная музыка, оснащенная хриплыми голосами, гитарными запилами, сентиментальными аккордами чуть надтреснутого фоно. «Слушать можно», — так говорили мы о ней. Сейчас, двадцать лет спустя, эти хрипуны, удушливики, фаготы живее всех живых: морщинистомордые, обновленные всяческой абстиненцией и тотальным переливанием крови, тщательно разлохмаченные, они все поют свой нескончаемый «Ветер перемен», свое разлитое «Крэйзи». Мейнстрим есть мейнстрим. В джезе дело обстоит примерно так же, если не хуже. Мы-то с тобой всегда любили нечто остренькое, необычное, дикое и смурное. И в стихах тоже. Потому тогда, в восьмидесятые, нам было не до бурного основного стихотворного потока, хотя дань ему и отдавали. По белке с дыма. Сейчас, когда наиболее актуальным потоком для тебя являются мощные течения вокруг мыса Доброй Надежды, попытаюсь прояснить тебе (и себе в первую очередь), что же такое — русский поэтический мейнстрим сегодня¹.

Из чего он состоит, как сделан, где следует искать его истоки и смысл? Вот что пришло мне в голову между двумя глотками соломенного рислинга. СРПМ глубоко консервативен, если не сказать — реакционен (что не является, конечно, оценочной категорией; я, например, с детства обожал махровых реакционеров). Его генеалогия довольно скудна и включает в себя Тарковского и Слуцкого, поздних Заболоцкого и Пастернака; иногда (по культурно-географической склонности) либо Мандельштама, либо Есенина, либо Ходасевича. Подавать, припудрив пылью с раздавленных набоковских бабочек. Среди классиков жанра — Чухонцев, Рейн, Кушнер. Список открыт.

Он состоит из негромких культурных, чаще всего рифмованных, стихов про природу, любовь, бытовые перипетии, артефакты. Стихи — иллюстрации к фильмам про всяческую духовность. Стихи — иллюстрации к картинам Дюрера, Брейгеля, Рембрандта, импрессионистов и пост-. Стихи, которые обычно читали в телевизоре под Рихтера и Ван Клиберна. Стихи, стоящие на страже русской просодии. Дай Бог им здоровья и долгих лет жизни.

Сейчас СРПМ переживает тяжелые времена. Он оказался на краю, на обочине, калика переходная. Классики жанра — нынешние классики, а не отцы-основатели — довольствуются мизерными тиражами в малоизвестных издательствах и оскорбительным молчанием критики. Немногочисленный читатель книг на вопрос: «Какого вы знаете современного поэта?» — обычно отвечает: «Пригова». В лучшем случае — «Кибирова». Стихов в телевизоре больше не читают, а если и читают, так только бессмертные — евузнесенские. Духовность срочно перевели по синодальному ведомству. Все это, естественно, тяжело; и для самой поэзии, и

¹ Для экономии электронного пространства буду именовать его сокращенно СРПМ (Современный Русский Поэтический Мейнстрим).

для поэтов СРПМа. Для человека с установкой на «традиционность», «нормальность», «человеческое измерение» невыносимо ежесекундно разыгрывать «проклятого поэта»... «Кто виноват?» — задашься ты типичным южноафриканским вопросом. Отвечу тебе типично советским ответом: «Виновата система, Петенька!» Более занудно: на то есть социальные, социокультурные причины. Главная из них — исторические судьбы главного адресата СРПМа — советской интеллигенции. Он — СРПМ — находится сейчас примерно в том же самом месте, в котором находится и адресат. В каком — вообрази себе сам. Вообразил? Правильно! Именно там.

Впрочем, мне больше нравится другое объяснение — эстетического свойства. Быть может, даже природного. СРПМ переживает осень. Самое декадентское время года². Ходишь, глазеешь по сторонам, шуршишь листвою, глотаешь горьковатый вермутный воздух, вспоминаешь былое. Осени нужны подпорки, костыли, чтобы дожить, дотянуть до зимы, — бабье лето, битва за урожай, болдинское чудо. Осень несамодостаточна; точно так же несамодостаточен СРПМ. Именно для своего «оправдания» он тащит в стихи все «красивое» — музейную живопись, классическую музыку, историю литературы.

Я говорю, Петя, «осень», имея в виду не возраст поэтов, а возраст стихов. Тридцатилетний Александр Леонтьев³, выпустивший уже четыре книги стихов, с самого начала писал как поэт эпохи начала упадка. Прочитую тебе одно небольшое стихотворение из его первой книги с типично СРПМ-овским названием «Времена года»:

Опишем стол и дом. Опишем по старинке
Казенный реквизит, попробуем связать
Сей шестистопный ямб и лезвие сардинки,
Отточенное так, что страшно в руки взять.
Опишем все как есть. Стихи еще подкатят
К гортани, точно спазм, сильнеешие, — потом.
Опишем: чашка, тень свою пролив на скатерть,
Ждет обжига опять, кофейного притом.
Опишем просто дом. Опишем все обиды,
Нет-нет, обеда все (Державина откров).
И да простят меня сегодня аониды, —
Им тоже суждено дурачиться порой.
Недвижимость моя! О как прекрасна опись!
О как подвижно все! Растет день ото дня!
Но слишком знаю я — кто ниже ставит подпись,
Кто список удлинит, в него включив меня.

Ну чем не совершеннейшее произведение СРПМа⁴? Поэт сразу заявляет свою эстетическую позицию⁵: «опишем по старинке», «шестистопный ямб», далее — опираясь на крепкую живописную трость⁶ — переходит к старику Державину, держась за Державина, еще шаг — к неназванному Мандельштаму⁷, затем — неярный кивок в сторону кушнеровского словоупотребления⁸, наконец — немного то ли о Смерти, то ли о Боге, но не так, чтобы было очень страшно. Да, еще, Петя, стихотворение это посвящено автору «Таврического сада». И самое главное, чуть не забыл: стихотворение написано автором, когда (если верить книге) ему было 23 года. Почему не 53? Почему весной его жизни, а не осенью? В предпоследней книге Леонтьева⁹ я наткнулся на подтверждение своих эстетско-сезонных бредней — на цикл «Фрагменты осени»; там можно обнаружить не только непрменных Пруста и Моне, но и такие показательные строки: «Вертоград — это осень и ветер в саду, / Осыпающийся мой рай. / Я в него, как в блистающий сон, войду: / Продолжайся, не умирай!» СРПМ и есть этот «осыпающийся рай» отечественной словесности; основное занятие его адептов — восклицать: «Продолжайся, не умирай!»

² Может быть, поэтому самые что ни на есть «обычные», «традиционные» поэты вдрог начали вести себя как бодлеры с верленами?

³ Один из классиков СРПМ.

⁴ Дурашливое «но слишком знаю я» не в счет.

⁵ Будто пароль, дающий право на проход в царство избранных, бессмертных...

⁶ «чашка, тень свою пролив на скатерть»

⁷ «аониды»

⁸ «Недвижимость моя! О как прекрасна опись!» Здесь высказывает не предусмотренный автором комический эффект — это же вопль риэлтера! См. далее: «О как подвижно все! Растет день ото дня!»

⁹ Угадай, как называется? Даю подсказку. Любимым Кузминым парковый ансамбль, откуда изгнали упоминание о Потемкине, но заселили любимыми насекомыми сына несостоявшегося министра юстиции последнего Временного правительства.

Вообще Леонтьев стоит особого разговора. Представь себе, Петя, эдакую фабрику по воспроизводству культуры, гигантский переработочный цех, куда в качестве сырья поступают картины, мелодии, книги и из которого выползает на белый свет продукт устойчивого лицензированного качества: ровные квадратики и столбики стихов. Есть что-то устрашающее в этом конвейере; есть что-то неуловимо порочное в самой идее его. Казалось бы: ясное дело — караван идет, акын поет. Любая поэзия такова. Но как только представишь себе мир, битком набитый аккуратными прямоугольниками стихов — ни повернуться, ни вздохнуть, ни плюнуть, — становится жутко. Разыгрывается культурно-поэтическая клаустрофобия.

Впрочем, Александр Леонтьев, безусловно, один из лучших поэтов своего поколения. Его стихи похожи на современный джазовый мэйнстрим, впитавший в себя все: и неуловимый свинг, и педантичный бибоп, и смурной авангард, и горячий фанк, и пижонский кул. Все хорошо, все по высшему культурному разряду, все в смокинге. Мир¹⁰ шампанского и свежесрезанных орхидей. Но при чем здесь потный клоун Гиллеспи? Профетичный шаман Колтрейн? Скупой на ноты пастор Льюис?

Знаешь, Петя, мне иногда кажется, что жизнь навсегда ушла из русской литературы — в рекламу, в видео, в журналистику. Лучше бы, конечно, в виноделие...

Впрочем, не буду столь мрачным, не буду смущать твое кейптаунское спокойствие. Хай живе руска мова! Недавно я открыл для себя замечательнейшего поэта, незаметнейшего среди незаметных поэтов СРПМ — Валерия Черешню. Его книга «Сдвиг» вышла в прошлом году в серии «Избранное» питерского издательства «Абель». На первый взгляд — все как надо, все как положено — музыка, литература и особенно живопись. Живописи очень много в этой книге; я даже произвел некоторую инвентаризацию. Более всех присутствует Рембрандт: «И старческой растерянности Рембрандт / В плохой улыбке снова скалит зубы» и «... но мрак, как Рембрандт, прячет...» Итальянская живопись представлена Беллини: «Ее писал задумчивый Беллини», а французская — Лорреном («такого утра, как Лоррен увидел») и Дюфи («И праздник синего и красного: Дюфи»). Но, вчитавшись, понимаешь, что перед нами не совсем типичный представитель СРПМа; несмотря на то что «Сдвиг» — книга «избранного», она — неровная, и уже в этой неровности (по человечеству понятной) угадываешь ритмию жизни, а не метроном стихопроизводства. Закажи себе эту книгу, Петя, а не сможешь, я отсканирую и вышлю тебе; и ты оценишь концентрическое разворачивание сюжета в «Послании», где каждая из последовательных строф представляет собой все сужающийся круг света, и эта закономерность перемещается лишь третьей строфой, выводящей читателя из реальной топографии в волшебное измерение сна¹¹, и отстраненную интонацию «Выздоровливающего», написанного действительно будто очнувшимся после тяжелой болезни, после прохода по узкой экзистенциальной дорожке меж жизнью и не:

Смотреть балетов томное жеманство,
Тягучих пьес натужное усилье,—
Всем, что не нужно, наполнять себя,
Чтобы узнать, что вправду существуешь,
Среди любого вздора невредим...

И, конечно, ты оценишь восхитительный нерифмованный стих, начинающийся с полуслова — «переболел / ветрянкой детского внезапного восторга», где есть место удивительной красоты, ритмическое и фонетическое пиршество, внезапно возникшее и столь же внезапно ушедшее:

Я так же, как и он,
готов нестись, на пустырях свиваясь
в крутящиеся, тающие вихри,
ломиться в одинаковые окна...

¹⁰ Или, как любит писать Леонтьев, «мир».

¹¹ Первая строфа начинается: «Я вижу город в сумерках рассвета...»
Вторая — «Я вижу комнату твою в мерцании...»

Третья нарушает эту закономерность: «Тебе приснился сон томительный и блудный...»

И, наконец, пронзительный и горький финал, взгляд затачивается до нестерпимо острого жала ревности:

«Я вижу вас с такою явью света,
С какою странник — снег на пустыре.
И ты, своей неверностью согрета,
Спокойно засыпаешь вдалеке.»

Чуть ли не лучшее стихотворение об измене, читанное мной за последние лет десять.

Ольга СЛАВНИКОВА

Деталь в современной прозе, или Похождения инфузории-туфельки

Как в жизни, так и в литературе человеку нужнее всего не то, что необходимо, а то, что излишне, избыточно, без чего, с точки зрения аскета, можно обойтись. Литература сама сплошное излишество: не существует ни одного доказательства ее полезности читателю. Самый убийственный вопрос, который критик может задать беллетристу: а зачем написана эта книга? Ни один автор не сумеет отразить беспроигрышный выпад: ему останется только посыпать голову пеплом.

Густая, вязкая проза, перенасыщенная тем, что условно и обобщенно называется деталью, часто вызывает особого рода враждебность, напоминающую реакцию занятого человека на чью-то неуместно искреннюю исповедь. «Зачем вы мне все это говорите?» — угадывается в подтексте многих сердитых оценок. Действительно, перегруженный текст буквально сам напрашивается на вопрос: «зачем?» — хотя в каком-то ином случае литературный критик, понимающий специфику своего ремесла и ремесла писателя-смежника, от подобной грубости сумел бы воздержаться. Являясь наиболее злостным злоупотребителем деталью в сегодняшней прозе, я уже одной темой данных заметок вызываю подозрение в литературном небескорыстии. На самом деле я не собираюсь вести никакой личной и тем более адресной полемики: полагаю, что проблема сводится к моему персональному делу, было бы с моей стороны большой самоуверенностью. Сейчас я просто обращаю внимание читателя на факт: та точка зрения, будто деталь противоречит каким-то иным возможностям литературы, имеет много заинтересованных сторонников.

Разница между микроскопом и телескопом, совершенно объяснимая через законы оптики, всегда казалась мне таинственной и тем имеющей отношение к искусству. И тот, и другой прибор дает многократное увеличение вещей, однако через микроскоп не увидишь туманность Андромеды, а телескоп бесполезно направлять на предметное стекло. Труба прибора, имеющая конечную длину, но содержащая в свернутом и вывернутом виде умонепостижимые расстояния до макро- и микрокосмоса, всегда была для меня материальным парадоксом: ее хотелось иметь — просто так, ни для чего. У одного приятеля — коллекционера всяческих редкостей, в том числе с городских помоек, — стоял у заклеенного скотчем по мерзлым трещинам огромного окна, треногой в книгах, любительский, чуть ли не детский телескоп, в который можно было наблюдать чудовищный ракушечник раздувшейся Луны. Приятель, однако, предпочитал Луне окрестный бетонный пейзаж, гораздо более интересный через телескоп, нежели в повседневном виде и в натуральную величину.

Я думаю, владелец трубы испытывал нечто похожее на писательское волнение, когда наводил прибор на крошечные, с ноготок, светящиеся окна: видимо, он полагал таким образом узнать о людях больше, чем это ему удалось в результате женитьбы, развода и в высшей степени остросюжетного конфликта с военной кафедрой УрГУ. Как назло, перед окном владельца телескопа простирались по большей части глухие заборы, склады, заводские корпуса: все это, тяжеловесное и прокопченное, производило, однако, впечатление чего-то сугубо временного и напоминало сортировочную станцию, забитую товарняками. К производственным сюжетам мой приятель не был склонен, а две маячившие поодаль шестнадцатизажные башни с белыми лоджиями, напоминавшие стопы какой-то столовской посуды, оказались совершенно бесплодны по части интимных тайн человеческого жилища: самое интерес-

ное, что удавалось увидеть наблюдателю, была работающая швейная машинка, упавшая в волнах пропускаемой ткани. Любопытно, что точно такая же довоенная зингеровская модель, издававшая при работе вязкое чавканье, характерное для речи человека со вставными челюстями, имелась в соседней комнате и иногда озвучивала картинку, которую телескоп, приспособленный все-таки для наблюдения небесных тел, доносил довольно мутно и с неким дополнительным вздутием. Прибор как будто слезился от попадавшего в глаз земного сора, но приятеля это не останавливало: от совпадения звука за стеной и действия через пустырь, он, как говорили в те времена, ташился и балдел. Почему-то его, как говорят теперь, цепляло посредничество астрономии между двумя советскими гнездами быта: простое житейское занятие — подрубка простыни — путем разделения видеоряда и звукоряда превращалось для него в исполненное смыслов авангардное кино. После приятель даже вывел из этого случая глобальную теорию совпадений, по которой, если он что-то делает — например, натаскивает на себя свои огромные, будто слоновья шкура, сыплющие монетами серые джинсы или с ружейным хлопком зашибает свернутой газетой утекающего таракана, — то в точности то же самое и в тот же самый момент делает кто-то еще. Теория не только избавила этого прирожденного коллективиста от комплексов при одиноком употреблении водки, но и в широком смысле оправдала самое его существование: он больше не был один во вселенной, он просто не мог при всем разгильдяйстве сделать что-либо противное человеческой природе, то есть выйти из круга, мудро очерченного неким благим астрономом, наблюдающим мир в многоканальный телескоп.

Вот она, сила подробности, пришедшей на память настойчивой детали: человек, которого автор собирался оставить за пределами текста, самовольно влезает сюда, как некогда влезал в облюбованную общством избушку на детской площадке, прижимая к себе, точно взятые из поленицы дрова, брякающие снаряды черного портовейна. У него пожароопасная рыжая бородаща, а на белых лапах удивительно красные царпины от когтей любимой кошки; пуговицы рубахи на его семилитровом асимметричном брюхе похожи на конфетти. Он из тех огромных осторожных толстяков, в чьих ручищах любые предметы кажутся игрушечными, потому он все делает как будто понарошку. Где-то на размытом рубеже студенчества и твердого трудоустройства этот человек с удивительно красной кровью подвергся тому же оптическому исчезновению, что и многие его ровесники, заранее обладавшие не одной, но несколькими судьбами, последовательными во времени, но взаимоисключающими по существу. Думать о том, что старый пьяница и собиратель марок где-то существует, так же странно, как думать о существовании всех тех курьезных поломанных штук, что он притаскивал с улицы и, на исторически короткий срок отмыв от грязи, ставил на полки.

С точки зрения придирчивого критика, смотреть в телескоп хорошо, а в микроскоп плохо. Астрономический прибор по определению вводит человека в контакт с большими величинами, философскими категориями, включает наблюдателя в глобальные вселенские контексты. Сама устремленность телескопа в небеса словно бы обеспечивает предпосылки для создания большой литературы. Микроскоп, наоборот, показывает незримых глазу примитивных существ, что плавают в биологически насыщенных водах, как полупрозрачные ягоды в вязком варенье. Возможен ли роман из жизни одноклеточных? Ответ очевиден: никакие похождения инфузориитуфельки, знакомой каждому из нас по учебнику биологии для шестого, кажется, класса, читателя не привлекут. Разве что модный критик обьявит роман гениальной метаморфозой русской литературы, метаметафорой, скажем, смерти романа как такового. Классически ориентированный критик напишет на это язвительную отповедь, и жаркая дискуссия двух собирательных персонажей, согретая неподдельными чувствами и обогащенная скрытыми подтекстами, станет вторым и истинным сюжетом романа — как это уже не раз бывало, есть и будет.

Между тем исследование жизни под микроскопом предполагает известную болезненность содержимого предметного стекла. Литератор, использующий микроскоп, то есть исследующий мельчайшие нюансы материального быта и человеческой психики, непременно обнаружит на привычных предметах некоторую грязь. Дошный бытописатель всегда, хочет он того или не хочет, добирается до физиологии. При известной склонности к мизантропии (а кто сегодня любит человечество?) уделом такого литератора становятся болезненные извращения, неаппетитные функции человеческого организма, выверты психики, на этих функциях сосредоточенной. Герои физиологической прозы, как правило, замкнуты в кругу нисового существования: с ними ничего нельзя сделать литературного, кроме как пожалеть их

за непросветленность, социальную угнетенность и страдания плоти. Неправда, что любовь к подробностям, выписывание картинки тонкой кисточкой с последующей лакировкой действительности свойственны писателям и жанрам, делающим красиво: напротив, красивость абстрактна, она — пустое место текста, где нечего увеличивать при помощи лабораторной оптики. Существуют произведения, прекрасно иллюстрирующие именно такое распределение густоты и пустоты. Давняя повесть Нины Сагур «Чудесные знаки спасения» (теперь эта небольшая вещь, переизданная «Вагриусом», на западный манер называется романом) построена на контрасте «низовых» персонажей и духовной главной героини, страдающей от плотных и плотских соседей в похужей на кишечник адской коммуналке. Десять лет назад было, я думаю, немалой смелостью нарушить литературное табу и показать «простых людей» в виде преувеличенных тел, живущих нуждами и отправлениями своих чудовищно-женских организмов. Однако контраст оказался разительнее, чем это было в писательском замысле: натуралистичные организмы получились качественнее, нежели страдательная духовность, раздражительно эксплуатирующая образ тонкого деревца, пустившего корни в трещину дома на опасно высоком этаже. Подробности, увиденные не в телескоп из дальнего окна, а через лупу присутствующего в коммуналке заинтересованного автора, придали организмам мощную литературную витальность, позволяющую им, в отличие от соседки, запоминаться при чтении и служить опознавательными знаками при перечитывании. Так несимпатичные писательнице «низовые» персонажи вытеснили трепетную лирическую героиню не только сюжетно (что задумывалось, надо полагать, не без праведного гнева на них, нехороших), но и художественно: поднявшись на дрожжах подробностей, они ее переросли.

Видимо, то обстоятельство, что в телескоп хочется глядеть не на реденько насыпанные звезды, а на окружающие населенные кварталы, порождено не только и не столько бытовым любопытством. Мощная оптика действительно обещает проникновение в тайны сверхмалых астрономических тел, именуемых людьми: как будто существует нечто такое, что жизнь посредством системы ширм скрывает именно от данного наблюдателя, а вот теперь наблюдатель наконец-то подсматрит и поймет. Есть что-то бесконечно волнующее в том, что «серьезный» прибор наводится не туда, куда следует по науке, применяется не по назначению, а по прихоти *частного* владельца. Сложное и дорогое орудие труда, усиливающее возможности человеческого зрения ради подотчетных результатов целого научного коллектива, вдруг становится игрушкой, забавой, полной ерундой.

Телескоп, превращенный в орудие праздности, есть явление противозаконное, гораздо более опасное для некоего суммарного общественного порядка, нежели попавший в руки простого инженера старенький ПМ. Понятно, что астроном-любитель, если он, допустим, желает сделать открытие в науке, оказывается в позиции неизмеримо слабейшей, нежели хорошо оснащенные и работающие в обоснованном режиме профессионалы (за исключением случаев буквально небесного чуда, редкого фарта, манящего мечтателей на звездный Клондайк). Но если частный владелец телескопа использует прибор каким-нибудь *непроизводственным* способом, то он почему-то оказывается сильнее и астрономов, и милиционеров, и всех вообще социальных институтов. Метафизический источник этой силы — незаконная свобода вооруженного глаза. Наблюдатель при этом делается недосягаем: швея, чьи красные руки с ямками словно от арбузных семечек ловко направляли под строчку километры угловатой ткани, ни при каких обстоятельствах не могла обнаружить в просто-душно-нелепом, с балкончиками вроде прибитых к окнам парковых скамеек, подслеповатом домище тайного телескопного гнезда. Владелец телескопа, глядя на все земное в любительскую трубку, сам словно переносится на Луну.

Таким образом, телескоп становится рычагом, перевернувшим мир, космос используется хулиганом в качестве зеркала, позволяющего заглянуть за некий хитрый угол, описать сознанием незаконную ломаную траекторию. Космос для частного не цель, но инструмент. Частник кощунствует: не благоговей перед глубинами мироздания (на самом деле, быть может, благоговей больше, чем доктора и кандидаты наук), он профанирует «небесное» своим бессовестным визионерством. Он лезет туда, куда его не просят; развоплощаясь, он присутствует там, где его в действительности нет. Детали, добытые при помощи телескопа, так же драгоценны для него, как образцы марсианского грунта. Та небольшая коллекция частных, которую моему приятелю удалось собрать с наблюдаемой территории (в нее входили, например, похжие на парусники балконы с бельем и велосипедами, а также растущая на высоте седьмого этажа, совершенно как в романе Нины Сагур, маленькая береза с листьями, будто столбик мошкары, изгибом ствола, однако, напоминавшая кобру, встав-

шую на хвост), была для него ценностью того же порядка, что и для писателя его литературные находки. Густопись и обвиняют довольно часто в коллекционировании подробностей; обвинители не понимают, что такого рода текст, похожий иногда на музейную залу, иногда на склад, есть на самом деле отчет марсианской или лунной экспедиции, по прихоти искривленного пространства совершившей посадку на соседнем пустыре.

«Предлагая каждый рассказ оптом и в розницу, Толстая вынуждает смотреть на текст по-птичьи — одновременно держать в фокусе далекое и близкое», — высказывался о первой русской густописательнице новейшего времени Александр Генис. И далее: «Тайный, но главный секрет ее обаяния в лишних историях, не имеющих отношения к сюжету». Верно подметив насущность лишнего и *одновременность* присутствия большого и малого в «перенасыщенной» прозе, Генис, однако, видит мир Татьяны Толстой игрушечным, кукольным — что не соответствует впечатлению невероятной дерзости, которое производили, да и теперь производят ее как будто камерные тексты. Дело в том, что Толстая оказалась первой «частницей», присвоившей инструмент большого государственного и научного значения и употребившей его для собственных *частных* писательских нужд. В обществе, построенном на иерархии уровней, человек не мог единолично владеть оборудованием, многократно повышающим его физические возможности. Сама *многократность* увеличения объектов предполагала множественность владельцев телескопа, и уникальные снимки каких-нибудь умонепостижимо далеких галактик могли быть только общенародным достижением. Телескоп представлял собою как бы завод по производству мощного искусственного зрения, некий коллективный глаз, в который каждый член коллектива вносил свой полноценный человеческий «крат». Между прочим, социализму была, очевидно, чужда доставшаяся от прежнего режима система измерения мощности двигателей в лошадиных силах: «столько-то человеческих сил» гораздо лучше соответствовало бы как идеологии, так и эстетике империи, чьи китайские стены были антропоморфны и простым физическим увеличением вбирали в себя весь советский народ.

Толстая не только завладела вооружившим ее свободой инструментом, но и направила его в «беззащитные, незанавешенные, холостяцкие окна» своих незадачливых сограждан. Самовольно использовать небесное ради мелкого и земного — вот извечное кощунство истинного искусства: тут Толстая зашла гораздо дальше своих литературных ровесников. «Высокое», устремленное вверх, по определению пустотно: эта религиозно-философская область дает в литературе ту самую красоту, к которой Толстая если и склонна, то с поправкой на злую иронию судьбы. Сегодня «перенасыщенность» Толстой по-своему развивает Марина Вишневецкая. В ее богатой прозе «телескопная» деталь органически сочетается с «микроскопной». Это получается потому, что Вишневецкая сохраняет в своем художественном мире много отроческого: телесность у нее мифологизируется, как это бывает в сумрачном переходном возрасте, когда человек пытается представить себе непонятное через картинку, через самодельный придуманный образ. Юная героиня рассказа «Архитектор запятая не мой» воображает жизнь как постепенное отлпание души от тела, пытается представить, что это за клей крепит ее человеческое «я» к брэнной и стыдной телесной оболочке. Отроческое «средневековье» Марины Вишневецкой, где «низовое» без конца выясняет отношение с «верховым», есть нечто очень интимное — и, по сути, столь же интимны игры писательницы с языком, все эти странные «непостижимости», избытки виртуозности, музыкальные отзвуки нерасшифрованных смыслов. Язык для Вишневецкой — тоже тело: секрет его одушевления раскрывается каждый раз заново, но до конца не познается никогда.

Видимо, пора сформулировать, почему «густопишущий» автор так раздражает придиричливого критика. Я думаю, что иерархическое представление о структуре прозы, десятилетиями питавшееся не только практикой соц. реализма, но и настоящим примером самого имперского общества, держится в умах гораздо крепче, чем мы способны себе вообразить. Видимо, в этих подспудных мыслеобразах большую роль играет архитектура. У здания — скажем, у романа — должны быть несущая конструкция (фабула), хорошие пропорции (композиция), привязка к местности (то, что сейчас называют «формат»). С этой точки зрения художественная деталь не более чем декор: уберите ленину — и здание по-прежнему будет стоять и выполнять свое предназначение. Есть даже особый шик в том, чтобы обходиться без лишних финтифлюшек: выразительность линий и функциональность планировки — вот качество современной прозы, к которым стремится разумный, думающий несколько по-английски русский минималист.

Густая проза разрушает привычную соподчиненность уровней текста: она скорее биологична, нежели архитектурна. Еще раз процитирую Александра Гениса: «Прозу Татьяны Толстой отличает редкое качество — своеобразное биофильство. Подобное «спонтанное зарождение жизни» больше всего ценил у Гоголя Набоков, ибо оно обеспечивает литературе, писал он, «огромный, бурлящий, высокопоэтический фон, который и создает подлинную драму». Такой драмой мир Толстой обеспечивается густо записанным задником. Здесь разворачиваются, не сопровождая, не иллюстрируя, не соответствуя, а просто сопутствуя действию, замечательные по своей повествовательной энергетичности живые картины, каждая из которых являет собой свернутую в тугой клубок сказку». Эта цитата-матрешка для меня существенна тем, что в сжатом виде прослеживает корни «биофильства» в русской литературе. Однако же Генис, не расставшийся с иерархическими мыслями о прозе, видит в текстах Толстой задний и передний планы, весьма друг от друга независимые, причем на переднем плане предметы и люди якобы «настоящие», а на заднике «нарисованные». Тем самым постулируются два разных и неравноценных уровня условности текста: есть собственно сюжет и есть «сказки в рассказе», вместе они создают, как это бывает на сцене театра или в музейной панораме, иллюзию подлинного пространства, надо только внутренне с этим согласиться и немного прищурить глаза.

На самом деле, как мне кажется, проза «биофилов» не разбивается на уровни, потому что зарождается и разрастается несколько иначе, нежели у «архитекторов» (деление, конечно, более чем условное, однако позволяющее понимать некоторые особенности творческого процесса). «Архитектор» подбирает детали под общий замысел, вернее, он их так обнаруживает — в общем контуре всего произведения. У «биофила» самозародившаяся метафора, яркая частность могут изменить представление автора о характере героя; внезапный симбиоз двух далеких образов, до того представлявшихся как раз такими, как рисует Генис, посторонними клубочками, направляет рост сюжета совсем не в ту сторону, куда его разворачивает автор. У «биофила» любое сравнение чего-то с чем-то представляет собой весы, где никогда нельзя заранее сказать, какая чашка перетянет — и что в итоге окажется «настоящим» предметом текста, а что останется тенью предмета. Все это дикорастущее богатство не поддается никакому оконтуриванию и только и делает, что нарушает собственные границы. Мне представляется, что иногда я буквально вижу в прозе «биофилов» — Татьяны Толстой, Саши Соколова, Марины Вишневецкой, Ирины Полянской, отчасти Дмитрия Липскерова, Юрия Буйды и Олега Павлова — те текстовые узлы, откуда внезапно проросли ростками, и — иногда — полусохшие ветки первоначальной идеи, в которых путаются ноги неаккуратного автора. Бывает и так, что к первоначальному замыслу лепится образ-паразит, который растет, высасывая *ненаписанную* вещь до пустой шелухи: вот он-то и становится романом, иногда даже довольно известным (см. «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки»). Как правило, текст у «биофила», будь он даже небольшой, проходит несколько циклов, сравнимых с годичными циклами жизни растений: детали — это зернышки, семена, через которые «осень» информирует о себе новую «весну».

«Биофилы», при всей привлекательности их свободного метода, в некоторых отношениях очень уязвимы. Проблемы возникают при восприятии текста. Густая проза — это медленное чтение, по большей части не совпадающее с темпом жизни реального читателя. «Биофил», как правило, страдает от излишнего доверия к пейзажу, в котором угадывает истинное местоположение души своего героя. Также бывает вредно внимание к внешности и жестам персонажей: пока прозаик рассказывает, как выглядят А. и Б., как они прикуривают такие-то сигареты от такой-то зажигалки, читатель успевает забыть, о чем они говорили и почему вообще сидели на трубе. Количество событий на единицу текста у «биофила» бывает настолько мало, что читательское терпение исчерпывается иногда на десятой странице. Кроме того, удачная, бросающаяся в глаза деталь — всегда сепаратистка: она буквально кричит о своей художественной самодостаточности. Если таких деталей много, автору приходится заботиться не столько о движении сюжета, сколько о хорошо подвешенной фразе. Если же фраза подвешена плохо, то есть не удерживает всех нагруженных на нее придаточных и деепричастий, то в тексте начинают происходить непредвиденные безобразия: с дуба падают листья ясеня, а писатель тем временем любит соседней сосной.

Положение, казалось бы, безвыходное: литератор, увеличивающий мелочи жизни до размера детали, никогда не сможет ответить, для чего он это делает. «Телескопное» зрение еще до какой-то степени понятно: такие произведения, где главные герои обычно «трегьи лица», а писатель, сидя на Луне, отсутствует в описываемом пространстве, достаточно объективны, какие-то читабельные пропорции в них соблю-

дены. Кроме того, автор, наблюдая чужие окна в телескоп, не менее охоч до событий, чем стоящий за его плечом заинтригованный читатель. Что касается субъективных «микроскопных» изысканий, написанных, как правило, от авторского «я», то здесь требования двухфокусного зрения, предъявляемые читателю, почти невыполнимы. Мало того, что автор самолично толчется в помещении и, предлагая взглянуть на инфузорий, дышит читателю в затылок: он еще и претендует на то, чтобы читатель испытывал к нему, уникальному, жгучий интерес. Такие претензии — легкая мишень для литературного «наезда»: критик, введенный в искушение, с удовольствием упражняется в остроумии.

Однако жизнь, в том числе литературная, богаче наших представлений о ней. На вопрос «зачем?» отвечает не теория, а практика. Бывает, что критику одновременно приходят в руки совершенно разные книги абсолютно разных авторов, которые, совпадая именно для него, вместе становятся ключом к некоторой занимающей критика проблеме: «Хуррамабад» Андрея Волоса и «Похороны кузнечика» Николая Кононова были куплены одновременно с «живоглотского» стола на екатеринбургской книжной ярмарке, специализированного на некоммерческой литературе и пытающегося делать на этой литературе высокопроцентный, но малоденежный бизнес. «Хуррамабад» — динамичная реалистическая проза, современная как по материалу, так и соответственно по языку. При этом она впечатляет какой-то старорусской добротностью ткани, существующей с сознанием собственной долговечности, «носкости», нужности своему обладателю; ни в коей мере не стилизация, эта проза впитала среднеазиатские ориенталии ровно настолько, чтобы рассказать по-русски о событиях, понятных только с учетом устройства восточного ума. «Хуррамабад» — элитный образец «архитектурной» прозы, где, несмотря на драматизм остро, рвущего форму материала, все соразмерно. Отношение части и целого здесь обусловлено тем, что книга состоит из отдельных рассказов, панорама событий складывается из разнесенных во времени, не вполне линейно последовательных глав. Главное, что скрепляет «Хуррамабад», — единство места, общая для всех сюжетов раскаленная среда. Поэтому деталь, занимающая правильное подчиненное положение на уровне главы, обогащая оттенками всякий ее сюжетный поворот, на уровне всей книги резко повышается в цене. Совокупность деталей — это общее имущество всех текстов, составляющих том, это воздух, которым дышат все герои Андрея Волоса. Распад *общего*, разделение людей на русских и таджиков, на кулябцев и ходжентцев, на беженцев и остающихся — что и составляет главную сюжетную линию книги, — трагически противоречит растущей художественной целостности Хуррамабада, которую писатель пестует из рассказа в рассказ, которая становится завершенным и самоценным миром именно к тому моменту, когда товарняк с пожитками беженцев рывком трогает по горячим рельсам в Россию. Реализм Андрея Волоса — это современное письмо именно потому, что в создании силовых линий книги участвуют не только конфликты описанной реальности, но и конфигурация средств выразительности; деталь играет в этой конфигурации очень важную скрепляющую роль.

Роман «Похороны кузнечика» по сравнению с «Хуррамабадом» выглядит как слабое, текучее, неверное, распыленное вещество. Здесь теряется чувство времени текста: закрыв изящный томик, как-то не можешь себе ответить, объемная эта книга или нет, сколько примерно в ней авторских листов. Отказывает какой-то профессиональный измеритель, и возникает ощущение, будто роман просеялся сквозь пальцы, потерялся, утрачен. Вот это сборное, сложное, щемящее чувство утраты и есть главное послевкусие от прозы поэта: отзвук, а не звук.

Всех событий в романе в общем-то на рассказ: у главного героя есть любимая бабушка, она болеет, умирает, ее хоронят, разбирают оставшиеся после нее ветхие реликвии. Перед нами сплошные, типично «микроскопные» подробности. Роман, как и «Хуррамабад», состоит из частей, но здесь единицей текста становится микроновелла: не глава, но абзац. Из-за этого страницы книги даже зрительно представляют собой мучительный рапид. Читателю достаются долгие, жидкостные переливы крупных планов; сосредоточенность на прохладе влажного вымытого пола, на эпитетивности поцелуя, на линии белой женской руки, отраженной в зеркале. Все это надо вкушать очень медленно, целиком подчинившись выбранному автором сомнамбулическому ритму. В романе много физиологии: автор не упускает ни одной приметы старческого бессилия, дотошно описывает тлен и выделения «дышащего трупа». Настоящее время романа на самом деле воспоминание, что придает микроновеллам дополнительную вязкость. Во взрослом авторе присутствуют также ребенок и подросток: из-за этого «вспоминательная» оптика иногда перебирает диоптрий, и в глазах, как от слишком сильных очков, начинается резь.

В то же время книга эта исполнена ужаса и страсти. Герой отчаянно пытается пройти, как сквозь стену, сквозь преграду собственной плоти, чтобы найти себя внутри себя самого; средневековые отрочества для него, похоже, не кончатся никогда. Максимально приближаясь к подробностям окружающего, автор силится оказаться по ту сторону действительности, раскрыть какую-то томительную тайну, которую он и сам не умеет назвать, но рапидное развитие текста не дает ему как следует удариться о реальность, держит его на весу. Предельная интимность переживания, предельное «дежа вю» — вот к чему стремится Николай Кононов, сознательно жертвуя всеми общепринятыми видами романских конструкций. Начинаешь верить, будто такая цель может быть достигнута только такими — деталь на детали — увеличительными средствами.

Смысл одновременности прочтения «Хуррабада» и «Похорон кузнечика» для меня заключался в том, что эти два романа, как выяснилось, занимают одну и ту же экологическую нишу, то есть адресованы одному и тому же читателю. От адресата требуется немного: отличать живую прозу от мертвой. В пояснение тезиса приведу еще и третий роман: «Отравленный пояс» Артура Конан Дойла. Когда Земля вошла в пояс отравленного эфира и вся жизнь на ней, казалось бы, погибла, профессор Челленджер, наблюдавший конец света из закупоренной кислородной комнаты, обнаружил на предметном стекле микроскопа живую амебу. Предметное стекло было помещено в герметичный футляр, до амебы не доходил кислород, которым спасались обитатели крохотного ковчега. Поскольку одноклеточное существо несло в себе существенную часть генетической информации погибшего мира, профессор сделал вывод, что Земля жива, а не мертва, и предсказал скорое возрождение жизни в формах, подобных утраченному.

Бывает, что в прозе отсутствуют детали «микроскопного» порядка. Все-таки по каким-то неуловимым признакам, по оттенкам воздуха, самодвижениям среды читатель определяет, что в мире, нарисованном автором, есть и амебы, и инфузории-туфельки. Мертвый, стерильный, искусственный мир, какой встречаем иногда в профессионально сделанных прозаических вещах, почему-то вызывает недоверие, настаораживает слишком внятным дизайном: читаемыми линиями, красивыми красками. Если микрожизнь в прозе отсутствует, мне понятно, как она сделана. Густая, перегруженная, пристальная проза, если даже отвлечься от собственных ее достижений, есть прививка всей литературе от омертвения, от отравления понятно каким эфиром. Удачная деталь всегда несет хромосому подлинной литературы; обнаружив ее, квалифицированный читатель в своем углу затерянном ковчеге переживает приступ оптимизма.



СТАВРОПОЛЬ

РУССКИЙ ПОСТМОДЕРНИЗМ. Материалы межвузовской научной конференции. Библиографический указатель. Ставрополь, Издательство Ставропольского государственного университета, 1999. 300 экз.

Судьба постмодерниста в России горька и печальна. Он рождается в скучном провинциальном городе и однажды обнаруживает себя умным мальчиком (реже — девочкой). Он хорошо учится в школе, потом в университете и при этом всячески сопротивляется вредному влиянию улицы — картам, пьянкам, девкам и дешевым наркотикам. Им он противопоставляет чтение Фуко, Деррида и Бодрийяра, за что противная улица его не любит и всячески третирует. Но однажды он узнает, что в городе он такой не один. Так возникает маленькая провинциальная постмодернистская ситуация... с картами, пьянками, девками и дешевыми наркотиками — это называется «хэппенинг». Наконец умный провинциальный постмодернист понимает, что все это гораздо лучше иметь в Москве, а еще лучше не иметь в каком-нибудь провинциальном американском университетском городке. Дальше постмодернисту ехать некуда. Только на Луну.

Все вышесказанное не об этой книге. Книга умная, дельная и толковая. С обстоятельной библиографией по означенной теме. В библиографии я несколько раз встретил свое имя. Получается, что я... тоже постмодернист?

ВОРОНЕЖ

Л. В. РОЗЕНА. КАК БОЖИЙ МИР КРАСИВ. Воронеж, Центрально-Черноземное книжное издательство, 1999. 1000 экз.

Стихи. Религиозные. Много пейзажной лирики:

Зашла я в лес янтарным утром,
Ходила воздухом дыша...

Читатель ждет уж рифму «душа» и, конечно, ее получит. Есть, впрочем, простые и трогательные строки:

Жила не так, как было надо.
Ругалась, злилась, не боялась Бога.
Теперь я прошлой жизни так не рада,
Одни грехи и старость у порога.

Это верно — для всех нас!

РЖЕВ

И. З. ЛАДЫГИН, Н. И. СМИРНОВ. НА РЖЕВСКОМ РУБЕЖЕ. Ржев, 1992. 15 000 экз.

Собрание документов, свидетельств и фотографий о самом страшном эпизоде второй мировой войны — противостоянии русских и немцев под Ржевом на пути фашистов на Москву. Сегодня уже поздно обсуждать, как именно надо было оборонять столицу и сколько человеческих жизней было разумно (!) пожертвовать молоху войны. Стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом...» объясняет это лучше всего, ничего при этом не объясняя. Вот, впрочем, не стихи, а сухое свидетельство очевидца: командир поискового отряда «Памяти 29-й армии» И. Росляков в своей статье приводит воспоминания немецкого пулеметчика: «Так вот, последний, посидев в деревенском доме у печки и погрев руки, говорил: “Пошли постреляем, русские в атаку пошли, слышишь, кричат!” И шел к своему пулемету, стоящему на пригорке, расстреливать русских ребят, которые в серых шинелях брели по заснеженному полю в атаку. Перестреляв все эти “цели”, немец-

кий пулеметчик шел в дом и опять грел руки и пил кофе, дожидаясь, пока опять не послышится “грозное” ура-а-а».

К юбилею бы «Великой Победы» напечатать!

Евгений ОЖОГИН. ОСОБО ОПАСНЫЕ. Ржевские сюжеты. Ржев, Тверское областное книжно-журнальное издательство. 3000 экз.

Невыдуманные рассказы с криминальными сюжетами из газеты «Ржевские новости». В меру сентиментальные, с моральной начинкой. Не надо много пить, надо работать, а не воровать и спекулировать, не доверять сомнительным людям и т. д. Очень правильные рассказы!

НАЧАЛО. Сборник ржевских поэтов. Ржев, Издание газеты «Ржевская правда», 1992. 5000 экз.

Из предисловия редактора газеты А. Тарасова: «Авторы этого сборника — участники литературного объединения «Истоки» при газете «Ржевская правда». Среди них люди разных профессий — журналисты, учителя, рабочие и инженеры предприятий и организаций города и района. Неодинаков их возраст и стаж на поэтическом поприще, но всех их объединяет любовь к литературе, тяга к художественному творчеству».

Кому-то эти слова покажутся слишком затертыми. Но они — чистейшая правда! Все так и есть. Авторы: Л. Богачева, Н. Палшкова, Г. Степанченко, А. Ерохин, А. Назаров, Н. Пряжкина, С. Смирнов, А. Гусев, Т. Лукина, А. Симонов, Л. Хачатурян, Б. Васильев, А. Садиков, А. Дмитриева.

Цитирую наугад, не называя имени:

Стихов неяркие цветы
Заполнят пустоту конверта...

Кто скажет, что плохо, пусть кинет в меня камень.

НОВОСИБИРСК

Олег ШУШАКОВ. РАССВЕТНАЯ СТРАНА. Пьеса, стихи и песни. Новосибирск, Новосибирское книжное издательство, 1999. 500 экз.

В начале книги чуточку рекламное обращение: «Дорогой читатель! Тяжелые нынче времена. Казалось бы, не до стихов. Но это только кажется. И слава Богу, что у поэтов есть друзья, благодаря которым их голос может быть услышан. В этой книжке собраны разные стихотворения. Может быть, какое-нибудь из них отзовется и в Вашей душе».

Я долго искал что-нибудь, что отозвалось бы в моей душе. Не нашел. Но это моя беда.

УКРАИНА

Александр ПИСАРЕВСКИЙ. УЛЫБКА ТАЙМЫРА. Ровеньки, 1999. 800 экз.

Автор — коренной житель Донбасса, работал взрывником на шахте, потом много лет в Заполярье. Пишет рассказы о русском Севере. Рассказы точные, немногословные, в каждом происходит что-нибудь интересное. Как у Джека Лондона, у Александра Писаревского есть свой сквозной персонаж — охотник Яшка Белый, эдакий русский Смок Белью.

ПЕРМЬ

ЧААДАЕВ и МАМАРДАШВИЛИ: переключки голосов, проблем и перспектив. Традиция и эволюция исторического взгляда в русской историософии. Пермь, Издательство Пермского государственного технического университета, 1999. 500 экз.

Параллель между известным грузинским философом Мерабом Мамардашвили и одним из первых русских диссидентов Петром Чаадаевым может показаться искусственной. Авторы докладов на конференции, посвященной 65-летию со дня рождения Мамардашвили, организованной на кафедре философии ПГТУ, так не считают. Во всяком случае, некоторые знаменитые высказывания самого мудрого грузина XX века вполне могли бы принадлежать и Чаадаеву. Например, формула: «Истина выше нации», — являющаяся, впрочем, очевидным парафразом более знаменитого: «Платон мне друг...» Об оригинальном значении Мамардашвили в последнее время спорят, споры эти нашли отражение на конференции в докладе Э. Ю. Соловьева. Он же весьма любопытно рассуждает о категории смерти у Мамардашвили:

«В великолепной статье «Вена на заре XX века», опубликованной в «Независимой газете» 20 октября 1991 года, он (Мамардашвили.— П. Б.) обращается к метафоре ада из книги Евгения Трубецкого «Смысл жизни»: «Ад — это вечная не-смерть». Мучение состоит в том, пишет Мераб, что «ты повторяешь одно и то же, никак не можешь довести что-то до конца, жуешь один и тот же кусок, бежишь и не добегаешь...— вечный бег в аду, наказание тяготыны. Смыслом и сутью наказания в действительности является тут не физическая жестокость, а вот это самое страшное — это вот повторение. Как в вязком кошмарном сне: разыгрывается все время одна и та же история, и так без конца, то есть нет смерти, которая бросила бы след завершённого смысла на происходящее».

Замечательная мысль! И страшно применима к нашей ситуации, как в России, так, увы, и в современной «свободной» Грузии. Это то, что поэт Александр Блок во время революции называл тоской реставрации, бессмысленной исторической жвачкой, ядом нашей истории.

Замечу, однако, что не только Мамардашвили неоригинален (был Евг. Трубецкой). Неоригинален и сам Трубецкой: более раннее философское обоснование смерти как единственно достойного художественно-осмысленного завершения жизни принадлежит в России Н. Н. Страхову («Мир как целое»). Впрочем, еще раньше это понимали Тургенев, Пушкин, Державин и самый последний неграмотный русский мужик.

Сергей ИМИС. ИГРА И СЦЕНА. Пермь (?), Издательство «Денор», 1999. 1000 экз.

Место издания не указано. Как следует из предисловия О. Лейбовича, автор — пермский художник-дизайнер, проектирует интерьеры квартир и особняков. «Не знаю, что чувствуют хозяева «синих комнат» и «охотничьих замков», когда въезжают в обновленное жилище. Интерьеры С. Имиса диктуют более изящные жизненные формы для обитателей. Именно потому, что в них есть свой стиль»,— пишет О. Лейбович. А Сергей Имис пишет драмы и прозу о римской и других далеких от нашей реальности жизнях. Впрочем, с прозрачными намеками:

Первый римлянин:

Скажи, о мудрый пьяный бог,
О нашем городе вонючем...

«...Сергею Имису вкусы пермской публики известны,— неторопливо продолжает О. Лейбович.— Он им цену знает и на популярность не рассчитывает».

Да уж! Какое уж там!

ПОДОЛЬСК

ПИСЬМЕНА НА ПЕСКЕ. Рассказы. М., «Московский Парнас», 1999. 400 экз. ПОДОЛЬСКИЙ АЛЬМАНАХ. 1998—1999. Составитель А. А. Агафонов. М.— Подольск, «Глобус», 2000. Тираж не указан.

Считать ли подмосковный Подольск провинцией? Не обидно ли это для Подольска и его жителей, тем более — жителей, пишущих стихи и прозу?

По моему (может быть, ошибочному) разумению, все, что находится за границей плашмя на землю уложенной Великой Стены — Московской Китайской Автомобильной Дорогой (МКАД) им. Лужкова, можно смело называть русской провинцией, и ничего обидного в этом не будет.

В первый сборник вошли рассказы подольских прозаиков Юрия Говорухина, Сергея Грачева, Геннадия Карпунина, Сергея Николаева и Альберта Шилина. Есть рассказы превосходные, которые украсили бы любой московский журнал: «Мимолетом» С. Грачева, «Станный гость» Г. Карпунина и др. В «Подольском альманахе» встречаются авторы как из сборника, так и новые. Судя по всему, в Подольске литературная жизнь продолжается. А может быть, лишь началась?

Неожиданно для себя встретил в альманахе старое стихотворение Игоря Меламеда, которое мы читали друг другу еще на первом курсе Литературного института в начале 80-х. Ностальгически процитирую:

Это все — от русской прозы:
Ледяные ребра крыш,
Ночь, крещенские морозы
Да предутренняя тишь.

От поэзии российской
Только песня ямщика,
Только иней на ресницах
Да румянец на щеках.

Это все от русской прозы —
Пересуды по утрам,
Сны, признанья, вздохи, слезы,
Поздний перечень утрат.

От поэзии — лишь зыбкий,
Тайный, смутный гул в крови.
Да случайная улыбка —
Капля боли и любви...

Только сейчас, перечитав это (в целом довольно беспомощное) стихотворение, я, кажется, понял, почему Игорь Меламед со временем стал незаурядным современным поэтом. Потому что уже в юности не стеснялся банальностей, на всех плевал и рифмовал «кровь — любовь».



Книги для обзора в рубрике «Русское поле» отправляйте, пожалуйста, в редакцию «Октября».

Владимир БЕРЕЗИН

Счастье

Был человек в земле Уц...
Иов 1,1

Когда говорят об Андрее Платонове, то как-то забывают, что существует антипод мира, созданного произведениями писателя. Это пространство любовного романа, который иногда называют женским. Сравнение это правомочно, потому что сравниваются не художественные достоинства, а этика поведения. Гений Платонова создал не только свой особый язык, но и особую конструкцию мира, со своими законами, с внутренними правилами функционирования героев.

В любовном коммерческом романе с неперенным happy end, который, по сути, есть совокупность нравственных максим, воздаяние героям predetermined. Любовный роман учит: если поступать морально, в соответствии с действующей нормой поведения, — земное счастье гарантировано. Это именно гарантия, а не возможность счастливого конца.

А у Платонова есть примечательный роман «Счастливая Москва».

Дело не в том, что в «Счастливой Москве» есть стержневая героиня, а в том, что это роман о счастье.

«Человек не научился мужеству непрерывного счастья» — фраза многозначительная и обнадеживающая: «не научился» означает, что вполне можно и «научиться».

Правда, это требует времени, а значит, терпения.

Россия всегда была империей терпения. Нужно потерпеть, и потом все будет хорошо, и в какой-то момент ожидание личного счастья становится категорией веры. Чем-то вроде второго пришествия: в него веришь, но не ожидаешь в ближайшем будущем.

Старые солдаты говорили: «Никогда ни на что не напрашивайся, никогда ни от чего не отпрашивайся». Их судьба была незавидна: выслужив свое, они возвращались домой — ненужные. Счастливого конца не предполагалось. В коммерческом романе обязателен счастливый конец, потому что финитность текста есть свойство справедливости. Всем сёстрам роздано по серьгам, антагонист наказан, герой награжден дуальной наградой — женщиной и материальным благополучием. В *лавбуржере* — коротком любовном романе, придуманном для женской аудитории, героиня гарантирована счастьем. Чем дальше литература стоит от этого стереотипа, тем больше в ней недоверия к этому счастью.

Вот Анна Каренина читает английский роман, сидя в купе. «Герой романа уже начал достигать своего английского счастья, баронетства и имени, и Анна желала вместе с ним ехать в это имение, как вдруг она почувствовала, что ему должно быть стыдно и что ей стыдно этого самого».

Что интересно в героях «Счастливой Москвы»: они не сопоставляют свою жизнь с материальным счастьем. Даже акт любви, являющийся кульминацией *лавбуржера*, происходит у Платонова скорбно: «Вид ее большого, непонятого тела, согретого под кожей скрытой кровью, заставил Сарториуса обнять Москву и еще раз молчаливо и поспешно истратить с нею часть своей жизни — единственно, что можно сделать, — пусть это будет бедно и ненужно и на самом деле не решает любви, а лишь отумляет человека».

Отвлекаясь от хрестоматийного примера «Фро» и «Реки Потудань», можно, используя текст «Счастливой Москвы», говорить о том, что любовь платоновских персонажей всегда окрашена горем и жалостью: «Иногда она снилась Сарториусу, жал-

кая или усопшая, лежащая в бедности последний день перед погребением. Сарториус просыпался в горе и жестокости и сейчас же принимался за какое-нибудь полезное дело в своем учреждении, чтобы затмить в себе столь печальную и неправильную мысль».

Или, как это замечено глазами стороннего наблюдателя: «Человек остался расплачиваться без нее; удивляясь бессердечию молодого поколения, которое страстно целуется, точно любит, а на самом деле — прощается навсегда».

Акт любви превращается в акт жертвоприношения.

Платонов развивает особую тему литературы — тему жертвы. И жертвование происходит без воздаяния. То есть на страдания героя мир отвечает — ничем.

За персонажами словно бы стоит иной образ — из одной из самых загадочных библейских книг, о котором пойдет речь ниже.

Михаил Шишкин говорил, что жизнь героев Платонова — это счастливая жизнь в аду.

Героям «Счастливой Москвы» плохо и становится еще хуже. Жизнь проводят их по кругам несчастий, спуская все ниже. Они теряют социальный статус, здоровье, жизнь распоряжается их судьбой.

Источником страдания может быть все — само горе и даже знание о нем, осознание этого горя. Знание всегда скорбно. В нем большая печаль: «Горец не хотел знать о человеке все, а только лучшее, поэтому он сейчас же ушел в свое жилище и больше не был никогда».

Причем действие «Счастливой Москвы» происходит в отсутствие самой страшной напасти — войны. Для поколения Платонова через несколько лет после написания романа война станет реальностью.

Человек в платоновском мире между тем сохраняет свою структуру — несмотря на отсутствие личного счастья, будучи лишенным даже его религиозного варианта — загробной жизни.

Но в советской литературе есть еще одно странное произведение о счастье, уже напрямую связанное с войной.

Этот рассказ, написанный почти пятьдесят лет назад, известен каждому. Он называется «Судьба человека».

Это рассказ не о войне, как иногда кажется. Хотя в центре повествования — страдание от войны. Герой его — отнюдь не герой и даже не вполне солдат, а человек маленький, страдающий. Не воин.

За всю войну Андрей Соколов убивает один раз. Причем убивает без сожаления и колебаний. Один раз — русского человека, в церкви. Человек хочет выдать взводного командира немцам, и вот Соколов убивает его.

Всего три фамилии есть в тексте — Соколова, немецкого лагерного коменданта и этого — задушенного, задавленного в церкви.

Впрочем, нет, есть и еще одна фамилия. Это фамилия человека, под начальством которого Соколов воевал в гражданскую войну. Зовут его Киквидзе. Красный комдив Киквидзе погиб в девятнадцатом году, его не нужно было расстреливать двадцать лет спустя.

Это фамилия не очень известная, но вполне реальная.

Еще есть в тексте знаменитый город Урюпинск, где работает Андрей Соколов.

Этот город стал символом, частью советского общественного мифа. Про него рассказывали анекдот. Анекдот старый, сейчас он имеет только историческую ценность, потому что повествует про обязательный социально-политический экзамен. А герой шолоховского рассказа, между прочим, ни разу не говорит о партии и идее как о своем ориентире: «Чтобы я, русский солдат, да стал пить за победу немецкого оружия?!»

Вся партийность образца XX съезда вынесена в эпиграф. Но вернемся к анекдоту.

На экзамене по некоей марксистской дисциплине преподаватель говорит:

— Перечислите основные работы Маркса и Энгельса.

— А кто это такие?

— Да вы откуда такой (такая) взялись?

— Из Урюпинска!

Преподаватель задумчиво поднимает глаза к потолку и еле слышно произносит себе под нос:

— А может, бросить все и махнуть в Урюпинск?..

Впрочем, это вполне реальный райцентр Балашевского района. Он так же реален, как земля обетованная, и тоже называется своим реальным именем.

Есть в знаменитом романе Горького «Мать» эпизод с молодым Власовым, который приходит пьяный домой. Он приходит пьяный, потому что русские мастера пьют веками, пьют и сейчас. Мать говорит с ним «печально и ласково». «Его смущали ласки матери, и трогала печаль в ее глазах. Хотелось плакать, и, чтобы подавить это желание, он старался притвориться более пьяным, чем был».

Жизнь русских мастеровых меняется мало. Шолоховский герой — родом из Воронежя, но юность его такая же, как юность Павла Власова.

Андрея Соколова утешает не мать, а жена: «Парень я был тогда здоровый и сильный, как дьявол, выпить мог много, а до дому всегда добирался на своих ногах. Но случилось иной раз и так, что последний перегон шел на первой скорости, то есть на четвереньках, однако же добирался. И опять же ни тебе упрека, ни крика, ни скандала».

Между прочим, Андрей Соколов поначалу работал слесарем, как и мужчины семейства Власовых.

Уже отмечалось, что «Мать» выстроена как Евангелие. Это попытка создать Евангелие от революции.

А «Судьба человека» — почти святочный рассказ. Даже без «почти». Он опубликован 31 декабря 1955-го и 1 января 1956 года. Время другое, при другой, революционной власти Новый год выполняет функцию домашнего-религиозного праздника.

Параллелей с духовными текстами можно найти много, но не стоит превращать поиски в спорт. Сравнения кодекса строителей коммунизма со святыми заповедями — общее место. Герой шолоховского рассказа — человек нерелигиозный. Вот его взяли в плен, посадили с другими солдатами в пустую церковь. А по церкви ходит человек, просится до ветру. «Не могу, — говорит, — осквернять святой храм! Я же верующий, я христианин! Что мне делать, братцы?»

«А наши знаешь какой народ? Одни смеются, другие ругаются, третьи всякие шуточные советы ему дают. Развеселил он всех нас, а кончилась эта канитель очень даже плохо: начал он стучать в дверь и просить, чтобы его выпустили. Ну и допросился: дал фашист очередь через дверь, во всю ее ширину, длинную очередь, и богомольца этого убил, и еще трех человек, и одного тяжело ранил, и к утру он скончался». Автор, герой и тот рассказчик, что курил с Шолоховым на берегу речки Еланки, не то чтобы осуждают безвестного богомольца, а как-то не одобряют его. И все же это рассказ о вере. И это рассказ о соотносительности человека и мира.

Это рассказ об Иове.

И это очень страшный рассказ, хотя кажется, что он с благополучным концом.

Итак, на человека сыплются несчастья. Он по очереди теряет своих близких. Однако, когда спит, боится умереть — чтобы не напугать приемного сына. Умереть, собственно, он не боится. Умирать он привык. Убитые родные приходят к нему во сне, будто зовут.

Несчастья продолжают сыпаться на него и после войны.

Человек обрастает несчастьями, как скарбом. Его странствие похоже на странствие героев Платонова, только странствие это подневольно. Андрея Соколова волокут по земле на запад — в плен, везут туда и сюда по Германии, а потом он движется на восток. Бежав из плена, он снова движется на запад — вместе с армией. Он продолжает скитание, теряя все, кроме этого неостановимого движения.

В отличие от Иова он не теряет свой скот, наоборот, чужая корова становится орудием несчастья, несет герою новую нужду и скитания. Соколов чуть не задавил эту корову, и вот, лишенный своей шоферской работы и, что страшнее, лишенный шоферского документа, он отправляется в новое странствие. Соколов изгнан из урюпинской обетованной земли. Он идет по России, взяв за руку мальчика, будто Моисей, выводящий свой народ из рабства.

Соколов знает, что смерть его ходит рядом, ноша страданий слишком тяжела, а человек истончается под их грузом. Иногда он остается человеком, то есть сохраняет свою структуру.

Судьба его страшна, потому что он не может рассчитывать на посмертное воздаяние. Для него загробной жизни нет, а есть лишь остаток этой.

Это особый тип праведника, отягощенный тем, что он не божественен. Он не творит чудес и не верит в них. Ему жить не на небе, а только в памяти.

Это человек, отягощенный несчастьями, но это человек не несчастливый. Он — вне категории счастья. Его жизнь так страшна, что он не думает о выгоде и счастье.

Святочный рассказ не остался просто рассказом, напечатанным в газете, пусть даже и самой главной газете огромной страны.

«Судьба человека» написана за неделю, за неделю создан мир легенды о страдающем человеке. Фильм по рассказу был снят мгновенно. То есть очень быстро, что по темпам того времени мгновенно.

Его часто вспоминают. Часто цитируют: «После первой я не закусываю... После второй...», — хотя самое главное не в том, что русский в который раз перепил басурмана. Сюжет этот давно затаскан по литературе. Еще Левша угрюмо пьянствует с иностранцем-шкипером. Главное в этом рассказе то, что немецкий хлеб режут суровой ниткой на полсотни равных частей. Я верю в эту историю, даже если она рождена воображением. Она, эта история, необходима, потому что помогает верить в сохранение закона человеческого общежития.

А пьёт герой с немецким комендантом Мюллером не за что-нибудь, а за свою погибель.

Но Иов неистребим. Его дело не умирать, а страдать.

Он приходит, рассказывает свою историю и уходит куда-то.

Поэтому «Судьба человека» больше, чем просто отпечатанный текст.

Поэтому невкусен вопрос о плагиате, шолоховских заимствованиях. Даже если и существует (овала) мифическая тетрадь белого офицера, а также протоколированная и засвидетельствованная исповедь реального шофера, все это не важно. Писатель в обоих случаях становится не просто писателем, а человеком записывающим, распространяющим и, значит, реализующим легенду.

А человечество (и читатели) между тем делится на две неравные части (среди многих делений человечества на части это — не самое лучшее, но и оно интересно).

Первая часть состоит из людей, верящих в мировую учетно-контторскую справедливость. Они — неплохие люди — действительно не созданы для унижений, очередей, тупой поденной работы и болезней. Однако мир почему-то жесток, и вот они либо умирают вечно злобными коммунальными старухами, либо предъявляют счет, но не миру, а ближнему.

Они обижены.

Другая же часть человечества относится к происходящему иначе, со взвешенным спокойствием игрока, взявшегося играть в неизвестную игру.

Правила этой игры постоянно меняются.

Можно выиграть и тем не менее не получить ничего.

И все же в любом случае выбор состоит не в том, играть или нет, а скорее в том, как провести партию.

Мир не таит злого умысла, но и не справедлив изначально.

Он жесток, но простодушен.

Нечего его винить.

В любом случае общество и литература стоят перед выбором — как ожидать счастья и ожидать ли его. Философия платоновских персонажей и судьба немолодого шофера с приемным сыном, как ни странно, оптимистичнее многих других.



Диагноз для Прометея

Вряд ли в природе есть такое образование — ложная поганка. Части этого словосочетания противоречат одна другой. Если уж поганка, то настоящая, если нечто ложное, то подменяющее собой какой-нибудь благородный или на худой конец полублагородный, разночинский гриб. Ведь поганки, мухоморы, да еще гербициды, как мы знаем по изложениям, писанным в средней школе, наряду с волками — друзья человека и санитары леса. Съел такой мухомор неумелый грибник, и одним неумехой сделалось меньше; заплутала строптивая овца, тут же из-под куста волк при исполнении обязанности: ты почему без стада? Посеял колхоз гербициды, а колхозники, не дожидаясь полного урожая, растащили их прямо с полей — вот и нет вороватых колхозников, а тех вороватых, что остались живы, легко на глаз отличить от честных или, по крайности, терпеливых.

Но ложная поганка — нонсенс, преступление против сути, так же как волк, воруемый с полей гербициды, так же как писатель-сатирик (странная несообразность, одна из многих несообразностей, порожденных вечно переходной эпохой).

Настоящий сатирик растет не на пеньке, образовавшемся от срубленного некогда дерева, настоящий сатирик паразитирует на теле сильного государства. И куда уместней для этого симбиоза подыскать эмблему вроде обвившего мощный дуб плюща. Чем выше дуб, тем дальше взбирается плющ, тем больше он получает солнца.

Это нетрудно представить на конкретном примере. Возьмем знаменитую некогда книгу Станислава Ежи Леца «Непричесанные мысли», вышедшую в новом исполнении (М., ООО «Фирма «Издательство АСТ»», СПб., «Terra Fantastica», 2000), и взглянем, какие темы предпочитает сочинитель и в какой огласовке их представляет¹.

Итак, сочинитель начинает с самой заметной в обществе фигуры, с себя самого, и говорит о своей нежной организации, ажурных узорах поэтической души.

У него есть шестое чувство,
Но там, где пять первых, — пусто².

Подобная ситуация сложилась не столько в силу государственного несовершенства, сколь вследствие общего миропорядка, по причинам грубо экзистенциальным. Остается смириться и развести руками. Тем более и спрос невелик.

Осень, зима, весна, лето,
Осень, зима, весна, лето,
Осень, зима, весна, лето,
Осень, зима...

А нас уже нету³.

Особенно человеческая тщета заметна в эпоху, когда жизнь интенсифицируется, а громада планов на будущее успешно теснит настоящее.

¹ Из-за того, что Л. Цыбян, скорее всего по недоразумению, представил в издательство подстрочный перевод, изредка — если это фразы — зарифмованный начерно, в примечаниях мне пришлось дать перевод художественный. Пользуйтесь на здоровье.

² Между тем вернее было бы:

Шестое чувство есть у него,
Но вместо пяти других — ничего.

³ Хотя стоило бы сказать куда решительней:

Лето, осень, зима, весна,
Лето, осень, зима, весна,
Лето, осень, зима, весна,
Лето, осень...

А нам хана.

Есть времена, что для их охвата
Не хватит на наших часах циферблата⁴.

Но, догадавшись о злонамеренной иронии сочинителя, нетрудно увидеть ее везде. О чем говорит эта «Оптимистическая фрашка»?

Время всегда и все улучшало...
Подтверденье? Свинья котлетою стала.

Даже тьма перевода, пусть и способная бросить тень, не в силах полностью затемнить издевательство над социальным прогрессом (здесь представленным в виде примитивной биологической эволюции) и высокой целью, поставленной перед собой обществом и всем миром. Кто сказал, будто прогресс — это палка, которой погоняют навьюченного ослика? Прогресс давным-давно приобрел иные формы, теперь это морковка, которую подвешивают перед мордой ослика, чтобы тот тянулся за ней и споро шагал вперед. Надо извлечь фигу из кармана, вместо деланной бодрости требуется бодрость истинная⁵.

Тем более что всё, и вправду, почти всегда к лучшему. По крайней мере тогда, когда это естественно и органично. Злобно сказал сочинитель, но по-детски нежно изложил переводчик — времена меняются.

Отроков трое купаются в утренней тихой реке.
Старуха Сусанна подглядывает, прятаясь в ближнем леске⁶.

Читатель может заинтересоваться, собственно, почему в качестве цитат выбраны именно фразы, когда Станислав Ежи Лец прославился афоризмами. Но дело в том, что, сочиняя афоризмы, он умудрился чрезвычайно запутать следы, и вывести его на чистую воду затруднительно. Фразу «Знавал я пожарных, у которых над кроватью висел Прометей, а не святой Флориан» можно понять и превратно. Мол, Прометей относится к категории культурных героев, то бишь мифических персонажей, которые либо добывают, либо создают предметы культуры — огонь, воду, медные трубы и прочие вещи, необходимые в хозяйстве. За такую вот неудавшуюся попытку (трудно утверждать за давностью, был ли это хипес или обыкновенное щипачество) Прометею и вкатили срок, который он тянул на Кавказе под надзором попки-орла, где и потерял здоровье.

С фразками проще, тут понятно, кто дуб, кто плющ и какая такая эпоха стоит на дворе. Сатире пристало расцветать во времена махровые, когда лозунг «Даешь стране угля!» исторгается из уст граждан как признание в первой любви. Но как быть в эпохи, когда все помыслы направлены на усиление расцвета и с уст не сходит другой лозунг: «Даешь дуба!»?

ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ МОСКВОШВЕЯ



⁴ За внешней беспристрастностью нелегко заметить, куда на самом деле метит сочинитель. А ведь намеки его небезобидны. Он подразумевает не только какие-то обобщенные, абстрактные часы — песочные, водяные или солнечные. Он целится ни более ни менее в кремлевские куранты, а заодно и в тех авторов, которые посвятили этому вопросу особые произведения. Помните историю о том, как часовщик по указанию Ленина заставил главные часы страны вместо царского гимна изредка наигрывать «Интернационал»? Верно сказано:

Такие времена бывают,
Часы и то не попевают.

⁵ Пусть такая:

Все к лучшему — я это твердо знаю.
Была свинья — а стала отбивная.

⁶ Мне кажется, здесь пристала большая эпичность, этакое эстетическое спокойствие.

Юноши плещутся в утренней теплой реке, и не кажется странным,
Что наблюдает за ними, в леске притаившись, старуха святая Сусанна.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛ «ОКТЯБРЬ» НА 2001 ГОД!

Подписные индексы нашего журнала в каталоге Агентства «Роспечать»:

для Российской Федерации — 73293;

для стран СНГ — 79209;

для Российской Федерации (годовая подписка) — 72375.

А также подписка на «Октябрь» по Москве через Интернет: [www. Gazety.ru](http://www.Gazety.ru)

В первом полугодии 2001 года каталожная цена на один месяц:
для подписчиков Российской Федерации — 39 руб. 50 коп.;
для подписчиков стран СНГ — 53 руб. 50 коп.;
годовая подписка (для подписчиков РФ) — 474 рубля
плюс стоимость доставки.

В редакции можно оформить подписку на «Октябрь» по льготной цене и приобрести отдельные номера. Выдача и продажа журналов производятся ежедневно с 12.00 до 17.30, кроме субботы и воскресенья.

Справки по телефону: 214-31-23.

Распространением журнала «Октябрь» в Российской Федерации и за рубежом занимается НПО «Информ-система»: тел. (095) 127-91-47, факс (095) 124-99-38.

Распространением журнала «Октябрь» только за рубежом занимаются:

американская фирма «Ист Вью Паббликейшенс» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел. (095) 777-65-58, факс (095) 318-08-81);

государственная внешнеторговая фирма «Наука-экспорт» Академцентра «Наука» Российской академии наук (State Foreign Trade Company «NAUKA-EXPORT» of «NAUKA» Akademizdatcentre of the Russian Academy of Sciences. 90, ul. Profsojuznaja, Moscow 117864, Russia. Telefax (095) 334-74-79, (095) 334-71-40). E-mail: nauka@naukae.msk.ru.

В розницу наш журнал можно приобрести в московских книжных магазинах:

«Ad marginem» — 1-й Новокузнецкий пер., 5/7;

«Библио-Глобус» — Мясницкая, 6;

«Гилея» — Б. Садовая, 4;

Литературный клуб «Графоман» — 1-й Крутицкий пер., 3;

Книжная лавка при Литературном институте им. М. Горького — Тверской б-р, 25;

Книжно-нотный салон «Летний сад» — Б. Никитская, 46;

«Мир печати» — 2-я Тверская-Ямская, 54;

ЗАО «Согласие» — ул. Бахрушина, 28;

«Эйдос» — Старосадский пер., 9.

▲ Оперативная информация из всех регионов России и мира
 ▲ Объективность освещения событий
 ▲ Актуальные интервью, экономика, расследования, пенсии, налоги, консультации, спорт, культура, история, сад и огород, здоровье, «горячие линии» с читателями.

Но самое главное — «Труд» остается верен своей репутации газеты, отстаивающей права человека

ТРУД

Ваша Газета

«Труд-7» - Еженедельная газета для семейного чтения на 32 страницах. Обзор событий за неделю, комментарии известных политиков и экономистов, интервью с суперзвездами кино, музыки и спорта, подробная телепрограмма с анонсами лучших программ и фильмов, вопрос-ответ, гороскоп, кроссворд, тесты, шахматные задачи, занимательное чтение.

ЧТО ВЫПИСАТЬ?
 РАЗВЕ ЭТО ТРУДНЫЙ ВОПРОС

Адрес редакции: 103792, ГСП, Москва, К-6, Настасьинский пер.4
 Телефоны для справок — 299-3906. Издательство — 292-4990.
 Рекламный отдел — 200-0338 (факс — 200-0124). Частные объявления — 200-0117. Региональная реклама — (095) 299-9448, 299-4023. Факс (095) 200-0119. Отдел по связям с общественностью — т/ф 299-9096. Телекс 111 238 «Труд»

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 2001 году

«Октябрь» предполагает опубликовать:

Анатолий АНАНЬЕВ. **Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России.** Книга третья.

Алексей ВАРЛАМОВ. **Роман.**

Владимир КАНТОР. **Записки из полумертвого дома.** Повесть.

Николай КЛИМОНТОВИЧ. **...и семь гномов.** Из книги «Далее везде».

Афанасий МАМЕДОВ. **Повесть.**

Давид МАРКИШ. **Стать Лютовым.** Вольные фантазии из жизни Исаака Бабея.

Нонна МОРДЮКОВА. **Записки актрисы.**

Юнна МОРИЦ. **Книга «Рассказы о чудесном».**

Стихи.

Юрий ОЛЕША. **«Прости меня, Суок, что значит вся жизнь».**

Переписка с женой.

Владислав ОТРОШЕНКО. **Рассказы, эссе.**

Олег ПАВЛОВ. **В безбожных переулках.** Роман.

Рассказы и статьи из новой книги.

Людмила ПЕТРУШЕВСКАЯ. **Рассказы, сказки.**

Вячеслав ПЬЕЦУХ. **Письма из деревни. Деревенские дневники.**

Михаил РОЩИН. **Рассказы.**

Павел САНАЕВ. **Детский мир.** Роман.

Ольга СЛАВНИКОВА. **Бессмертный.** Повесть.

Антон УТКИН. **Роман. Рассказы.**

Сергей ЮРСКИЙ. **Пробелы.** Продолжение новой книги.

А также новые произведения Петра АЛЕШКОВСКОГО, Юрия БУИДЫ, Игоря ВОЛГИНА, Александра ВОЛОДИНА, Фридриха ГОРЕНШТЕЙНА, Нины ГОРЛАНОВОЙ, Анастасии ГОСТЕВОЙ, Владимира КАНТОРА, Анатолия КИМА, Михаила ЛЕВИТИНА, Владимира МАКАНИНА, Александра МЕЛИХОВА, Лилии ПАВЛОВОЙ, Григория ПЕТРОВА, Ирины ПОЛЯНСКОЙ, Игоря ПОМЕРАНЦЕВА, Леонида ФИЛАТОВА, Александра ХУРГИНА, Евгения ШКЛОВСКОГО, Асара ЭПЕЛЯ и др.

Постоянные рубрики ведут известные критики Ольга СЛАВНИКОВА, Кирилл КОБРИН, Владимир БЕРЕЗИН, Павел БАСИНСКИЙ, Евгений ПЕРЕМЫШЛЕВ, писатели Александр МЕЛИХОВ и Андрей СТОЛЯРОВ.